

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ФИЛОЛОГИЯ

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

Научный журнал

2017

№ 49

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-29496 от 27 сентября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Индексируется в БД Scopus и
Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index

*Редакционная коллегия журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»*

Т.А. Демешкина (Томск, Россия) –
главный редактор
И.А. Айзикова (Томск, Россия) – зам.
главного редактора
Ю.М. Ершов (Томск, Россия) – зам.
главного редактора
Д.А. Катунин (Томск, Россия) – отв.
секретарь
П.П. Каминский (Томск, Россия) –
зам. отв. секретаря
К.В. Анисимов (Красноярск, Россия)
Е.В. Иванцова (Томск, Россия)
В.С. Киселев (Томск, Россия)
Т.Л. Рыбальченко (Томск, Россия)
В.А. Суханов (Томск, Россия)

*Editorial Board of the
Tomsk State University
Journal of Philology*

T.A. Demeshkina (Tomsk, Russia) – Editor-
in-Chief
I.A. Aizikova (Tomsk, Russia) – Deputy Edi-
tor-in-Chief
Yu.M. Yershov (Tomsk, Russia) – Deputy
Editor-in-Chief
D.A. Katunin (Tomsk, Russia) – Executive
Editor
P.P. Kaminskiy (Tomsk, Russia) – Deputy
Executive Editor
K.V. Anisimov (Krasnoyarsk, Russia)
Ye.V. Ivantsova (Tomsk, Russia)
V.S. Kiselev (Tomsk, Russia)
T.L. Rybalchenko (Tomsk, Russia)
V.A. Sukhanov (Tomsk, Russia)

*Редакционный совет журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»*

Дж.Ф. Бейлин (Стоуни-Брук, США)
Е.Л. Березович (Екатеринбург, Россия)
Е.Л. Варганова (Москва, Россия)
Н.Д. Голев (Кемерово, Россия)
Е.А. Добренко (Шеффилд, Великобритания)
М.Н. Липовецкий (Боулдер, США)
З.И. Резанова (Томск, Россия)
И.В. Силантьев (Новосибирск, Россия)
С.Л. Фрэнкс (Блумингтон, США)
Т.В. Шмелева (Великий Новгород, Россия)

*Editorial Council of the
Tomsk State University
Journal of Philology*

J.F. Bailyn (Stony Brook, US)
E.L. Berezovich (Yekaterinburg, Russia)
Ye.L. Vartanova (Moscow, Russia)
N.D. Golev (Kemerovo, Russia)
E.A. Dobrenko (Sheffield, UK)
M.N. Lipovetsky (Boulder, US)
Z.I. Rezanova (Tomsk, Russia)
I.V. Silantev (Novosibirsk, Russia)
S.L. Franks (Bloomington, US)
T.V. Shmeleva (Veliky Novgorod, Russia)

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИНГВИСТИКА

Евсеева И.В., Крейдлин Г.Е. Фреймовое моделирование фрагментов лексико-словообразовательных гнезд с семантикой 'заболевание'	5
Ким И.Е., Шароглазова Т.А. <i>Пропажка и потеря</i> в русской синтаксической семантике: конверсность и асимметрия	24
Ким Л.Г. «Длина текста» как фактор множественной вариативности его интерпретационного функционирования	38
Пушкарева И.А. О краеведческой концепции времени в дискурсе городской газеты конца XX – начала XXI в. (на материале рубрик газеты «Кузнецкий рабочий»)	52
Шиляев К.С., Ершова Е.Ю. Когнитивная функция дейксиса в рассказе Х. Кортасара «Остров в полдень»	67

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Айзикова И.А. Образ сибирского писателя в литературной критике и публицистике Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева (1870–1900-е гг.)	83
Алексеев П.В. «Китайское» вступление к «Дневнику писателя» Ф.М. Достоевского	98
Андреева С.Л., Бедрикова М.Л. Жанровые признаки антиутопии в повести Ю. Давыдова «Африканский вариант»	113
Анисимова Е.Е. Стоматологический код в романе Владимира Набокова «Пнин»	136
Баль В.Ю. Образ Чичикова в современной русской прозе	147
Жданов С.С. Образ Германии в отечественных травелогах рубежа XVIII–XIX вв.: природное и человеческое пространства (к постановке проблемы)	168
Темиршина О.Р. Поэтическая типология лирики Летова и Маяковского: от модели мира к языку	188

ЖУРНАЛИСТИКА

Перевалова Е.В. С.И. Соколов – секретарь редакции «Московских ведомостей» (1880-е гг.)	209
---	-----

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Капинос Е.В., Проскурина Е.Н., Силантьев И.В. Актуальные проблемы сюжетики русской литературы. Обзор Всероссийской научной конференции «Сюжетология / сюжетография-4» (г. Новосибирск, Институт филологии СО РАН, 16–18 мая 2017 г.)	222
---	-----

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	237
----------------------------------	-----

CONTENTS

LINGUISTICS

Evseeva I.V., Kreydlin G.E. Frame modeling of fragments of lexical-derivational nests with the ‘disease’ semantics	5
Kim I.E., Sharoglazova T.A. <i>Loss and disappearance</i> in the Russian syntactic semantics: converseness and asymmetry	24
Kim L.G. “Text length” as a factor of variety and its interpretative functioning	38
Pushkareva I.A. On the local historical conception of time in the city newspaper discourse of the late 20th – early 21st centuries (on the material of the newspaper <i>Kuznetskiy rabochiy</i> sections)	52
Shilyaev K.S., Ershova E.Yu. Cognitive poetics of deixis in J. Cortázar’s “La isla al mediodía”	67

LITERATURE STUDIES

Ayzikova I.A. The image of a Siberian writer in literary criticism and journalism of G.N. Potanin and N.M. Yadrintsev (the 1870s–1900s)	83
Alekseev P.V. Chinese Introduction to <i>A Writer’s Diary</i> by Fyodor Dostoevsky	98
Andreeva S.L., Bedrikova M.L. Genre features of dystopia in Yuri Davydov’s “Afrikanskiy variant”	113
Anisimova E.E. The dental code in Vladimir Nabokov’s <i>Pnin</i>	136
Bal V.Yu. The image of Chichikov in modern Russian prose	147
Zhdanov S.S. The image of Germany in Russian travelogues at the turn of the 19th century: natural and anthropic spaces (to the problem statement)	168
Temirshina O.R. Poetic typology of Letov’s and Mayakovsky’s lyrics: from world model to language	188

JOURNALISM

Perevalova E.V. S. I. Sokolov, the secretary of the <i>Moskovskie Vedomosti</i> newspaper editorial office (the 1880s)	209
---	-----

ACADEMIC LIFE

Kapinos E.V., Proskurina E.N., Silantev I.V. Topical problems of plot poetics of Russian literature. Review of the academic conference “Studies in Theory of Literary Plot and Narratology – 4” (Russian Federation, Novosibirsk, Institute of Philology of the Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, May 16–18, 2017)	222
---	-----

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS	237
--	-----

ЛИНГВИСТИКА

УДК 81-11

DOI: 10.17223/19986645/49/1

И.В. Евсеева, Г.Е. Крейдлин

ФРЕЙМОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРАГМЕНТОВ ЛЕКСИКО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД С СЕМАНТИКОЙ 'ЗАБОЛЕВАНИЕ'¹

В статье предлагается решение проблемы когнитивного моделирования в виде фреймов процесса языковой обработки одного вида соматической информации – группы производных языковых единиц, объединяемой смыслом 'заболевание'. Фреймовый анализ фрагментов лексико-словообразовательных гнезд позволяет увидеть не только сходства и различия в семантическом устройстве гнезд, но и установить тесные семантические связи между фрагментами разных гнезд.

Ключевые слова: соматизмы, производная лексика, смысл 'заболевание', фреймовое моделирование, лексико-словообразовательное гнездо.

1. Постановка проблемы и материал исследования

С развитием антропоцентрического направления в лингвистике, существо которого составляет анализ языковых явлений в их тесной связи с человеком, значительно возросло внимание исследователей к различным *системам человека* (термин Ю.Д. Апресяна), а также к языковой и семиотической концептуализации отдельных составляющих этих систем. В фокусе интереса, связанного с изучением одной из таких систем – *телесной системы*, лежит *соматическая лексика*, принадлежащая к самому древнему пласту словарного фонда. Эта лексика отражает знание носителей языка о теле, частях тела, внутренних органах и других *телесных*, или, иначе, *соматических, объектах*, о признаках этих объектов и значениях признаков, а также о роли телесности в познании и описании окружающего мира. Было установлено, что в процессе языкового функционирования имена телесных объектов, их признаков и значений признаков приобретают новые ассоциации и коннотации. С помощью тела, используемого как инструмент познания мира, человек ориентируется в пространстве и времени, выражая свое отношение к событиям и процессам, происходящим в мире, и давая им разные квалификации и оценки. А поскольку человеческое тело является доступным объектом для визуального наблюдения, изучения и описания, появились надежды, что через посредство тела удастся проникнуть в тайны внутреннего, т.е. ментального и психологического, мира человека.

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Русская соматическая лексика: когнитивный и семиотический аспекты» № 16-04-00051.

Выделению и описанию русской соматической лексики и построению на её базе тематических, семантических, акциональных, аспектуальных и иных классификаций посвящены труды многих отечественных лингвистов. Это книги и статьи Ю.Д. Апресяна, Д.Б. Гудкова, Анны А. Зализняк, А.М. Кочеваткина, М.Л. Ковшовой, Г.Е. Крейдлина, И.Б. Левониной, Е.В. Падучевой, У.М. Трофимовой, А.Д. Шмелёва и многих других учёных. Общим для всех этих работ является выраженное отношение к телу как к практически эффективному и надёжному инструменту когнитивной деятельности человека. Всем им присущ интерес к выявлению стереотипных взглядов людей русской культуры на тело и другие соматические объекты, а также на способы отражения этих взглядов в русском языке и в соответствующих ему невербальных знаковых кодах. А потому естественным для работ этих лингвистов является поиск общих закономерностей и определение конкретных механизмов номинации соматических объектов, а через них и многих других объектов окружающего мира – прежде всего тех, в основе именования которых находится некоторый соматический объект или некоторый признак такого объекта. Как отмечает С.Дж. Коули, язык не может изучаться изолированно, так как он является связующим звеном между мозгом, телом и деятельностью [1. С. 33].

Настоящая работа лежит в русле таких исследований. В ней предлагается решение одной из проблем когнитивной теории языка, а именно моделирование в виде фреймов (или, иначе, *фреймовом моделировании*) процесса языковой обработки одного вида соматической информации. Нас будет интересовать группа языковых единиц, объединяемая смыслом 'заболевание'.

Телесный дискомфорт, недомогания и болезни телесных объектов составляют один из видов дисфункций таких объектов, а описание дисфункций является одной из важнейших задач на пути построения *наивной семиотической концептуализации тела и телесности*¹. Понятие *дисфункции телесного объекта* было введено в работах [5, 6], где были выделены и семиотически охарактеризованы три основные разновидности дисфункций: аномальное функционирование телесного объекта (ср. *Глаза слезятся*), болезнь телесного объекта (ср. *Глаза болят*) и его отсутствие (ср. *У него нет глаза*). Далее мы оставим в стороне патологию, выражающуюся в отсутствии телесного объекта, и остановимся на первых двух её разновидностях.

¹ Под наивной семиотической концептуализацией тела и телесности понимается модель, отражающая то, что обычный, неискушённый носитель языка думает о теле, частях тела, органах и других телесных объектах, как он о них говорит и как использует их в невербальных знаковых кодах. Подробнее об этом и смежных понятиях см., например, в работах [2, 3, 4]. Наравне с наивными представлениями человека об окружающем мире существуют научные, фольклорные и другие представления. Иными словами, в национальной языковой картине мира выделяются разные «языки»: научный, бытовой, фольклорный, профессиональный и нек. др. При необходимости выразить мысль у носителя языка есть выбор – средства какого «языка» использовать. Сравните фразы: (1) Проявления *остеохондроза* зависят от того, какой отдел позвоночного столба поражен. (2) *Хондроз* замучил. (3) Проклятый *радикулит*, совсем ододел! В приведенных примерах речь идет об одном и том же заболевании, которое в медицинской терминологии называется *остеохондрозом* (пример 1). В бытовом общении люди чаще пользуются словом *хондроз* (пример 2) или *радикулит* (пример 3). При этом носители литературного языка, как правило, владеют разными языковыми средствами и используют их согласно коммуникативной ситуации. Кроме того, человек, реализуя определенную коммуникативную задачу, может создать свое слово, главное – чтобы оно было понято коммуникантом(ами).

Решение поставленной выше задачи осуществляется в несколько этапов: (1) выявление лексических соматизмов, участвующих в формировании основной и производной русской лексики с семантикой заболевания; (2) определение семантической структуры слов со значением заболевания, производных от базовых единиц, и определение места смысла 'заболевание' в такой структуре; (3) установление общего и различного в формальном и смысловом устройствах фрагментов лексико-словообразовательных гнезд (фреймов), вершинами которых являются имена соматических объектов.

Наиболее важными мы считаем первые два этапа, о которых и пойдёт речь ниже и в ходе реализации которых основное внимание уделяется словам, производным от имён соматических объектов и образующим большой пласт общего лексического запаса русского языка. Существенно, на наш взгляд, то, что языковой материал для анализа составила в основном малоизученная русская диалектная лексика, раскрывающая особенности мыслительных процессов людей одной культуры, но разных географических районов, этносов и областей деятельности.

Фреймовая репрезентация фрагментов лексико-словообразовательных гнезд, реализующих семантику заболевания, проводится на уровне *лингвистического макроконструкта*. Под лингвистическим макроконструктом мы имеем в виду совокупность всех дериватов одного лексико-словообразовательного гнезда (далее – ЛСГ), существующих в современном русском национальном языке [7]. За этим понятием и термином стоит идея привлечения к лингвистическому анализу деривационных единиц литературного и диалектного языков, а также единиц из стилистически маркированных слоёв лексики – просторечия, жаргонов и т.п. С его помощью можно точно сформулировать и методически корректно обосновать принципы включения конкретных дериватов из разных слоёв русской лексики в толково-словообразовательный словарь русского языка. Лингвистический макроконструкт можно мыслить как возможную модель языковой картины мира, претендующую на полноту охвата лексического материала, элементы которой реально существуют в некоторой социальной или территориальной языковой подсистеме.

Привлечение диалектных и просторечных единиц русского языка для анализа семантики заболевания мы считаем важным и вполне оправданным еще и потому, что именно эти единицы наиболее полно отражают национальную картину мира данного языка, связанную с тем или иным конкретным семантическим фрагментом (в нашем случае – фрагментом 'заболевание'). Дело в том, что в русском литературном языке слова и словосочетания с семантикой 'заболевание', как правило, заимствованные – в основном из латинского и греческого языков (ср. такие слова, как *пульмонолог* (от лат. *pulmunes* – лёгкие + др.-греч. λόγος – учение) – 'врач, лечащий болезни легких', *пневмология* (от др.-греч. πνεύμων – лёгкие) – 'раздел медицины, занимающийся изучением, диагностикой и лечением заболеваний лёгких и дыхательных путей', а также *кардиолог*, *гинеколог*, *отоларинголог*, *отит*, *бурсит*, *плеврит*, *артрит*, *синусит* и ещё огромное число других слов), между тем как в бытовой коммуникации люди пользуются, и очень часто, искон-

но русскими, так сказать, народными словами той же семантики (см. многочисленные примеры на эту тему ниже).

Мы остановимся главным образом на народных названиях недугов и болезней, вызванных вполне определёнными причинами, оставляя в стороне заболевания, этиология которых до сих пор неясна. К таким причинам относятся вирусы и бактерии, дисфункции и телесные недуги (головная боль¹, стеснение в груди, ломота в суставах и др.). Это также врождённые или приобретённые пороки развития частей тела или органов, которые, не будучи *запущенными*, поддаются более или менее успешному лечению (*косоглазие, костяник, молочница, грудница, малокровие* и др.). Анализируем мы и наименования людей, страдающих каким-либо заболеванием, названия специалистов, лечащих данное заболевание, имена лекарственных средств и ряд других производных номинаций, связанных со смысловой группой 'заболевание'.

За пределами рассматриваемого материала остаются имена и именные группы телесных повреждений, которые были получены человеком в течение жизни и которые привели к утрате у него телесного объекта. Такие единицы образуют отдельную группу, тесно связанную с телесным признаком «кариативность», т.е. недостаточность, отсутствие <чего-то в соматическом объекте>.

2. Методика фреймового моделирования фрагментов лексико-словообразовательных гнезд

Каталогизация и классификация производной соматической лексики со значением 'заболевание', характеристика деривационного потенциала изучаемых лексико-словообразовательных гнезд, описание внутренней организации и особенностей структурирования интересующих нас имён-дериватов проводится с опорой на ранее разработанный *метод фреймового моделирования комплексных единиц деривации* (об этом методе см. подробно в работе [8]).

В качестве единиц метаязыка описания мы пользуемся такими терминами и стоящими за ними понятиями, как *фрейм, слот, пропозициональная структура* и *пропозиция*, которые, с одной стороны, отражают наиболее общую форму представления знаний при их вербальной передаче, а с другой стороны, максимально наглядно репрезентируют разные способы семантической деривации и номинации производных слов. Именно производные слова способствуют адекватному описанию тех видов знаний, на которые опирается человек при создании дериватов; при этом эти знания образуют информацию, наиболее важную для человека – представителя конкретной культурной среды и социума.

Под *фреймами* вслед за М. Минским мы понимаем сетевые модели, или структуры знания, организованные вокруг некоторого понятия, в котором «ассоциирована информация разных видов» [9. С. 7]. *Слот*, или, в терминологии М. Минского, терминал, – это элемент фрейма, ориентированный на

¹ Этиология головной боли часто достаточно неопределенна. С одной стороны, она возникает от чрезмерных физических нагрузок, от недосыпания, магнитных бурь и других причин, с другой – она может демонстрировать симптомы какого-либо заболевания, например внутричерепного давления.

конкретизацию какого-то одного аспекта, какого-то конкретного знания посредством заполнения «характерными примерами или данными» [9. С. 7]. Слоты образуют *пропозициональные структуры*, в основе каждой из которых лежит предикация, т.е. предикат с его актантами. Важным на уровне единиц словообразования является фиксация актантов, обозначенных как мотивирующим (базовым, исходным), так и формантом (словообразующим средством мотивированного слова). В результате заполнения ячеек пропозициональной схемы при помощи базового слова или его деривата образуется конкретная *пропозиция* – частная реализация данной пропозициональной схемы. Пропозиции объективируют лексико-словообразовательные значения каждого деривата.

Дериваты объединяются в пределах лексико-словообразовательного гнезда (ЛСГ) на основании метонимических и метафорических отношений и моделируют микроситуацию – такую, как «заболевание», «одежда», «типовые действия» и под. В своей совокупности микроситуации, связываясь одна с другой по принципу сети, образуют фрейм(ы), стереотипные для русской культуры и русской языковой картины мира. Таким образом, метод фреймового моделирования позволяет с большой полнотой вскрыть связи лексико-словообразовательных значений дериватов в пределах ЛСГ однокоренных слов и, кроме того, установить связи между разными, хотя и сходными по своему формально-смысловому устройству гнездами.

Рассмотрение ЛСГ как когнитивной структуры и представление его в виде фрейма с целостной концептуальной организацией является весьма эффективным и перспективным. Фреймовая структура обеспечивает категориальное и семантическое структурирование языковых и культурных знаний о базовом слове и производных словах, наполняющих каждое гнездо. Последнее, в свою очередь, обладает ярким прогнозирующим свойством, позволяющим выявить его деривационный потенциал. А этот потенциал в значительной мере зависит от степени прагматической значимости для человека предметов, обозначенных базовыми словами и/или их производными.

Метод фреймового представления лексико-словообразовательного гнезда учитывает сегодняшние потребности современной теоретической и практической лексикографии. Предполагается, в частности, что этот метод будет положен в основу электронной базы данных, которая содержит сведения о дериватах, наполняющих гнезда однокоренных слов с вершинами – *соматизмами* (подробно о такой базе см. в работе [10]).

Основным («вершинным») элементом пропозициональной структуры служит предикат (чаще всего – глагол) с его распространителями (актантами). Так, просторечное слово *сердечник* ‘врач, лечащий заболевание сердца’ соотносится с пропозицией ‘специалист, лечащий орган’, которая, в свою очередь, является реализацией пропозициональной схемы «субъект – предикат – объект». Здесь *лечить* – предикат с актантами – *врач* (субъект) и *сердце* (объект).

Остановимся на одном важном моменте, касающемся вычленения пропозициональных структур из семантики производного слова. Чешский ученый М. Дóкулил еще в середине XX в., рассматривая словообразовательные зна-

чения, выделил три основных типа деривации: модификационные, транспозиционные и мутационные [11].

Пропозициональная структура дериватов с модификационной и транспозиционной семантикой легко вычленяется из их значений и состоит, как правило, из двух компонентов. Примерами таких дериватов являются единицы *волчица* ‘женскость’ (самка волка), *волчонок* ‘детскость’ (детеныш волка), *ножка* ‘уменьшительность’ (маленькая нога), *ручища* ‘увеличительность’ (большая рука), *розоватый* ‘подобие’ (слегка розовый).

Словообразовательные значения производных единиц с транспозиционной семантикой (синтаксические дериваты – по Е. Куриловичу) выявляются в результате транспозиции, т.е. перехода слова из одной части речи в другую при сохранении смысла. Примером пропозициональной структуры с транспозиционной семантикой является структура имени *смелость*, образованного от слова *смелый* (смелый человек – смелость человека); она также соответствует двум компонентам: качество смелого.

В русском языке количество слов с модификационной и транспозиционной семантикой не столь велико по сравнению с мутационными дериватами. В семантике пропозициональных структур с мутационным значением проявляются разные смысловые приращения, т.е. смыслы, отсутствующие в семантике производящего слова и словообразующего средства. Ср., например, слово-дериват *кровоподтёк* ‘пятно на человеческом теле красного, тёмно-синего или бордового цвета, возникшее по причине внутреннего кровоизлияния от удара, ушиба или иной травмы’. Встает вопрос: с какой степенью полноты семантика деривата должна быть представлена в пропозициональных структурах, если стоит задача их типизации?

Наш ответ на этот вопрос такой: мы считаем необходимым при построении пропозициональных структур фиксировать минимальное число компонентов (предикат и его актанты), без которых нельзя понять смысл слова. Выше мы уже отмечали, что при построении пропозициональных структур на уровне единиц словообразования важным является фиксация актантов, обозначенных мотивирующим (базовым) словом и формантом, посредством которых образуется мотивированное слово (дериват).

Проиллюстрируем сформулированное положение на следующих двух примерах.

В «Словаре русских народных говоров» (1977, вып. 12) есть слово *икотница* со значением ‘женщина, вызывающая икоту посредством колдовства, ворожбы’ (ср. *Не обязательно икотница сама придет высматривать, иной раз может прислать человека, которому тоже посадила икоту.* Л. Егорова. Дивная Пинега). Для понимания общего смысла этого слова в пропозициональной схеме достаточно зафиксировать предикат *вызывать* и его актанты – субъект *женщина* и объект-результат *икота* (пропозициональная схема: «субъект – предикат – результат», пропозиция: «лицо, каузирующее у другого лица некое физиологическое нарушение»). А значение слова *кровоподтёк* позволяет вычленить пропозициональную схему «результат – предикат – процесс» (здесь результат – ‘пятно на человеческом теле’, процесс – ‘кровоизлияние, внутреннее кровотечение’) и пропозицию «инородное

образование на теле, приобретенное вследствие определенного воздействия на соматический объект».

Когда мы анализируем гнёзда с вершинами – именами телесных объектов, мы рассматриваем каждое гнездо как множество, состоящее из фреймовых структур двух уровней и отдельных составляющих, или компонентов, этих структур. Два уровня – это глубинный (его основные составляющие – пропозициональные схемы, пропозиции и слоты) и поверхностный уровень (его основная составляющая – это лексико-словообразовательное значение конкретного деривата). Значения производных слов опираются на пропозиции, а пропозиции распределяются по пропозициональным схемам, в основе которых лежат слоты фреймов.

Вершину каждого ЛСГ, или фрейма, образует, как мы уже говорили, базовое имя соматического объекта, такое, как, например, *сердце, голова, нога* и пр. Фрейм может иметь несколько субфреймов, количество которых зависит от количества значений, выделяемых у базового слова. Так, фрейм «сердце», определяющий организацию лексико-словообразовательного гнезда с вершиной *сердце*, подразделяется на четыре субфрейма. Это субфрейм 1 «Расположенный за грудью основной орган кровеносной системы, главная функция которого – перегонять кровь по телу», субфрейм 2 «Эмоциональное начало в человеке, средоточие в нем чувств и переживаний, личных отношений к кому-нибудь», субфрейм 3 «Важнейшее место чего-нибудь, средоточие чего-либо» и субфрейм 4 «Символическое изображение средоточия чувств в виде вытянутого по бокам овала, мягко раздвоенного сверху и сужающегося и заостренного книзу». Субфреймы подразделяются на слоты, пропозициональные схемы и пропозиции, на которые опираются производные слова.

3. Производящая база дериватов с семантикой 'заболевание'

В повседневной жизни люди активно пользуются «народными» русскими словами для называния, характеристики и описания разных аспектов, относящихся к болезням и заболеваниям. Это, например, имена врачебных профессий, такие как *лёгочник, кожник, глазник, ушник*, имена болезней *молочница, потница*; имена больных *лёгочник, шейница, желчевик* и многие другие. Подобные слова имеют прозрачную внутреннюю форму, а потому понятны и удобны для обыденной коммуникации в непрофессиональной среде.

Семантическую группу 'заболевание', по нашим данным, в русском языке образуют 52 базовых слова (их перечень см. ниже). Это те соматизмы, от которых образуются производные единицы с интересующей нас семантикой. Далее мы воспользуемся одной из классификаций слов, построенных в рамках научного проекта, выполненного три года назад на кафедре русского языка Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета (Москва) под руководством Г.Е. Крейдлина.

Базовые имена-соматизмы называют телесные объекты, в нашем случае следующих типов, или классов: части тела и части таких частей (см. слова *голова, лоб, глаз, око, ухо, рот, язык, шея, горло, плечо, рука, нога, палец, перст, живот, брюхо, грудь, спина*), телесные жидкости (ср. *кровь, молоко,*

пот, слюна, слеза, моча), внутренние органы (ср. *сердце, легкое, почка*), инородные образования (ср. *горб, мозоль, прыщ, нарыв, грыжа, бородавка*), кости, объединения и сочленения костей (ср. *кость, сустав, колено, зуб*), особые места на человеческом теле или внутри него (*пупок, пах*), вещества (*мозг, жир*), нити (*жилы, нервы*), телесные покровы (*кожа, волосы*), наивные (языковые) органы (*ум*)¹. Помимо типов соматических объектов выделяются также группы имен телесных процессов и состояний – патологических и непатологических (*икота, зуд <кожи>*), названия действий тела и разных телесных объектов (*кашлять, харкать, блевать, рыгать*).

Анализ ЛСГ однокоренных слов, вершинами которых являются соматизмы, показал, что наибольшей словообразовательной активностью обладают имена тех соматических объектов (чаще – наружных, видимых), которые являются максимально активными и функционально важными для человека. Что касается единиц, которые формируют семантическую группу 'заболевание', то среди них наиболее активными и частотными являются следующие базовые имена: *кровь* (35 производных единиц), *кость* (22 слова), *глаз* (13 слов), *горло, зуб и грыжа* (по 8 слов), *грудь* (6 слов), *ухо, сердце, прыщ* (по 5 слов), *кожа, пуп, ум* (по 4 слова). От остальных соматизмов в русском языке образовано от одного до трёх слов. Суммарно от всех перечисленных базовых слов нами зафиксировано 200 лексем, формирующих группу дериватов с семантикой заболевания.

4. Фреймовое устройство лексико-словообразовательного гнезда с вершиной «кровь»

Рассмотрим фреймовое устройство наиболее продуктивного ЛСГ с вершиной «*кровь*», точнее – фрагмента ЛСГ, объективирующего смысл 'заболевание'.

Производная лексика интересующей нас семантической группы слов (всего 37 дериватов, из них 19 единиц диалектных, 18 – литературных (книжные и разговорные единицы)) распределяется в этом ЛСГ по следующим слотам: заболевание, признак заболевания, причина заболевания, лекарь (врач), процесс лечения, лечебные средства, характеристика чего-либо с семантикой болезни. Внутри этих слотов выделяются единицы с большей или меньшей степенью смысловой близости. Более близкие в смысловом отношении слова закрепляются за одной пропозициональной схемой или даже – если эти слова максимально близки – за одной пропозицией. Покажем это на конкретных примерах.

Замечания.

1. При описании материала мы пользовались следующими условными обозначениями: ПС – пропозициональная схема, П – пропозиция, СО – соматический объект, лит. – литературное, диал. – диалектное, биол. – биологическое. Иллюстративный материал (контекстуальное употребление производных слов) был взят нами из диалектных словарей (преимущественно из СРНГ – Словарь русских народных говоров), литературных лексикографиче-

¹ См. о них, например, в работах Е.В. Урысон [12].

ских источников (СРЛЯ – Словарь русского литературного языка в 17 томах, МАС – Словарь русского языка в 4 томах, СРЯ – Словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой), Национального корпуса русского языка и других интернет-ресурсов (список источников см. в конце статьи¹).

Слоты отделяются один от другого пробелом. После названия слота, выделенного полужирным шрифтом, идут характеризующие его пропозициональные структуры и пропозиции. После толкования производного слова дается помета, указывающая, диалектное оно или литературное, сообщается информация о словаре или словарях, откуда взято данное слово, и пример его употребления.

2. Некоторые производные слова приводятся ниже без контекстуального сопровождения, иллюстрирующего их употребление. Это те слова, которые представлены в «Словаре русских народных говоров» без иллюстративного контекста (поиск примеров по другим диалектным словарям не дал нужного результата); такие слова, как правило, сопровождаются пометой «без указания места». Их мы тоже решили включить в анализируемый материал, рассматривая эти слова как потенциальные.

Слот «признак заболевания»

ПС «результат – предикат – объект»

П «инородное образование на теле или в теле, выделяющее некую жидкость», например: *крове́ник* ‘нарыв, чирей, болячка’ (диал., СРНГ).

П «инородное образование на теле, приобретенное вследствие воздействия на СО», например: *кровопо́дтёк* 1 ‘пятно на человеческом теле красного, тёмно-синего или бордового цвета (ср. *синяк*), возникшее по причине внутреннего кровоизлияния от удара, ушиба или иной травмы’ (лит., СРЛЯ: *Измельченную свежую траву использовали для врачевания ран, ссадин, кровоподтеков и опухолей* (И. Сокольский. Что есть что в мире библейских растений)).

ПС «место – предикат – объект»

П «место на теле, где находится инородное образование», например: *кровопо́дтёк* 2 ‘место на теле, где находится пятно красного, тёмно-синего или бордового цвета’ (лит., СРЛЯ: *На левом предплечье она обнаружила синяк, и такой же кровоподтёк расплывался на боку* (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого)).

ПС «процесс – предикат – объект»

П «давление телесной жидкости», например: *кровода́вление* 1 ‘давление крови’ (диал., СРНГ: *Кроводавление большое у меня* (Ср. Урал).

П «выделение данной телесной жидкости посредством типового действия СО», например: *кровоха́ркание* ‘выделение крови при кашле, обычно вместе с мокротой’ (лит., СРЛЯ: *Потом я заболел кровохарканием и на Страстной*

¹ Мы не претендуем на абсолютную полноту языкового материала, представленного в данной статье. В первую очередь эта «неполнота» касается диалектных дериватов. Кроме «Словаря русских народных говоров», мы обращались и к другим диалектным лексикографическим источникам (речь здесь идет о словарях – всего 16, в которых собраны красноярские, среднеобские, забайкальские, кемеровские, вологодские, орловские, тверские, смоленские и некоторые другие говоры). Но обнаруженные в этих словарях единицы интересующей нас семантики уже были заимствованы нами из «Словаря русских народных говоров» либо словарей современного русского языка (с пометой «обл.»).

неделе уехал для лечения в Крым (Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох).

ПС «степень – предикат – объект»

П «активное вытекание наружу данной телесной жидкости», например: *крови́на* (диал., СРНГ), *кровото́к* ‘обильное вытекание крови из кровеносных сосудов, преимущественно наружу’ (диал., СРНГ. *Бадам яшень унимал кровото́к* (Н. Лесков. Загон), *кровотече́ние* (лит., СРЛЯ: *Меньше разрез, меньше кровотечения, меньше требуется наркоза <...>* (М. Литвинова. В дар будущему). Ср. *внутреннее кровотече́ние, кровоизли́яние* ‘обильный поток крови внутри организма, обычно вытекающий из лопнувшего кровеносного сосуда и текущий направленно в некоторый телесный объект’ (лит., СРЛЯ: *кровоизлия́ние в мозг*).

П «степень давления телесной жидкости», например: *кроводавле́ние* 2 ‘высокое (низкое) давление крови/ (диал., СРНГ: *Кроводавление у меня оказалось всего 70 – доктор сказал, что меня спасло только мое сильное от природы сердце, пульс одно время был чуть ли не совсем не слышен* (И.А. Бунин. Дневники).

ПС «предикат – объект»

П «типичное действие, связанное с выделением наружу данной телесной жидкости», например: (а) *кровохáрка* ‘выделять кровь при кашле, обычно вместе с мокротой’ (лит., СРЛЯ, МАС: *У него открылась сердечная астма, он кашлял и даже кровохаркал* (М. Палей. Кабирия с Обводного канала); (б) *обескрово́ить* ‘выпустить много крови из кого-л.’ (лит., СРЯ: *Он сыпал стрелы, лил кипяток, устилая валы телами, а теперь, как видно, обескровел, но так и не раскрыл ворот, створки которых не смогли пробить маленькие ядра* (А. Иванов. Сердце Пармы); (в) *кровото́чить* ‘поранив некоторый телесный объект (место на своем теле), залить его и, возможно, другие места на теле кровью’ (лит., СРЛЯ: *У бабушки был рак кожи, и открытая рана кровото́чила и излучала ужасный гнойный запах* (А. Тарасов. Миллионер); *крово́ить / крово́ить* ‘поранив некоторый телесный объект (место на своем теле), залить его и, возможно, другие места на теле кровью’ (диал., СРНГ: *Царапина у тебя все еще кровит.*), *кровяни́ть* ‘выделять кровь каплями или тонкой струёй’ (диал., приобские говоры: *Не хотел кровянить платок*); (г) *кровене́ть* ‘покрыться кровью’ (лит., СРЛЯ: *Повязка на ране кровенеет*), *окрове́ть* ‘покрыться кровью’ (диал., СРНГ: *Ребенок упал: весь окровел*).

П «склонность к быстрому и обильному вытеканию телесной жидкости при повреждении тела», например: *кровото́чивость* 1 ‘склонность к длительным, относительно небольшим по интенсивности кровотечениям, которые вызваны нарушениями свертываемости крови и чрезмерным увеличением проницаемости стенок кровеносного сосуда’ (лит., СРЛЯ: *Противопоказаниями к назначению этих препаратов являются возбуждённое состояние, бессонница, кровото́чивость* (В. Прозоровский. Лекарства от усталости).

Слот «причина заболевания»

ПС «субъект – червь, предикат – место»

П «паразиты, живущие в данной телесной жидкости», например: *кровепарази́ты* ‘простейшие организмы, обитающие в крови человека или животных и приносящие им вред’ (лит., СРЛЯ: *Заболевание вызывается про-*

стейшими кровепаразитами из рода *Babesia*, переносчиками которых являются клещи).

ПС «субъект – насекомое, предикат – место»

П «паразиты, пьющие или сосущие данную телесную жидкость», например: *кровопивка* 'насекомое, живущее за счёт того, что пьёт кровь у человека или животного, и приносящее человеку (животному) от этого вред' (диал., СРНГ: *Мухи-кровопивки покоя не дают*).

Слот «заболевание»

ПС «результат – предикат – объект»

П «заболевание, при котором нарушаются функции данной телесной жидкости», например: (а) *кровоточивость* 2 'заболевание, при котором нарушается нормальная свертываемость крови' (лит., СРЛЯ: *На сегодняшний день наука в области стоматологии сделала большой шаг вперед как для диагностирования, так и для правильного лечения кровоточивости*). Ср. лит., мед. синоним *гемофилия*; (б) *кроводущие* 'женская болезнь, сопровождаемая маточным кровотечением' (диал., СРНГ, Казан.); (в) *белокровие* (мед. лейкоз) 'заболевание, при котором исчезают красные кровяные тельца' (лит.: *У композитора было белокровие, и на жизнь он смотрел без особого оптимизма*. (В.Д. Алейников. Тадзимас); (г) *малокровие* 'заболевание, при котором наблюдается недостаток красных кровяных телец; анемия' (лит.: *Другой волонтер в течение нескольких месяцев не употреблял мяса, молока и хлеба, чем заработал малокровие* (В. Леви. Искусство быть собой).

Слот «лекарь / врач» (в широком смысле – любой человек, кто лечит)

ПС «субъект – предикат – объект»

П «человек, лечащий способом кровопускания», например: *кровомётчик* 'лекарь, лечащий больных посредством кровопускания' (диал., СРНГ, старор. новг.).

П «человек, дающий другим людям свою <данную> телесную жидкость с целью их лечения», например: *кроводатель* (лит. *донор*) 'человек, добровольно дающий другим людям свою кровь, чтобы её можно было использовать при лечении других людей' (диал., СРНГ, лит. разг.: *До недавнего времени почетный «кроводатель» имел право бесплатного проезда и оплачивал только половину стоимости лекарств и коммунальных услуг* (Кровавая цена. АиФ. 2004. № 42).

Замечание

Отнесение деривата *кроводатель* к слоту «лекарь / врач» объясняется тем, что кроводатель (донор) – это лицо, которое своей кровью лечит других людей, спасая их жизнь.

Слот «процесс лечения»

ПС «процесс – предикат – объект»

П «процесс выпускания определённого количества данной телесной жидкости с целью лечения», например: *кровопускание* 'выпускание крови некоторым человеком Y из некоторого телесного объекта или места на / в теле человека (или животного) X с лечебной целью этого X' (лит., СРЛЯ: *Метод кровопускания – один из наиболее популярных в прошлом методов лечения целой группы заболеваний* (Ш. Аляутдинов. Врачевание пророка).

П «процесс очищения данной телесной жидкости», например: *кровеочищение / кровоочищение* ‘очищение крови в лечебных целях’ (лит., СРЛЯ: *Методы внепочечного кровеочищения занимают особое место* (Эндогенная интоксикация в хирургии и принципы ее коррекции).

Слот «лечебные средства»

ПС «средство – предикат – объект»

П «растение, которое приводит в активное движение данную телесную жидкость», например: (а) *кровогон* ‘растение (биол. «можжевельник казацкий»), используемое в лечении как лекарство, усиливающее и ускоряющее движение крови и этим – движение мочи (= мочегонное средство), желчи (= желчегонное средство) и пота (= потогонное средство), и, вследствие этого, обладающее противосудорожным и антисептическим действием’ (диал.: *Кровогон – травяной настой помогает избавиться от скрытой недостаточности кровообращения* (Виды болезней и их лечение. Интернет)); (б) *кровоавник* (биол. «тысячелистник обыкновенный»), *кровоавчик* (биол. «зверобой обыкновенный») ‘растение, используемое в качестве кровоостанавливающего средства’ (диал.: *Это прекрасное растение народ еще «крававником» называет* (Врачи помочь не смогли, а «крававник», как всегда, выручил. Бабушка. 21.06. 2012).

Отдельный слот образует «**характеристика чего-либо с семантикой заболевания**». Его заполняют прилагательные, такие, как, например, (а) *кровяной* ‘кровавый, с кровью’ (диал., СРНГ: *Три мозоли кровяные натирала* (из песни); (б) *крововетный* ‘об инструменте, используемом для кровопускания при лечении человека или животного’ (диал., СРНГ: *Крововетный рог – кровь мечут, топориком высекают* (Печор.); (в) *кровогонный* ‘вызывающий или поддерживающий усиленное кровотечение’ (диал. СРНГ: *Но, поздно метаться – сердце – труп. Аппарат кровогонный с шейками трубок стучит о днище помойного бака* (С.Л. Коркин. Холестерин); *кровоостанавливающий/кровоостанавливающий* ‘такой, который останавливает вытекание крови из телесного объекта или места на / в теле наружу’ (лит. СРЛЯ: *жгут кровоостанавливающий*); (в) *кровоточивый* X ‘такой телесный объект X, из которого кровь течет наружу из-за болезни или повреждения X и, возможно других телесных объектов’ (лит., СРЛЯ: *После ее укуса сразу открывается кровоточивая ранка* (В.К. Арсеньев. По Уссурийскому краю); (г) *крововетный* ‘относящийся к крововету’ (лит., СРЛЯ: *крововетная ушная раковина*).

Производные единицы ЛСГ с вершиной «кровь», образуя описанные выше слоты, демонстрируют фреймовое устройство фрагмента соответствующего ЛСГ. Этот фрагмент отражает или в существенных чертах характеризует ситуации, связанные с процессом заболевания. При возникновении заболевания основная задача врача – выяснить его природу, устранить его и вылечить пациента (для чего врач обычно тесно взаимодействует с пациентом (о беседах врача с пациентом о боли и болезни см. подробно в работе [13])). В ходе первичной беседы с больным врач (лекарь, знахарь и др.) выявляет признаки и причины заболевания, узнаёт о сопутствующих болезнях или патологиях у больного, о наличии у него боли. Далее он констатирует факт заболевания и формулирует диагноз (в общем случае – предварительный, кото-

рый впоследствии может уточняться и даже изменяться). После этого (как правило, вместе с больным) врач намечает общую стратегию и конкретные тактики лечения, в том числе отдельные приёмы и методы, направляет больного на дополнительные обследования, выписывает или указывает полезные больному лечебные средства, включая лекарственные травы, массаж, лечебные процедуры и др.), т.е. приступает к процессу лечения.

Привлечение к анализу семантической группы 'заболевание' дериватов других ЛСГ позволяет дать (по возможности) максимально полную картину ситуации, связанной с заболеванием. В частности, изучение ЛСГ с другими вершинами – соматизмами позволяет не только расширить лексическое наполнение имеющихся слотов, но и выделить другие, смежные, слоты. В качестве примера приведём лишь некоторые лексические единицы из таких слотов, и это далеко не все единицы, реально встречающиеся в текстах и словарях.

Слот «признак заболевания»: (а) лит. *сердцеби́ение*, диал. *костогры́з* 'ломота в костях' (*Да, костогрыз приказал долго жить* (А. Белый. Москва); (б) диал. *охáрковье* 'мокрота, выделяемая при харканье' (*У тебя охарковье али сухой кашель?* (СРНГ); (в) диал., лит., разг. *мокрогла́зый* (*Ты, мокроглазый (у Яна все еще болели глаза), куда собрался?* (П. Болеслав. Анелька)); (г) диал., лит., разг. *Х-а косоро́тит* 'человека Х мучают судороги во время болезни или припадка' (*Кроме этого сильно дергаются глаза, рот «косоротит», плечи дергаются вверх и все тело подвержено каким-то тикам* (Интернет); (д) диал. *Х-а горба́тит* 'человек Х ощущает продолжительные и сильные боли в каком-то месте на / в теле или на / в телесном объекте' (*Лихо мне, горбатит спина у меня* (СРНГ); (е) лит. *прыща́веть* 'покрыться прыщами'.

Слот «причина заболевания»: (а) *костое́д* 'червь, который появляется в кости при её нагноении' (*Костоед – это когда кости ломит, болезнь такая* (СРНГ); (б) диал. *гла́зище* 'глаз' (СРНГ); (в) диал. *зуби́ны* 'болезненное прорезывание зубов у ребенка' (СРНГ).

Вызывать неприятные и болезненные телесные ощущения, боли и заболевания у человека могут также некоторые люди. К ним мы относим, в частности, таких лиц, как диал. *ико́тница* 'колдунья, которая может (= обладает способностью) вызывать икоту посредством колдовства, ворожбы' (СРНГ), диал. *гры́жница* 'женщина, которая может наговаривать людям грыжу' (СРНГ).

Слот «заболевание»: (а) лит. *моло́чница*, диал. *грудни́ца* 'болезнь, заключающаяся в воспалении грудных желез у кормящей молоком женщины'; (б) диал. *костя́ник* 'заболевание полости рта человека'; (в) диал. *костоло́м* 'ревматизм', (г) лит. *потни́ца* 'болезненное состояние кожи человека, проявляющееся в появлении маленьких пузырьков при усиленном выделении пота'; (д) лит. *косогла́зие* 'расстройство координации движения глаз из-за неодинакового направления зрачков'; (е) диал. *междупе́рстница* 'болезнь, проявляющаяся покраснением, нагноением, болью и др. места между пальцами рук или ног, вызванная загрязнением, нарушением гигиены'; (ж) диал. *зау́шни* 'болезнь уха (ушей)' (лит. паротит); (з) диал. *горлови́ца* 'болезнь горла'.

Слот «больной» – один из наиболее крупных, многочисленных слотов. Он формируется единицами, образованными от названий: (а) больных органов: *сердечник*, *почечник*, *лёгочник*; (б) инородных образований: диал. *грыжница*, диал. *пупастый* ‘больной пупочной грыжей, с большим пупком – грыжей’; (в) частей тела или частей таких частей: *шейница* ‘женщина с травмой шейного отдела позвоночника’, *спинальница* ‘женщина с травмой позвоночника’; (г) жидкостей: *желчевик* ‘человек с заболеванием желчного пузыря, с болезненно желтой кожей, глазами’; (д) типовых действий, производимых с больными для их лечения или помощи, ср. диал. *оглядыш* ‘больной, за которым присматривают, ухаживают’.

Слот «лекарь» (врач): (а) разг. *ушник* ‘врач – специалист по ушным болезням человека и по болезням некоторых других телесных объектов, связанных с ушами человека’ (ср. более общее литературное наименование врача *отоларинголог*); (б) диал. *кожница* ‘врач-специалист по кожным болезням человека’ (лит. *дерматолог*); (в) разг. *лёгочник* ‘врач-специалист по легочным болезням’ (лит. *пульманолог*); (г) разг. *сердечник* ‘врач-специалист по сердечным болезням (= болезням сердца)’ (лит. *кардиолог*); (д) разг. *зубодёр* ‘насмешливое название зубного врача’; (е) разг. *костоправ* ‘человек, умеющий вправлять вывихнутые и складывать сломанные кости’; (ж) разг. *глазник*, *горловик*. Здесь же выделяются особые имена знахарок и знахарей, такие как диал. *грыжница*, *грыжевак*, или повитух, ср. диал. *пупочница* ‘повитуха, перерезающая пупок у новорожденного’.

Слот «лечебница» (больница): *зуболечебница*, *лёгочный* (центр).

Слот «процесс лечения»: *зубоврачевание*, *грыжесечение* ‘операция, выполняемая при ущемлении грыжи у человека и состоящая в разрезе грыжевого кольца для вправления выступивших внутренностей в брюшную полость’.

Слот «лечебные средства» формируется названиями лекарственных трав, образованных от имён соматических объектов и либо применяющихся при лечении определённых болезней этих объектов, либо по внешнему виду напоминающих телесные объекты. Это единицы *сердечница*, *печёночница*, *зубница*, *суставница*, *грыжница*, *лёгочница* (лит. *горечавка легочная*), *костоломка* ‘растение, употребляющееся в народной медицине в качестве средства от ломоты в костях’, *грудничка* ‘лечебная трава от простуды’, *пальчик* ‘лекарственная трава с цветами, похожими на пальцы’.

Слот «средство защиты» представлен в нашем материале одним словом – *наколённик* ‘наколенная накладка’, точнее, ‘теплая повязка, надеваемая на колено с целью его согревания’.

Слот «типовые процессы», связанные с ‘заболеванием’: (а) диал. *Х отрыгивается* ‘Х отрыгивается телесный объект Х или место Х на / в теле человека часто болит, напоминает о себе болью’ (*Частьнюк жалиться приходилось мне: отрыгивается вот эта половина* (СРНГ)); (б) диал. *отрыгать* ‘выздоровливать после болезни’ (*Отрыгнул немножко после соборования, а после опять свалился* (СРНГ)); (в) диал. *изглазеть* ‘сглазить’; (г) лит. *косоглазить* ‘болеть косоглазием’; (д) диал. *изболеться* ‘зачахнуть, захиреть’; (е) диал. *мозолиться* ‘испытывать боль, мучаться от болей, вызванных раной, нарывом и некоторыми другими повреждениями’; (ж) диал. *мозгнуть* ‘продолжительное время находиться в состоянии болезни или испытывать

боль; недомога, чахнуть»; (з) лит. *обезуметь* 'лишиться ума'; (и) диал. *образумиться* 'излечиться от сумасшествия'; (к) диал. *опунеть* 'надорваться, подорвать здоровье от тяжелого или продолжительного труда' и др.

Слот «характеристика чего-либо с семантикой 'заболевание'» наполняют следующие имена: (а) диал. *глазливый* 1 'способный сглазить'; (б) диал. *глазливый* 2 'способный заболеть от сглаза, «дурного глаза»'; (в) лит. *пупочный* 'относящийся к пупку или связанный с пупком' (ср. *пупочная грыжа*); (г) лит. *брюшнотифозный* 'относящийся к брюшному тифу, болеющий брюшным тифом'; (д) *лобный* 'относящийся ко лбу' (ср. *лобная болезнь* 'воспаление лобных пазух'); (е) лит. *бородавчатый* 'покрытый бородавками'; (ж) лит. *сердечно-сосудистый* 'относящийся к сердцу и кровеносным сосудам' (ср. *сердечно-сосудистые заболевания, сердечно-сосудистые средства*); (з) лит. *зубной* 'относящийся к зубам' (ср. *зубная боль*) и многие другие.

5. Заключение

Анализ языкового материала, образующего семантическую группу 'заболевание', показал, что для обыденного языкового сознания первостепенную важность представляют видимые функционально значимые телесные объекты, преимущественно жизненно важные.

Репрезентация фрагментов ЛСГ в виде фреймов позволила установить их наиболее крупные структурные компоненты, а именно ядерные слоты, пропозициональные схемы и пропозиции. Показано, что в ЛСГ с вершиной «кровь» наибольшей продуктивностью отличаются слоты «признак заболевания» и «характеристика чего-либо с семантикой заболевания». Ядро слота «заболевание» создают, в частности, дериваты гнезда с вершиной «кость» (что не случайно, поскольку многие заболевания сопровождаются ломотой в костях, воспалением костной ткани и некоторыми другими костными недугами) и с вершиной «горло» (как правило, любое респираторное заболевание сопровождается болью в горле).

Самыми продуктивными слотами, реализующими семантику заболевания, являются следующие: «заболевание», «признак заболевания», «лекарь (врач)», «больной» и «лекарственные средства» (травы), а самой продуктивной пропозициональной схемой является схема «результат – предикат – объект». На эту схему опираются пропозиции разных слотов: «инородное образование, характерное для места на / в теле человека или телесный объект у человека», «инородное образование, приобретенное вследствие воздействия на телесный объект или место на / в теле человека», «болезнь, во время которой нарушаются функции телесного объекта» и некоторые другие.

Фреймовый анализ позволяет увидеть не только сходства и различия в семантическом устройстве гнезд, но и установить тесные семантические связи между фрагментами разных гнезд. Эти связи обусловлены наличием слотов, близких друг к другу, и разнообразным смысловым спектром ассоциативно взаимосвязанных словообразовательных значений: 'лицо, у которого болит/ расшатано/ травмировано что-либо' (*сердечница, грыжница, нервница, шейница* и др.), 'лицо, лечащее/ заговаривающее что-либо' (*ушница, кожная, грыжница, клячица*), 'растение, которым лечат что-

либо' (зубни́ца, серdéчница, печёночница, гры́жница), 'место, в котором лечат' (зуболéчбница) и др.

Именно такие, близкие в смысловом отношении, связи формируют, главным образом, множество слов, объединенных семантическим признаком 'заболевание'.

Рассмотрение ЛСГ как когнитивной структуры в виде фрейма с его целостной концептуальной организацией представляется нам весьма перспективным. Фреймовая структура обеспечивает категориальное и семантическое структурирование языковых и культурных знаний о базовом слове и производных словах, наполняющих каждое ЛСГ. В свою очередь, ЛСГ обладает ярким прогнозирующим свойством, позволяющим выявить деривационный потенциал слова, в значительной мере зависящий от степени прагматической значимости для человека предметов, названных базовыми словами или их производными.

Литература

1. Cowley S.J. Linguistic Cognition: Using cognitive contexts to realize values / S.J. Cowley // Когнитивные исследования языка. Вып. 8: Проблемы языкового сознания: материалы Междунар. науч. конф. Тамбов, 2011. С. 33–34.
2. Аркадьев П.М., Крейдлин Г.Е., Летучий А.Б. Семиотическая концептуализация тела и его частей. Ч. 1: Признак «форма» // Вопросы языкознания. 2008. № 6. С. 78–97.
3. Крейдлин Г.Е. Механизмы взаимодействия вербальных и невербальных единиц в диалоге: дейктические жесты и речевые акты // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной междунар. конф. «Диалог-2006». М., 2008. С. 248–253.
4. Крейдлин Г.Е., Переверзева С.И. Части тела в русском языке и русской культуре: признаки частей тела и их значение // Теоретические и прикладные аспекты современной филологии: материалы 14-й Всерос. филол. чтений им. профессора Р.Т. Гриб (1928–1995). Красноярск, 2009. С. 39–45.
5. Крейдлин Г.Е., Переверзева С.И. Тело в диалоге: семантическая концептуализация тела (итоги проекта). Ч. 2: Признаки соматических объектов и их значения // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии тр.: Междунар. конф. «Диалог-2010». М., 2010. С. 382–388.
6. Аркадьев П.М., Крейдлин Г.Е. Части тела и их функции (по данным русского языка и русского языка тела) // Слово и язык: сб. ст. к восьмидесятилетию акад. Ю.Д. Апресяна. М., 2011. С. 41–53.
7. Евсеева И.В. Когнитивное моделирование словообразовательной системы русского языка (на материале комплексных единиц): дис. ... д-ра филол. наук. Кемерово, 2012. 430 с.
8. Евсеева И.В., Пономарева Е.А. Когнитивное моделирование лексико-словообразовательного гнезда (на материале гнезд с вершинами сердце и heart) // В мире научных открытий. 2012. № 11.3. С. 90–118.
9. Минский М. Фреймы для представления знаний. М.: Энергия, 1979. 152 с.
10. Евсеева И.В. Лексика русского языка и его диалектов в репрезентации тела и телесности: электронная база данных // Человек и язык в коммуникативном пространстве: сб. науч. ст. 2013. Т. 4, № 4. С. 237–243.
11. Dokulil M. Tvoření slov češtině: Teorie odvozování slov. Praha, 1962. 263 s.
12. Урысон Е.В. Душа, сердце и ум в языковой картине мира // Путь. 1994. № 6. С. 219.
13. Крейдлин Г.Е. Коммуникация врача с пациентом во время первичного приёма: разговор о боли и болезни // Русский язык сегодня. Вып. 6: Речевые жанры современного общения / отв. ред. А.В. Зинадворова. М., 2015. С. 147–174.

Источники материала исследования

Словарь русских народных говоров. Т. 1–47. М.; Л.: Наука; СПб.: Институт лингвистических исследований РАН, 1965–2014.

Словарь русского языка: в 4 т. / РАН. Ин-т лингв. исследований / под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.: Полиграфресурсы, 1999.

Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. М.; Л.: АН СССР, 1948–1965.

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.: ИТИ Технологии, 2006. 944 с.

Интернет-источники:

Болезни и лечение. Справочник болезней и их лечение. URL: <http://medicina.dobroest.com/bolezni-i-lechenie-spravochnik-bolezney-i-ih-lechenie> (дата обращения: 30.03.2017).

Виды болезней и их лечение. URL: <http://wikipigs.net/emfizema-legkih-lechim-retseptami-znaharey.html> (дата обращения: 15.01.2017).

Народные названия болезней. URL: <http://poisk-ru.ru/s31377t2.html> (дата обращения: 20.01.2017).

Народные названия лекарственных растений. URL: Источник <http://vapakol.ru/narodnye-nazvaniya-rastenij/> (дата обращения: 20.01.2017).

Распространенные болезни и их лечение народными средствами. URL: <https://oldmed.ru/lechenie/> (дата обращения: 15.02.2017).

Русские народные названия болезней (из «Записок врача»). URL: <http://blogs.7iskusstv.com/?p=29254> (дата обращения: 15.02.2017).

FRAME MODELING OF FRAGMENTS OF LEXICAL-DERIVATIONAL NESTS WITH THE 'DISEASE' SEMANTICS

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 49. 5–23. DOI: 10.17223/19986645/49/1

Irina V. Evseeva, Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russian Federation). E-mail: ivevseeva@yandex.ru

Grigory E. Kreydlin, Russian State University for the Humanities (Moscow, Russian Federation). E-mail: gekr@iitp.ru

Keywords: somatisms, derivative lexis, 'disease' semantics, frame modeling, lexical-derivational nest.

Linguists' attention to the somatic semantics lexis (words naming body parts, e.g., body parts, parts of the body parts, pelage, organs, etc.) entails the relevance of the present issue. Though the Russian somatic lexis is studied for a long time most linguists accentuated separate somatic objects or their features, on the one hand, and non-derivative somatic lexis, on the other hand, without a systematic study of the somatisms derivatives. Nevertheless, such a study helps understand how Russian speakers categorize the world through their body prism.

The article aims to study language processing of somatic information such as derivatives with the 'disease' semantics. Body discomfort, disease or illness of body objects are their dysfunctions whose description is one of the stages to conceptualize the naive semiotics of body and bodyness.

The material of the research was derived from the words forming the semantic group 'disease'. 52 basic words of the Russian language (blood, bone, eye, chest, etc.) were found, from which the derivatives of the semantics of interest are formed. The most frequent producing names are the following: blood (from this word it was possible to fix 35 derived units), bone (22 words), eye (13 words), throat, tooth and hernia (8 words), chest (6 words), ear, heart, pimple (5 words each), skin, navel, mind (4 words each). From one to three words are produced from other somatisms in the Russian language. In total, from all the listed basic words, the authors recorded 200 derivatives with the 'disease' semantics. The article analyzes in detail the group of derivatives of the lexical-derivational nest with the apex "blood" – 37 derivative words, where 19 are dialectal and 18 are literary (book and colloquial).

The main methodological approach is cognitive modeling of the derivatives, namely, modeling of the lexical-derivative nests with the 'disease' semantics as frames. The frame model gives the categorical and semantic structure to the language and culture knowledge about the basic word and its derivatives. Such terms as "frame", "slot", "propositional structure", "proposition" are the meta-

language units representing general forms of knowledge, they also visualize different ways of semantic derivation and nomination of the derivatives.

The study results are: (1) lexical somatisms are identified that form basic and derivative Russian lexis with the 'disease' semantics; (2) the frame method of lexical-derivative nests analysis is designed, with the use of which (3) the semantic structure is created for the derivatives with the 'disease' semantics; (4) the place of the meaning 'disease' in the structure is determined; (5) the similarities and differences are established in the forms and semantics of the appropriate lexical-derivative nests.

The materials of the article can be used in the following spheres: explanatory dictionaries compiling and improvement, different languages somatic lexis comparison, teaching work.

References

1. Cowley, S.J. (2011) Linguistic Cognition: Using cognitive contexts to realize values. *Kognitivnye issledovaniya yazyka. Vyp. VIII. Problemy yazykovogo soznaniya* [Cognitive Studies of the Language. Issue. VIII. Problems of linguistic consciousness]. Proceedings of the international conference. Tambov State University. pp. 33–34.
2. Arkad'ev, P.M., Kreydlin, G.E. & Letuchiy, A.B. (2008) Semioticheskaya kontseptualizatsiya tela i ego chastey I. priznak "forma" [Semiotic conceptualization of the body and its parts I. The attribute "form"]. *Voprosy yazykoznaniya*. 6. pp. 78–97.
3. Kreydlin, G.E. (2008) [Mechanisms of interaction between verbal and non-verbal units in the dialogue: deictic gestures and speech acts]. *Komp'yuternaya lingvistika i intellektual'nye tekhnologii* [Computer Linguistics and Intellectual Technologies]. Proceedings of the international conference "Dialog-2008". Bekasovo. 4–8 June 2008. Moscow: RSUH. pp. 248–253. (In Russian).
4. Kreydlin, G.E. & Pereverzeva, S.I. (2009) Chasti tela v russkom yazyke i russkoy kul'ture: priznaki chastey tela i ikh znachenie [Parts of the body in the Russian language and Russian culture: signs of parts of the body and their significance]. *Teoreticheskie i prikladnye aspekty sovremennoy filologii* [Theoretical and applied aspects of modern philology]. Proceedings of the XIV All-Russian Reading in honor of Professor R.T. Grib (1928–1995). Krasnoyarsk: Siberian Federal University. pp. 39–45. (In Russian).
5. Kreydlin, G.E. & Pereverzeva, S.I. (2010) [The body in the dialogue: the semantic conceptualization of the body (the outcome of the project). Part 2. Signs of somatic objects and their meanings]. *Komp'yuternaya lingvistika i intellektual'nye tekhnologii* [Computer Linguistics and Intellectual Technologies]. Proceedings of the international conference "Dialog-2010". Bekasovo. 26–30 May 2010. Moscow: RSUH. pp. 382–388. (In Russian).
6. Arkad'ev, P.M. & Kreydlin, G.E. (2011) Chasti tela i ikh funktsii (po dannym russkogo yazyka i russkogo yazyka tela) [Parts of the body and their functions (according to the Russian language and the Russian language of the body)]. In: *Slovo i yazyk. Sbornik statey k vos'midesyatiletiyu akad. Yu.D. Apresyana* [Word and language. Collection of articles for the eightieth anniversary of Academician Yu. D. Apresyan]. Moscow: "Yazyki slavyanskikh kul'tur".
7. Evseeva, I.V. (2012) *Kognitivnoe modelirovanie slovoobrazovatel'noy sistemy russkogo yazyka (na materiale kompleksnykh edinit)* [Cognitive modeling of the word-formation system of the Russian language (on the basis of complex units)]. Philology Dr. diss. Kemerovo.
8. Evseeva, I.V. & Ponomareva, E.A. (2012) Cognitive modeling of lexico-derivational nest (based on the material of the nests with *serdce* and *heart* apexes). *V mire nauchnykh otkrytiy – Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture*. 11.3. pp. 90–118. (In Russian).
9. Minsky, M. (1979) *Freyemy dlya predstavleniya znaniy* [A framework for representing knowledge]. Translated from English. Moscow: Energiya.
10. Evseeva, I.V. (2013) The body and corporeality representation in the lexic of Russian language and its dialects: digital data base. In: *Chelovek i yazyk v kommunikativnom prostranstve* [Man and language in communicative space]. 4.4. pp. 237–243. (In Russian).
11. Dokulil, M. (1962) *Tvoření slov češtině: Teorie odvozování slov* [Word-formation in Czech: A theory of word derivation]. Praha: ČSAV.
12. Uryson, E.V. (1994) Dusha, serdtse i um v yazykovoy kartine mira [Soul, heart and mind in the language picture of the world]. *Put'*. 6. pp. 219.
13. Kreydlin, G.E. (2015) Kommunikatsiya vracha s patsientom vo vremya pervichnogo priema: razgovor o boli i bolezni [Communication of the doctor with the patient during the first visit: talk about pain and illness]. Zanadvorova, A.V. (ed.) *Russkiy yazyk segodnya. Vyp.6. Rechevye zhanry*

sovremennogo obshcheniya [Russian language today. Issue 6. Speech Genres of Contemporary Communication]. Moscow: "Flinta": Nauka.

Sources of the Research Material

Filin, F.P. (ed.) (1965–2014) *Slovar' russkikh narodnykh govorov* [Dictionary of Russian folk dialects]. Vols 1–47. Moscow; Leningrad: Nauka; St. Petersburg: Institute of Linguistic Research, RAS.

Evgen'eva, A.P. (ed.) (1999) *Slovar' russkogo yazyka. V 4-kh t.* [Dictionary of the Russian language. In 4 volumes]. 4th ed. Moscow: Rus. yaz.; Poligrafresursy.

Shakhmatov, A.A. (ed.) (1948–1965) *Slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka: v 17 t.* [Dictionary of the modern Russian literary language: in 17 volumes]. Moscow; Leningrad: USSR AS.

Ozhegov, S.I. & Shvedova, N.Yu. (2006) *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka* [Explanatory dictionary of the Russian language]. 4th ed. Moscow: ITI Tekhnologii.

Internet sources:

Bolezni i lechenie. Spravochnik bolezney i ikh lechenie [Diseases and treatment. Directory of diseases and their treatment]. [Online] Available from: <http://medicina.dobro-est.com/bolezni-i-lechenie-spravochnik-bolezney-i-ih-lechenie>. (Accessed: 30.03.2017).

Vidy bolezney i ikh lechenie [Types of diseases and their treatment]. [Online] Available from: <http://wikipigs.net/emfizema-legkih-lechim-retseptami-znaharey.html>. (Accessed: 15.01.2017).

Narodnye nazvaniya bolezney [Folk names of diseases]. [Online] Available from: <http://poisk-ru.ru/s31377t2.html>. (Accessed: 20.01.2017).

Narodnye nazvaniya lekarstvennykh rasteniy [Folk names of medicinal plants]. [Online] Available from: Istochnik <http://vapakol.ru/narodnye-nazvaniya-rastenijj>. (Accessed: 20.01.2017).

Rasprostranennye bolezni i ikh lechenie narodnymi sredstvami [Common diseases and their treatment with folk remedies]. [Online] Available from: <https://oldmed.ru/lechenie/>. (Accessed: 15.02.2017).

Russkie narodnye nazvaniya bolezney (iz "Zapisok vracha") [Russian folk names of illnesses (from "Notes of a Doctor")]. [Online] Available from: <http://blogs.7iskusstv.com/?p=29254>. (Accessed: 15.02.2017).

УДК 811.161.1: 81'37

DOI: 10.17223/19986645/49/2

И.Е. Ким, Т.А. Шароглазова

ПРОПАЖА И ПОТЕРЯ В РУССКОЙ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКЕ: КОНВЕРСНОСТЬ И АСИММЕТРИЯ

Статья посвящена семантике двух глаголов потерять и пропасть, обозначающих на первый взгляд похожие или даже аналогичные ситуации и противоположных по актантной перспективе, т.е. конверсных. Более тщательное изучение семантики этих предикатов говорит о том, что потеря и пропажа различаются не только диатезой, но и сущностью: потеря означает разрыв отношения обладания, а пропажа – исчезновение из воспринимаемого мира. Тем не менее существует зона пересечения семантики потери и пропажи, что позволяет говорить о наличии конверсности этих глаголов, но только с ограничениями на пресуппозитивную часть их значения.

Ключевые слова: семантика действия, пропажа / потеря, пресуппозиция, посессивность, сопричастность, существование.

Конверсность представляется нам чрезвычайно важным понятием в русской синтаксической семантике, которое требует не только лингвистического описания, но и словарной фиксации. Однако это очень капризное и непоследовательное отношение, требующее во многих случаях специального изучения на массиве контекстов и учета разницы лексико-семантических вариантов.

Наша статья посвящена проблеме оценки наличия конверсности глаголов со значением потери и пропажи. Работа выполнена в русле исследований семантики действия.

Семантику действия можно моделировать двумя принципиально разными способами: с помощью пропозитивной (предикатно-актантной) и каузативной (перифрастической, или текстовой) моделей. Первая модель восходит к идеям Л. Теньера и реализуется в работах У. Чейфа, Ч. Филлмора, в трудах отечественных лингвистов Т.П. Ломтева, В.В. Богданова, В.Г. Гака, Т.В. Шмелевой и др. Суть ее в том, что действие представляет собой разновидность события и моделируется как структура, состоящая из семантического центра – предиката, окруженного серией позиций для участников события – актантов (актантной рамкой) и помещенного вместе с ними в пространственно-временную непрерывность, представленную сирконстантами – локативом и темпоративом. Вторая модель представляет действие как набор простых процессов, связанных между собой причинно-следственными (каузативными) отношениями. Эта модель использовалась в работах Г.П. Мельникова, Ю.С. Степанова, А.Ф. Дремова, а также в работах А. Вежбицкой и представителей московской семантической школы (Ю.Д. Апресян, М.Я. Гловинская и др.).

В настоящем исследовании используется пропозитивная модель семантики действия.

Семантика потери в русском языке интересна по крайней мере в двух отношениях: во-первых, потеря имеет пресуппозицию предшествующего посессивного отношения; во-вторых, она, будучи лишена всякой преднамеренности со стороны субъекта и его активности, тем не менее выражается по модели активного действия. Обе особенности можно проиллюстрировать довольно простым примером: *<Меня просто трясло. К тому же ещё> сразу после старта я **потерял** шапочку – слетела, я сначала даже не заметил* («Известия». 26.07.2002¹).

Обозначенная в данном высказывании потеря оформляется активной конструкцией с субъектом в именительном падеже и объектом в винительном падеже. При этом потере предшествует обладание – разновидность посессивного отношения ('у меня была шапочка'). Обладание осложнено еще и физическим контактом субъекта с объектом: шапочка располагалась на голове лица, обозначаемого местоимением *я*. Это отношение и разрывается вследствие потери. Отсутствие предшествующего событию отношения обладания сделало бы, таким образом, потерю невозможной («Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное»).

Выражена потеря активной глагольной конструкцией: глагол *потерять* переходный, позиция Им. падежа существительного имеет значение субъекта, а позиция Вин. падежа существительного – значение объекта, как при обозначении действия (ср. *Я купил шапочку; Я порвал шапочку*). Такое обозначение потери, характеризующейся отсутствием контроля над процессом со стороны субъекта, активной конструкцией, выражающей контролируемость процесса субъектом, в терминологии Г.А. Золотовой является неизосемичным [1. С. 44].

Неизосемичность выражения потери предполагает многочисленные семантические коллизии, столкновения семантики конструкции и лексемы. Семантическая модель действия включает в себя два важных момента, в общем случае отсутствующих в потере: наличие каузации результирующего состояния усилиями субъекта действия, а также целенаправленность действия: намеренность, прикладывание усилий, ориентация на результат [2]. Отсутствие в семантике потери этих важных смысловых составляющих проявляется в ограничениях аспектуального характера, в частности в отсутствии вне специального контекста значения процессности у имперфектива со значением потери, например: **Я пять минут терял свою шапочку*; в необходимости введения в текст или высказывание дополнительной информации, поясняющей моменты непреднамеренности потери, как в приведенном примере: *...слетела – я сначала даже не заметил*. В данном случае требуется обоснование отсутствия фиксации утраты предмета, имевшего физический контакт с субъектом потери.

Не будучи по своей природе действием, потеря представляет пропозицию с двумя актантами, и поэтому ее синтаксическое выражение может иметь разную актантную перспективу – диатезу [3. С. 280]. Суть этого понятия в том, что одна и та же ситуация, в которую включены несколько участников с

¹ Здесь и далее используются контексты из Национального корпуса русского языка (ruscorpora.ru) с максимально возможным сохранением орфографии и пунктуации источника.

разными семантическими ролями – актанты, может быть описана разными способами: большую значимость (специалистами по когнитивной лингвистике используется понятие фокуса внимания, или фокуса интереса [4, 5]) может приобретать один из актантов, а другой оставаться в тени или вообще не быть представленным в системе синтаксических позиций. Таким образом, можно говорить, что пропозиция представляет собой своеобразную «карту» ситуации, а диатеза – маршрут, пролагаемый по этой карте. Потенциальный набор диатез был предложен А.А. Холодовичем в работе [3. С. 285].

При обозначении потери возможны две диатезы: активная, например: *Я потерял ключ* и пассивная, например: *(Мной) потерян ключ*; ср. также: *Малика Юсуповна потеряла кольцо, редчайшую драгоценность, которую ей подарил муж* (Д. Донцова. Уха из золотой рыбки (2004); *Только я не виновата, что потеряно кольцо* (А. Пришелец. Сенокосная пора). Возможны, однако, еще две репрезентации пассивной диатезы: *У меня потерялся ключ* (с возвратно-пассивной формой глагола) и *У меня пропал ключ* (с употреблением другого глагола *пропасть*).

Обратим внимание на форму у N_2 : это показатель причастности [6, 7. С. 55–56], или «личной сферы героя» [8], обычно интерпретируемый как показатель посессивного отношения [9]. Таким образом, возвратно-пассивная форма глагола *потерять* и глагол *пропасть* маркируют актантную перспективу, которая на шкале соотношения значимостей субъекта и объекта потери располагается между пассивом и объектным квазипассивом, диатезой, при которой в центр пропозиции помещается объект, а субъект оказывается за кадром. В описываемой конструкции субъект присутствует, но интерпретируется не как активный (контролирующий), а как причастный (не контролирующий). В связи с этим обратим внимание на интерпретацию творительного падежа в конструкции *Мной потерян ключ*. По отношению к потере творительный падеж субъекта обозначает, конечно, не контроль со стороны субъекта, а его ответственность за потерю. Это означает, что творительный падеж и родительный падеж с предлогом *у* различаются мерой ответственности субъекта: при выражении творительным падежом субъект интерпретируется как ответственный за потерю, а при выражении родительным падежом с предлогом *у* он интерпретируется как обладатель. Сочетаемость пассивной формы глагола *потерять* с творительным падежом субъекта означает сохранение в ее семантике активности субъекта, в то время как наличие валентности у N_2 у возвратно-пассивной формы этого глагола и у глагола *пропасть* свидетельствует о выражении ими идеи инактивности субъекта (что, кстати, соответствует семантике потери).

Из всего вышесказанного вытекает, что *потерять* и *пропасть* ведут себя как лексические конверсивы – слова, обозначающие одну и ту же ситуацию «с разных сторон», помещая в фокус внимания субъект (*потерять*) или объект (*пропасть*) посессивного отношения.

Конверсивы представляют собой один из маркеров ограниченности языка как способа отражения вещного мира. Одномерность речевой цепи и письменной строки предполагает единственность порядка следования языковых выражений, обозначающих в актуализированном высказывании участвующие в отражаемом событии реалии. Это качество подобно перспективе двух-

мерных изображений [10]. Жесткость в расположении языковых единиц, свойственная речевой последовательности, мешает произвольности мысли и речи. Конверсность, наравне с залогом, а также разнообразными средствами тематизации и рематизации позволяет представить событие с разных сторон, задавая «перспективу» (термин Ч. Филлмора) в порядке предъявления его участников адресату высказывания. Таким образом, произвольность восприятия события в языковом выражении ограничивается линейностью речи / письма и разнообразится диатезой и конверсностью как способом ее синтаксического и лексического выражения.

Часто конверсность интерпретируется как разновидность антонимии ([11; 12. С. 223–227; 13] и др.), однако антонимия является отношением различия, в то время как конверсность представляет собой отношение тождества. Поэтому Т.П. Ломтев определяет в качестве наиболее важного свойства конверсии логическую эквивалентность прямого и конвертированного отношения [14. С. 81].

Само отношение, реализуемое конверсивами, именуется по-разному: конверсность, конверсивность, конверсия, обратное отношение ([15, 16] и др.).

И.И. Минчук, обобщив разноаспектные исследования по конверсности, определяет восемь ее дифференцирующих признаков: «(1) тождество денотативной структуры ситуации; (2) двухсторонняя импликация; (3) тождество смысла; (4) бинарность отношения; (5) взаимная мена коммуникативных рангов; (6) тождество грамматической структуры; (7) автосемантичность конверсатора; (8) автосинтаксичность конверсатора» [17. С. 7].

Однако по отношению к конверсности глаголов *потерять* и *пропасть* обнаруживается важная проблема, связанная с тем, что эти глаголы имеют различия не только в актантной перспективе обозначаемых пропозиций, но и в пресуппозитивной части значения. Потеря имеет пресуппозицию предшествующего посессивного отношения, что ставит глагол *потерять* в один ряд с глаголами *выбросить*, *лишиться*, *растаться* (с N₅). В то же время для пропажи значимой является пресуппозиция существования. Этим глагол *пропасть* сближается с глаголом *исчезнуть*.

Существует довольно сложное соответствие существования и обладания – семантического прототипа посессивности. В общих чертах это соответствие можно представить следующим образом. Для выделяемой сознанием реальности важен не только факт существования в мире, но и наличие отношений, в которые она в нем вступает. Наиболее устойчивыми и относительно произвольными являются посессивные отношения, которые невидимы, но мыслятся как наличествующие и стабильные. Посессивные отношения в культурной антропологии были проинтерпретированы как особого рода мистические сопричастности, которые связывают обыденного (первобытного) человека с реалиями, местом, тотемом, другими людьми [18]. Существование, если на него накладывается сопричастность, конверсно обладанию, что приводит к наличию в языках двух посессивных моделей, одна из которых в конкретном языке доминирует, – *быть* и *иметь*: бытийной, как в русском языке (*У меня есть оружие*) и посессивной, как в английском языке (*I have (got) a weapon*), ср. различие «быть»- и «иметь»-языков [9. С. 164 и след.].

Соответственно, образуются две диатезы: пассивная – бытийная и активная – посессивная.

Отметим, что Т.М. Николаева отмечает типологическую значимость тесной связи этих значений и значения локативности. При этом русскую форму $y + N_2$ она оценивает как локативную (я бы уточнил квазиллативную) [19. С. 218–219]. Таким образом, русская предикативная посессивная конструкция *У X-а есть О* интерпретируется ею как аналог локативно-бытийной конструкции [Там же].

Таким образом, существование, осложненное сопричастностью, и обладание конверсны. Однако неочевидно, что конверсны *потеря* – прерывание обладания и *пропажа* – прерывание существования.

Сложность заключается еще и в том, что посессивное отношение, по сути, представляет собой целую серию разнородных отношений, которые несводимы друг к другу и даже к одному инварианту, а образуют что-то вроде «фамильного сходства». Все это предполагает и разнообразие самой потери как разрушения этого отношения. Потеря шапочки (пресуппозиция обладания), потеря голоса (пресуппозиция качественной характеристики) и потеря друга (пресуппозиция сопричастности) различаются не только результирующим отношением, но и натуральными аспектами протекания события, которые представляют своего рода переменную в семантике потери, остаются за кадром прямого языкового выражения.

Итак, пресуппозицию потери составляет посессивное отношение, в то время как пресуппозиция пропажи – существование. Заметим, правда, что Л.А. Феоктистова отмечает наличие в базовом компоненте значения исчезновения посессивного значения, при этом обращая внимание на тесную связь посессивности с бытийностью [20. С. 7]. Кроме того, она описывает одну из когнитивных моделей исчезновения, связанную с посессивными отношениями [Там же. С. 9–10].

Посессивная пресуппозиция потери сочетается или контрастирует с пресуппозитивным отношением иного рода. Помимо пресуппозиции посессивного отношения субъекта и объекта пропажи, существует пресуппозиция знания субъекта об объекте или восприятия субъектом объекта, назовем такую пресуппозицию когнитивно-перцептивной. Ср., например: *И тут раздался лёгкий писк – ребёнок, карауливший Барби, был схвачен папашей за руку (семья давно взяла машину и ключи от квартиры и забыла насмерть о девочке, и только уже на улице, когда подрались, кому садиться за руль, бабушка вдруг завопила, что где Женька-то, совсем очертенели, ребёнка **потеряли**, анчутки – и папаша был командирован за Женькой обратно на телецентр, он и потащил дочь уходить)* (Л. Петрушевская. Маленькая волшебница). В данном случае *потерять* значит ‘не иметь сведений, утратить визуальный контакт’. При этом посессивное отношение сохраняется: ребенок не стал чужим.

Наличие этих двух пресуппозиций в целом отражается в толковых словарях.

Так, в «Толковом словаре антонимов русского языка» М.Р. Львова предлагается два ЛСВ глагола *потерять*: 1) ‘Лишиться чего-л. по небрежности,

забывчивости; перестать обладать чем-л.'; 2) 'Перестать видеть, замечать кого-что-л.' [21].

В МАС отражаются пять ЛСВ¹, дифференцированных по характеру объекта и акциональной составляющей события: 1) Лишиться чего-л. по небрежности (забывая, оставляя, роняя и т.п. где-л.); 2) Остаться без кого-, чего-л., перестать обладать кем-, чем-л., лишиться, утратить; 3) Утратить частично или полностью присущие кому-л. качества, свойства, состояние и т.п.; 4) Лишиться каких-л. выгод, преимуществ, терпеть ущерб, убытки; 5) Потратить, израсходовать попусту, нецелесообразно [22]. Отметим, что когнитивно-перцептивная пресуппозиция реализуется только в контекстных вариантах, скрытых внутри ЛСВ-1, выделяемого МАС: 'Сбиться с чего-л., упустить что-л.'; 'Перестать видеть кого-, что-л., знать чье-л. местонахождение'.

Наличие двух пресуппозиций означает, что ситуация потери может интерпретироваться тремя способами. С одной стороны, потеря может интерпретироваться как утрата посессивных отношений, при этом несущественно наличие знания / контакта с объектом, ср., например: *Потерял Лизу – лучшее, что у него было.* (И. Грекова. Фазан). С другой стороны, потеря может выступать как утрата знания о местоположении посессивного объекта, но без разрушения посессивной связи с ним, например: *Но когда на второй день она проспала, потеряла кошелек в собственной квартире, а при входе ко мне у нее сломалась ручка от чемодана с косметикой и прочими причендалами – мне уже было не до смеха. в ЗАГСе на записи видно как я когда расписываюсь поднимаю голову и «озираюсь по сторонам» в поисках всех объективов* (Курьезы на свадьбах (форум) (2004). Кошелек в сознании субъекта потери продолжает мыслиться как объект обладания, утрачивается только знание о его местонахождении или физический контакт с ним. В пределах этого способа может актуализироваться и пресуппозиция обладания (это несущественный признак, потому что посессивное отношение как внутренняя связь не уничтожается тем, что объект потери утрачен навсегда), например: *В общем, за первый учебный год мы купили 2 пиджака, причем оба потеряны безвозвратно (с учетом, что на втором пиджаке я уже крупными буквами внутри написала фамилию)* (Коллективный. Школьная форма. За и против (2007–2010). И кроме того, глагол *потерять* может использоваться и при отсутствии посессивной пресуппозиции, но при наличии когнитивно-перцептивной пресуппозиции, например: *Несколько человек уже выбежали из разных комнат, преследуя обезумевшего лжемилорда, но в сутолоке они потеряли его среди лабиринта коридоров и ходов. Он ускользнул от преследователей в неприметную дверцу подпольного коридора...* (Р. Штильмарк. Наследник из Калькутты; возможна, правда, интерпретация, предполагающая априорное наличие сопричастности догоняющего и убегающего).

Помимо всего прочего, это означает, что следует различать еще и субъекта посессивного отношения и субъекта знания / восприятия. Для определения

¹ Структура словаря такова, что в нем глаголы более сложной морфемной структуры имеют толкование, отсылающее к парному глаголу менее сложной морфемной структуры. Соответственно, для простоты вместо отсылки к глаголу *терять* в толкованиях ЛСВ глагола *потерять* мы заменили глаголы несовершенного вида на соответствующие перфективы.

потенциальной конверсности глагола *потерять* это соотношение может играть важную роль. Приведем пример несовпадения субъектов: *Ø 'натурщица' Потеряла свой запах, вкус... От нее пахло дешевым вином, дышала, вкус его, гнилостно-кислый, сочился из ее губ* (О. Павлов. Асистолия). В пресуппозиции данной ситуации оказывается два субъекта. Один субъект, выраженный синтаксическим нулем, (натурщица) является обладателем, другой, нарратор, – воспринимающим субъектом. Ср.: *У нее пропал *ее (*свой) запах...* хотя возможно *Пропал ее запах...*

Обнаруживается, однако, что и экзистенциальная пресуппозиция пропажи тоже сложным образом сочетается с когнитивно-перцептивной пресуппозицией. Ср., например: *Он больше не объявлялся, пропал – и концы в воду* (И. Грекова. Перелом (1987)). В данном случае глагол *пропасть* обозначает не прекращение существования, а прекращение знания субъекта восприятия об объекте пропажи.

Для глагола *пропасть* в МАС находим четыре ЛСВ: 1) 'Потеряться, затеряться, исчезнуть неизвестно куда (вследствие кражи, небрежности и т. п.)'; 2) 'Перестать появляться где-л., уйти куда-л. на продолжительное время'; 3) 'Исчезнуть, утратиться'; 4) (обычно в сочетании со словами: «даром», «пусту», «зря» и т.п.). 'Пройти бесполезно, безрезультатно' [24]. Обратим внимание на то, что в толковании ЛСВ-1 глагола используется возвратная форма глагола *потерять*.

Чтобы проверить, конверсны ли на самом деле глаголы, обозначающие события потери и пропажи, необходимо провести наблюдение над их употреблением для обозначения ситуаций с разными субъектами и объектами потери, учитывая также различия в пресуппозитивном отношении.

Воспользуемся для этого как непосредственным наблюдением и сопоставлением значений высказываний с предикатом *потерять* и *пропасть*, так и экспериментальным приемом – трансформацией вида

X потерял Y(Ø/-а) → (у X-а) пропал Y

или

у X-а пропал Y → X потерял Y(Ø/-а),

где X – субъект потери, а Y – объект потери.

При этом будем обращать внимание на тождество общего смысла исходной и трансформированной фразы.

Общая картина следующая.

Было обнаружено, что устойчиво конверсны в обоих направлениях предложения, в которых в качестве объекта потери выступают:

1) отношение, состояние, желания и потребности: *И знаете, с тех пор у меня совершенно пропал интерес к химии!* (И. Вольский. Пропать им. Пантюхина: будет ли новый мировой рекорд?). Ср., *Нет, она уже на всю жизнь. Я попросту потерял интерес ко всему* (Ю.О. Домбровский. Хранитель древностей / Приложение); *Здесь показателен пример Португалии, где после революции 25 апреля 1974 г. направленная в колонии армия потеряла всякое*

желание сражаться, солдаты и младшие офицеры думали лишь о том, как быстрее добраться до дома (Егор Гайдар. Гибель империи (2006); Выбросив из шкафов их содержимое, она стала примерять платья и, в разгаре своих занятий, вдруг устала так, что у нее **пропало** желание бегать по траве (А.С. Грин. Джесси и Моргиана (1928);

2) внутренние качества: *От старости он в значительной мере **потерял** голос, но пел на клиросе, так как единственно он мог каждый день это делать* (митрополит Антоний (Блум). О браке, о детях (1995)); *Температура у меня была всего 1,5 дня, не поднималась выше 38,1С. Проблема в том, что у меня совершенно пропал голос!* (Красота, здоровье, отдых: Медицина и здоровье (форум) (2005);

3) предметы: *«**Потерял** свой любимый картуз, – сокрушался он во время одного из осенних дачных променадов, – и теперь плешь продувает, пришлось надеть шапку* (А. Висков. Наследник апостола Иоанна); *До недавнего времени я была уверена, что мой дипломный проект – и его планировочная часть, и объёмный проект пантеона – исчез где-нибудь в архивах Архитектурного института или вовсе **пропали** (ведь прошло почти полвека!)* (И.А. Архипова. Музыка жизни);

4) животные: *Это было, как на сказочном распутье: прямо пойдёшь – голуу сложишь, налево пойдёшь – коня **потеряешь**, направо – тоже какая-то гибель* (Юрий Трифонов. Дом на набережной (1976); *Однажды у нас **пропала** лошадь. Мы с раннего утра ее искали, и, когда солнце поднялось на высоту хорошего бука, мы напали на ее след* (Фазиль Искандер. Сандро из Чегема (Книга 1) (1989).

5) возможности, ср., например: *В среду 20-летний австралиец гарантировал себе ещё столько же, однако и Агасси, несмотря на поражение, ещё не потерял шансы закончить год теннисным королём* (Ромуальд Шидловский. Кто хочет стать первой ракеткой. Лейтон Хьюитт проявляет большее рвение, чем Андре Агасси (2001) // «Известия». 2001.14.11), ср. ...у Агасси... не **пропали** шансы; *Я буду плакать, если у меня пропадет возможность взаимодействовать с людьми, в смысле, что-то отдавать им* (Александр Клейн. Борис Гребенщиков: Рамакришна – один, а нас – миллионы!.. // «Пятое измерение». 2002), ср. ...я **потеряю** возможность взаимодействовать с людьми; – *Пойдем быстрее, а то у меня очередь пропадет* (Эдуард Лимонов. Молодой негодяй (1985), ср. я... **потеряю** очередь.

6) время, ср., например: *«Я **потерял** день», – воскликнул один из древних мудрецов, вспомнив, что он в течение целого дня не оказал никому из своих подданных никакого благодеяния* (архимандрит Георгий (Тертышников). Проповеди // «Альфа и Омега». 2001); *Она поругала Чагатаева – зачем он ее не разбудил раньше и у нее весь день **пропал*** (А.П. Платонов. Джан (1933–1935).

Равновероятно наличие и отсутствие конверсности у предложений, в которых в качестве объекта потери выступают деньги, например: *И дело даже не в том, что страна и «ЮКОС», если верить оценкам экспертов, уже потеряли на бирже 7 млрд долл., а золотовалютные резервы России упали на 1 млрд долл., но главное – назревающая «деприватизация» в стране, последствия которой, по его словам «даже могут привести к гражданской войне»*

(Оксана Карпова. Бизнес в растерянности (2003) // «Время МН». 2003.31.07), ср. *у страны и ЮКОСа пропали на бирже 7 млрд долл.; Как-то один жилец потерял у нас пятьсот долларов, а когда я ему их принёс, он сказал, что у него нет мелких (Коллекция анекдотов: гостиница (1970–2000), ср. ...у одного жильца пропали... пятьсот долларов; Еще тут ее подговорили вложиться в МММ, и все сбережения долгих лет у нас пропали (Анна Матвеева. Голев и Кастро. Приключения гастарбайтера // «Звезда», 2002), ср. ...и все сбережения долгих лет мы потеряли; Они действуют совершенно самостоятельно, а от нового статуса отмахиваются только потому, что не хотят потерять гарантированный денежный паёк (Ирина Мельникова. Школа выживания (2003) // «Итоги». 2003.11.02); ср. *...не хотят, чтобы у них пропал гарантированный денежный паёк.

С высокой вероятностью неконверсны в обоих направлениях предложения, в которых в качестве объекта потери выступает *часть тела человека*, например: Этот удивительный человек, 39 лет прослуживший во флоте и принявший участие в 23 кампаниях, к моменту встречи с армией Вернона потерял в сражениях ногу, руку и глаз. (А. Фатющенко. Четыре лика Картахены); А пока что спрашивал Алешку каждый встречный, где же потерял он зуб, и Холмогоров охотно вступал в разговор: «Вырвали, чтобы новый вставить» (Олег Павлов. Карагандинские девятины, или Повесть последних дней // «Октябрь». 2001). В данной ситуации происходит разрыв посессивного отношения, человек лишился функциональных частей тела. Ср. высказывание с глаголом *пропасть*, например: Моя правая нога пропала – отморожены почти все пальцы... (В. Песков. Белые сны). В этом примере значение пропажи не тождественно значению потери: нога у человека есть, но она потеряла свои функции¹.

Это ограничение на конверсные отношения связано с тем, что части тела не просто принадлежат человеку, а являются его неотъемлемыми составляющими, ср. используемое в семантике посессивных отношений понятие неотчуждаемой принадлежности, имеющее несколько иной объем. Поэтому, как правило, когнитивно-перцептивная пресуппозиция у глагола *потерять* не может быть актуализирована.

Если же речь идет об отдельных компонентах тела, то в некоторых случаях замена возможна. Так, интересна ситуация с физиологическими жидкостями. В ситуации с объектом – кровью конверсности не наблюдается, например: Когда я болел, я потерял много крови ≠ *у меня пропало много крови (Г. Хабаров. Иконописец авангарда (2003) // «Совершенно секретно». 2003.07.10). Однако конверсны выражения у *X пропало молоко* и *X потеряла молоко*, ср., например: Кормилицы вынуждены уступить, боясь во время забастовки *потерять* молоко (неизвестный. Из нового Брюсова календаря на 1906 год (1905.13.12) // «Новое время». 1905); Папа испугался за неё и за маленького – от переживаний у мамы могло *пропасть* молоко и тогда ребёнка нечем было бы кормить (И.А. Архипова. Музыка жизни (1996). В данном

¹ Интересно, что если речь идет о качествах, то утрата функциональности, порча способна выражаться не только глаголом *пропасть*, для которого это одно из системных значений (в МАС это значение не отражено), но и глаголом *потерять*.

случае кровь выступает жизненно необходимой жидкостью, в то время как молоко появляется у женщины только в процессе вынашивания и вскармливания ребенка и его наличие определяется множеством факторов. Кроме того, наличие молока у роженицы можно считать чем-то вроде потенциала грудного вскармливания, что сближает его с качествами.

Презумпция неотделимости части тела может привести к комическим ситуациям. Ср. эпизод из произведения И. Грековой:

Дело было так: Таня играла на балконе со своим двухлетним братом Сашей, оставленным взрослыми на ее попечение. Мальчик забавлялся ногой, оторванной от деревянного паяца-дергунчика. В ноге еще сохранилась тугая резинка; Саша вытягивал ее, отпускал и с удовольствием слушал звонкий щелчок. Но вдруг как-то ненароком он выронил ногу, и она упала вниз на другой балкон.

Саша залился отчаянным ревом. «Ногу! Ногу!» – кричал он и никак не хотел успокоиться. Таня была в квартире одна с братом и должна была принять решение. Она знала, что там, внизу, живут Солнцева (недаром папа, запрещая им с Сашей прыгать и стучать, всегда говорил: «Не стучите по потолку Солнцевых!»). Таня – человек долга, а долг повелевал зайти к Солнцевым и попросить, чтобы они вернули ногу... Отворила ей сама хозяйка квартиры, солидная дама с усами.

– Простите, пожалуйста, что я вас беспокою, – очень вежливо сказала Таня, – но дело в том, что мой брат потерял ногу и очень плачет.

Солнцеву чуть удар не хватил при таком известии...

(И. Грекова. Знакомые люди).

Если объектом потери выступает человек, то вступают в силу некоторые дополнительные факторы, связанные с неоднозначностью и многообразием человеческих отношений:

1) если актуализируется когнитивно-перцептивная пресуппозиция, то, как правило, допустима конверсность. Ср. ФЕ *потерять из виду*, например: *Упиваясь потоками собственного красноречия, мы на мгновение потеряли его из виду, но вскоре из небольшого заплывшего натёками окна донёсся голос.* Ср.: *...он пропал из виду* (И. Вольский. Пропасть им. Пантюхина: будет ли новый мировой рекорд?). Важно отметить, что кажется неприемлемым заполнение позиции у N₂: *Он ? у них пропал из виду...* Однако компонент *из виду* не обязателен, см., например: *Аня всюду следовала за мной, словно боялась потерять* Ø ‘меня’ (Анна Маева. Дар на всю жизнь (1999) // «Здоровье». 1999.15.03). Ср.: *Тут очнулась и задремавшая было Мария; она таращит глаза и начинает кричать: «Олю украли, ребенок пропал!»* (О. Чехова. Мои часы идут иначе);

2) если потеря обозначает **разрыв социальных отношений**, т.е. актуализируется посессивная пресуппозиция, то конверсность невозможна: *Потерял Лизу – лучшее, что у него было* (И. Грекова. Фазан);

3) если потеря обозначает **смерть** человека – объекта посессивного отношения, то конверсия также невозможна, хотя актуализируется пресуппозиция существования, см., например: *Известно, что потеряв жену в 1923 или 1924 году (Рая родилась в 1921-м), Фёдор тотчас женился* (Э. Лимонов.

У нас была Великая Эпоха); Ребенка Янка **потеряла**, *начались осложнения, и ее пришлось оставить в больнице.* (М. Шишкин. Письмовник) – значение – смерть.

В данном и некоторых других случаях существенным ограничением выступает разный характер неконтролируемости потери и пропажи. Потеря части тела или близкого человека путем физической смерти или разрыва сопричастности может быть неконтролируемой, но наблюдаемой и осознаваемой, в то время как пропажа предполагает разрыв когнитивно-перцептивного отношения, обычно неожиданный, при отсутствии разрыва сопричастности.

В семантике пропажи также имеются семантические нюансы, препятствующие конверсии.

Так, отсутствие тесного отношения сопричастности делает невозможной конверсию, хотя разрушения посессивного отношения не наблюдается, например: *Старушка одна позвонила: говорит, сосед у нее пропал.* Ср. *...она *потеряла соседа* (Алексей Грачев. Ярый-3. Ордер на смерть (2000). Соседские отношения не являются сильной сопричастностью, поэтому конверсия с сохранением исходной семантики невозможна.

Таким образом, при определенном сочетании пресуппозиций и с учетом лексического заполнения позиции объекта потери *пропасть* может вступать в отношение конверсности с *потерять*. Это значит, что требуется описание необходимого сочетания пресуппозиций и лексического заполнения позиции объекта, позволяющих глаголам реализовать конверсность. Наши наблюдения показывают, что наличие конверсивных отношений между глаголами *потерять* и *пропасть* определяется наличием двух пресуппозиций, каждая из которых факультативна:

- 1) X сопричастен Y (обладает Y как частью тела, владеет, находится в отношениях родства или иных личных отношениях и т.п.);
- 2) до потери X видел Y-а и / или знал, где находится Y.

Литература

1. Золотова Г.А., Ониненко Н.К, Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 2004. 544 с.
2. Ким И.Е. Следствие, цель и коммуникативное намерение в семантике социального действия: фрагмент языковой картины мира // Филология и человек. Барнаул. 2011. № 2. С. 59–71.
3. Холодович А.А. Проблемы грамматической категории. Л.: Наука, 1979. 304 с.
4. Linde Ch. Focus of attention and the choice of pronouns in discourse // Syntax and semantics. New York; San Francisco; London: Acad. press, 1979. Vol. 12. P. 337–354.
5. Кибрик А.А. Местоимения как дейктическое средство // Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992. С. 207–236.
6. Ким И.Е. Контролируемость действия: сущность и структура // Лингвистический ежегодник Сибири / Краснояр. гос. ун-т. Красноярск, 1999. С. 19–31.
7. Ким И.Е. Личная сфера человека: структура и языковое воплощение. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2009. 325 с.
8. Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. 1986. Вып. 28. С. 5–33.
9. Молошина Т.Н. План выражения категории посессивности // Категория посессивности в славянских и балканских языках. М., 1989. С. 112–215.
10. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб.: Азбука-классика, 2002. 320 с.

11. Новиков Л.А. Антонимия в русском языке: (Семантический анализ противоположности в лексике). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. 291 с.
12. Диброва Е.И., Касаткин Л.Л., Николина Н.А., Щеболева И.И. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: учеб. для студентов высш. учеб. заведений: в 2 ч. Ч. 1: Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование / под ред. Е.И. Дибровой. М.: Изд. центр «Академия», 2006. 480 с.
13. Степанова Ф.В. Антонимия как семантическая противоположность слова // Евсеева И.В., Лузгина Т.А., Славикина И.А., Степанова Ф.В. Современный русский язык: курс лекций. Красноярск, 2007. С. 97–102.
14. Ломтев Т.П. Структура предложения в современном русском языке. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. 198 с.
15. Добричев С.А. Конверсные отношения в современном английском языке: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2005. 40 с.
16. Иванова И.Е. Репрезентация конверсивной лексики в современном русском языке и проблемы её лексикографирования: дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2016. 183 с.
17. Минчук И.И. Симметрия и асимметрия в семантико-синтаксическом поле конверсности русского языка: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск, 2013. 24 с.
18. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-Пресс, 1994. 608 с.
19. Николаева Т.М. Поссесивность и другие содержательные категории в высказывании // Категория поссесивности в славянских и балканских языках. М., 1989. С. 216–246.
20. Феоктистова Л.А. Номинативное воплощение абстрактной идеи: (На материале русской лексики со значением 'пропасть, исчезнуть'): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003. 22 с.
21. Львов М.Р. Толковый словарь антонимов русского языка. М.: АСТ-Пресс Книга, 2012. 512 с.
22. Словарь русского языка: в 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. яз.; под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. М.: Рус. яз., 1981–1984.

LOSS AND DISAPPEARANCE IN THE RUSSIAN SYNTACTIC SEMANTICS: CONVERSENESS AND ASYMMETRY

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 49. 24–37. DOI: 10.17223/19986645/49/2

Igor E. Kim, Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: kimkim27601@yandex.ru

Tatiana A. Sharoglazova, Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russian Federation). E-mail: t.sharoglazova@mail.ru

Keywords: semantics of action, semantics of loss / disappearance, presuppositions, possessivity, ownership, existence.

This article deals with the semantics of the verb *poteryat* 'to lose' and its potential converse verb *propast* 'to disappear'. In the authors' opinion, the verbs *propast* and *poteryat* are not converse in all their meanings because a more thorough study of the semantics of the two words shows that loss and disappearance in Russian have not only different diathesis but also different presupposition: *poterya* 'loss' means interrupting the relations of possession, and *propazha* 'disappearance' means nonexistence in the perceived world. However, there is an intersection area of the semantics of loss and disappearance. The converseness of the two verbs is determined by the possibility of using converse transformation $X_{\text{NOM}} \textit{poteryat} Y_{\text{ACC}}$ [X has lost Y] $\leftrightarrow$ ($u X_{\text{GEN}}$) *propal* Y_{NOM} [Y has disappeared from X], which allows to include information about the lexical converse term *propast* in the dictionary entry of the verb *poteryat* taking into account the presuppositional part of the meaning.

The verb *poteryat* has two presuppositions of possessive relations and a prior perceptual contact of a subject with the lost object or prior knowledge about the location of the object (perceptual-cognitive presupposition). The latter presupposition can be combined with the possessive presupposition or replace it. The verb *propast* has the same presupposition. In general, if the cognitive-perceptual presupposition is actualized, that is, if loss and disappearance interrupt the perceptual and cognitive contact, the verbs are converse. If loss destroys possessive attitude only, and disappearance

interrupts existence, in the general case the verbs are not conversive. For example, the loss of a body part, which is the inalienable accessory of a person, is not equivalent to its disappearance, because interruption of possession relation is not accompanied with interruption of knowledge of the separated body part location, which is not compatible with the semantics of disappearance, suggesting the interrupting knowledge about the location of the body part.

There are also restrictions on mutual converseness of the verbs related to their polysemy. For example, the meaning of functional unsuitability of a thing of the verb *propást'* does not allow it to engage in a converse relation with the verb *poteryat'*.

References

1. Zolotova, G.A., Onipenko, N.K. & Sidorova, M.Yu. (2004) *Kommunikativnaya grammatika russkogo yazyka* [Communicative grammar of the Russian language]. Moscow: Institute of the Russian Language, RAS.
2. Kim, I.E. (2011). Consequence, Goal and Communicative Intention in the Semantics of Social Action: Fragment of Language Picture of the World. *Filologiya i chelovek*. 2. pp. 59–71. (In Russian).
3. Kholodovich, A.A. (1979) *Problemy grammaticheskoy kategorii* [Problems of the grammatical category]. Leningrad: Nauka.
4. Linde, Ch. (1979) Focus of attention and the choice of pronouns in discourse. In: Givon, T. (ed.) *Syntax and semantics*. Vol. 12. New York, San Francisco, London: Acad. press.
5. Kibrik, A.A. (1992) Mestoimeniya kak deyticheskoe sredstvo [Pronouns as a deictic means]. In: Arutyunova, N.D. et al. *Chelovecheskiy faktor v yazyke: Kommunikatsiya, modal'nost', deysis* [Human factor in the language: Communication, modality, deixis]. Moscow: Nauka.
6. Kim, I.E. (1999) Kontroliruemost' deystviya: sushchnost' i struktura [Controllability of action: essence and structure]. In: Grigor'eva, T.M. (ed.) *Lingvisticheskiy ezhegodnik Sibiri* [Linguistic Yearbook of Siberia]. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State University. pp. 19–31.
7. Kim, I.E. (2009) *Lichnaya sfera cheloveka: struktura i yazykovoe voploshchenie* [Personal sphere of the person: structure and language representation]. Krasnoyarsk: Siberian Federal University.
8. Apresyan, Yu.D. (1986) Deyksis v leksike i grammatike i naivnaya model' mira [Deixis in vocabulary and grammar and a naive world model]. *Semiotika i informatika – Semiotics and Informatics*. 28. pp. 5–33.
9. Moloshnaya, T.N. (1989) Plan vyrazheniya kategorii posessivnosti [Expression of the category of possessiveness]. In: Ivanov, V.V. (ed.) *Kategoriya posessivnosti v slavyanskikh i balkanskikh yazykakh* [The category of possessiveness in the Slavic and Balkan languages]. Moscow: Nauka.
10. Raushenbakh, B.V. (2002) *Geometriya kartiny i zritel'noe vospriyatie* [Geometry of the picture and visual perception]. St. Petersburg: Azbuka-klassika.
11. Novikov, L.A. (1973) *Antonimiya v russkom yazyke (Semanticheskii analiz protivopozlozhnosti v leksike)* [Antonymy in the Russian language (Semantic analysis of the opposite in the vocabulary)]. Moscow: Moscow State University.
12. Dibrova, E.I., Kasatkin, L.L., Nikolina, N.A. & Shcheboleva, I.I. (2006) *Sovremennyy russkiy yazyk. Teoriya. Analiz yazykovykh edinits* [The modern Russian language. Theory. Analysis of language units]. Pt. 1. Moscow: Izdatel'skiy tsentr "Akademiya".
13. Stepanova, F.V. (2007) Antonimiya kak semanticheskaya protivopozlozhnost' slova [Antonymy as the semantic opposite of the word]. In: Evseeva, I.V. et al. *Sovremennyy russkiy yazyk: Kurs lektsiy* [Modern Russian language: A course of lectures]. Krasnoyarsk: Siberian Federal University.
14. Lomtev, T.P. (1979) *Struktura predlozheniya v sovremennom russkom yazyke* [The sentence structure in the modern Russian language]. Moscow: Moscow State University.
15. Dobrichiev, S.A. (2005) *Konversnye otnosheniya v sovremennom angliyskom yazyke* [Conversive relations in modern English]. Abstract of Philology Dr. Diss. Moscow.
16. Ivanova, I.E. (2016) *Reprezentatsiya konversivnoy leksiki v sovremennom russkom yazyke i problemy ee leksikografirovaniya* [Representation of the conversive vocabulary in modern Russian and the problems of its lexicography]. Philology Cand. Diss. Volgograd.
17. Minchuk, I.I. (2013) *Simmetriya i asimmetriya v semantiko-sintaksicheskoy pole konversnosti russkogo yazyka* [Symmetry and asymmetry in the semantic-syntactic field of the conversiveness of the Russian language]. Abstract of Philology Cand. Diss. Minsk.
18. Levy-Bruhl, L. (1994) *Sverkh'estestvennoe v pervobytnom myshlenii* [Primitives and the Supernatural]. Translated from French. Moscow: Pedagogika-Press.
19. Nikolaeva, T.M. (1989) Posessivnost' i drugie sodержatel'nye kategorii v vyskazyvanii

[Possessiveness and other content categories in the utterance]. In: Ivanov, V.V. (ed.) *Kategoriya posessivnosti v slavyanskikh i balkanskikh yazykakh* [The category of possessiveness in the Slavic and Balkan languages]. Moscow: Nauka.

20. Feoktistova, L.A. (2003) *Nominativnoe voploshchenie abstraktnoy idei (Na materiale russkoy leksiki so znacheniem "propast', ischeznut")* [Nominative representation of an abstract idea (On the material of Russian vocabulary with the meaning "to get lost, disappear")]. Abstract of Philology Cand. Diss. Ekaterinburg.

21. L'vov, M.R. (2012) *Tolkovyy slovar' antonimov russkogo yazyka* [The explanatory dictionary of the antonyms of the Russian language]. Moscow: AST-Press Kniga.

22. Evgen'eva, A.P. (ed.) (1981–1984) *Slovar' russkogo yazyka. V 4-kh t.* [Dictionary of the Russian language. In 4 volumes]. 2nd ed. Moscow: Rus. yaz.

УДК 81-114.4

DOI: 10.17223/19986645/49/3

Л.Г. Ким

«ДЛИНА ТЕКСТА» КАК ФАКТОР МНОЖЕСТВЕННОЙ ВАРИАТИВНОСТИ ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ¹

В статье рассматривается фактор «длины текста», детерминирующий множественность и вариативность интерпретации текста адресатом-реципиентом. На материале результатов лингвистического интерпретационного эксперимента доказывается, что в процессе постепенного увеличения «длины текста» происходит нейтрализация одних смысловых версий и актуализация других. Автор приходит к выводу, что понятия эксплицитности / имплицитности, смысловой избыточности / неполноты текста носят коммуникативно-прагматический характер.

Ключевые слова: интерпретация текста, смысловая версия, имплицитность / эксплицитность, неполнота / избыточность текста, адресат-интерпретатор.

1. Постановка проблемы

Принцип языковой экономии, выражающийся в производстве и восприятии языковых элементов с наименьшей затратой усилий, может рассматриваться в качестве одной из основных закономерностей развития и функционирования языка. Исследование вопроса лингвистической экономии на разных уровнях языковой системы получило освещение в работах А. Мартине [1], З. Хэрриса [2], В.А. Богородицкого [3], Р.А. Будагова [4], Б.П. Дюндика [5], А.М. Пешковского [6] и других зарубежных и отечественных лингвистов. Для достижения максимального коммуникативного эффекта система употреблений стремится использовать минимальное количество средств. А. Мартине применил это функциональное свойство языка для объяснения эволюций фонологических систем [1]. Принцип экономии речевых усилий впоследствии был распространен на все уровни языка, в том числе он использовался при описании коммуникативных процессов (ср. принцип оптимальности [7], принцип кооперации П. Грайса [8]). А.М. Пешковский при рассмотрении диалогической речи оценивает ее в аспекте реализации принципа лингвистической экономии: «Опущение того, что дано в мысли обстановкой речи или общностью предыдущего опыта говорящих, составляет норму для языка и объясняется законом всей нашей деятельности, а не только речевой: законом экономии сил» [6. С. 117].

Необходимость «разворачивать» текст и, увеличивая его «длину», детализировать элементы его структуры и содержания обусловлена степенью предполагаемого незнания участниками общения содержания предмета общения. Чем более осведомленными являются участники коммуникации,

¹ Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ (проект № 15-04-00311).

тем меньше необходимость в полном развертывании и вербализации смысловых компонентов текста. Выбор степени «разворачивания» в речи единиц языка определяется системой их употребления и, следовательно, носит, в сущности, прагматический характер.

Р.А. Будагов в статье «Определяет ли принцип экономии развитие и функционирование языка?» достаточно критически оценивает ведущую роль принципа экономии в языке. Ученый отмечает, что, «сокращаясь в одних своих сферах, язык обычно «расширяется» в других своих сферах» [4. С. 17], тем самым подчеркивая необходимость системного подхода к языку в целом.

Продолжая дискуссию о роли принципа экономии речевых усилий в процессе функционирования языка, мы предлагаем рассматривать эту проблему в аспекте коммуникативной деятельности адресанта и адресата, производства и восприятия текста и считаем необходимым подчеркнуть, что минимализация средств выражения на этапе порождения речи говорящим приводит в конечном счете к возрастанию смысловой вариативности текста на этапе его восприятия слушающим. Сформулированные П. Грайсом постулаты, направленные на реализацию кооперативного принципа коммуникации, в сущности, содержат противоречия. *Постулат Количества*, выражающийся формулой *Твое высказывание не должно содержать больше информации, чем требуется*, и связанный с ним *постулат Способа* (*Будь краток, избегай ненужного многословия*) [8], по существу, находятся в отношениях антиномического взаимодействия. На коммуникативно-прагматическом уровне это обусловлено в определенной мере противоречием между иллокуцией и перлокуцией, качеством точности речи и ее ясностью. Говорящий стремится к точному, а следовательно, более развернутому способу выражения мысли, в то время как такая форма выражения часто не обладает свойством ясности для слушающего и, соответственно, не достигает нужного перлокутивного эффекта.

Достаточно убедительно это положение доказано Н.Д. Голевым при обсуждении проблемы правовой коммуникации. «В частности, такие признаки, как правильность, точность и ясность, в определенном смысле могут рассматриваться как антиномические свойства, поскольку данные требования предъявляются разным субъектам правовой коммуникации – автору и отправителю текста (законодателю) и получателю (законопослушным гражданам или работникам правоисполнительных органов). Обеспечивая точность, особенно юридическую, законодатель не имеет особых оснований полагать, что смысл текста будет «ясен», то есть доступен сознанию обычного читателя. Иными словами, правильность и точность есть свойства опредмеченной в тексте иллокуции, а ясность (доступность) – свойство перлокуции» [9. С. 133].

Стремление к реализации постулатов кооперативного общения на этапе порождения текста как фактора коммуникативного процесса априори предполагает включение в его структуру имплицитных компонентов, необходимость которых подтверждается общим коммуникативным принципом экономии речевых ресурсов. Говорящий не вербализует информацию в полном объеме, а концентрирует языковые ресурсы в сфере релевантной информации. Другим, связанным с названным источником имплицитной информации является специфика рецептивного процесса, заключающаяся в извлечении

информации (семантизации текстовой формы) как процедуре *достраивания смысла*, которая осуществляется в соответствии с механизмом ожидания. Реципиент-интерпретатор, извлекая информацию, встраивает ее согласно своим коммуникативным ожиданиям в свою картину мира, достраивая при этом недостающие смысловые звенья.

Существенным источником имплицитной информации является также специфика семантической структуры слова как единицы языка и выполняемых им функций. Мы исходим из того, что в семантической структуре слова содержатся денотативные, коннотативные и ассоциативные компоненты. Два последних компонента при этом имеют высокий полиинтерпретационный потенциал, что обеспечивает имплицитность передаваемой информации. Как известно, одной из функций слова является смыслопорождающая, что также имеет следствием образование имплицитных компонентов. Благодаря наличию таких особенностей лексических единиц слово при его функционировании в тексте содержит больше информации, чем при его представленности в языковой системе.

Иными словами, имплицитность текста есть фактор, определяющий его смысловую вариативность на этапе рецептивно-интерпретационной деятельности адресата. Таким образом, можно признать, что принцип экономии речевых усилий, который лежит в основе организации системы языка и определяет ее функционирование, в конечном счете обуславливает вариативность интерпретации текста и множественность его смысловых версий, которые реализуются в процессе восприятия текста адресатом.

Этот тезис априори предполагает вывод, что чем более развернутым является текст, чем выше степень его эксплицитности, тем меньше вариантов реализации его смыслов в процессе рецептивно-интерпретационной деятельности адресата. Иными словами, «длина текста» обратно пропорциональна количеству реализуемых этим текстом смысловых версий. Под термином «длина текста» мы понимаем всю совокупность лексико-грамматических единиц текста, используемых для адекватного выражения передаваемой информации. В этом смысле идеальной «длиной текста» является такая, при которой форма и содержание текста находятся в отношениях симметрии.

Задача настоящей статьи – опровергнуть сформулированный тезис и обосновать положение, согласно которому в процессе увеличения «длины текста» происходит нейтрализация одних смысловых версий и актуализация других. В итоге увеличение степени эксплицитности текста не снимает проблемы вариативной множественности его смысловых версий, которые реализуются на этапе его восприятия адресатом.

В качестве иллюстрации этого тезиса можно привести примеры из юридической практики, о которых писал Н.Д. Голев. С целью снятия множественности толкований той или иной статьи закона в юриспруденции разрабатываются многочисленные комментарии, однако наличие развернутых комментариев также не решает проблемы неоднозначности восприятия и интерпретации законов в правоприменительной практике [9].

Предлагаемое в настоящей статье исследование выполнено в русле интерпретирующей лингвистики, предметом которой является, с одной стороны, истолковывающий текст интерпретатор, а с другой – интерпретационный

потенциал языковых единиц [10, 11, 12]. В.З. Демьянков рассматривает интерпретацию как когнитивную деятельность, которая направлена на определение значения высказывания или текста. Автор дифференцирует языковое (буквальное) и речевое (коммуникативное) значение, под которым понимается значение, «вычисляемое» интерпретатором в результате интерпретационной деятельности [12]. Кроме того, данное исследование выполнено в русле теории вариативно-интерпретационного функционирования текста [13] и основано на положении о том, что вариативность восприятия смыслового содержания интерпретируемого текста детерминирована, с одной стороны, системно-языковым фактором, а с другой – фактором языковой деятельности языковой личности.

Как было доказано в работах, посвященных описанию деятельности субъекта на этапе восприятия текста, адресат-интерпретатор реализует интерпретирующие речевые акты [14], применяя различные интерпретационные стратегии [10, 11, 15], в том числе холистическую и / или элементаристскую. Использование *холистической стратегии* предполагает такое направление интерпретационной деятельности, при которой рецептивно-когнитивный процесс осуществляется от целого к составным элементам текста. Фоновые знания реципиента, представление о жанровых особенностях речевого произведения позволяют адресату определить смысл текста в целом. При холистическом подходе признается принцип конвенциональной, условной связи формы и содержания языковых единиц текста. Адресат-интерпретатор воспринимает содержание текста в некотором отвлечении от семантики составляющих его лексических единиц или при допущении ее условного характера.

Использование *элементаристской стратегии* отражает такое направление интерпретационной деятельности, при котором смысл текста «выводится» из совокупности значений составляющих текст единиц. При элементаристском подходе значение слова понимается как обусловленное языковой системой в целом; оно носит отражательный характер, роль конвенций ослабляется. Адресат-интерпретатор выделяет в тексте отдельные лексические единицы (элементы) и, актуализируя их, выводит смысл текста в целом [16].

Исходя из сказанного, мы полагаем, что если адресат применяет холистическую стратегию интерпретации, то увеличение «длины текста» напрямую не влияет на семантизирующий результат. А вот в случае если адресат принадлежит к типу языковой личности, склонной к применению элементаристской стратегии, то наращивание «длины текста» за счет включения в его состав «новых» языковых единиц (прежде всего лексических) непосредственным образом отразится на результате интерпретационной деятельности, детерминируя множественную вариативность смысловых версий интерпретируемого текста. Такой результат интерпретационной деятельности адресата обусловлен тем, что каждый вновь вводимый элемент текста реализует смысловой потенциал также по модели множественности и вариативности. Следовательно, наращивая «длину текста» с целью уменьшения имплицитности как фактора, детерминирующего реализацию его смысловой множественности, и адекватной выводимости читателем авторского смысла, говорящий не только не решает эту задачу, но, напротив, создает условия, способствующие развитию интерпретационного процесса по модели множественности и ва-

риативности, если адресат-интерпретатор применяет элементаристскую стратегию. Сформулированный тезис получает подтверждение представленными ниже результатами лингвистического эксперимента.

2. Экспериментальное исследование детерминированности смысловых версий фактором «длины текста»

В качестве материала для эксперимента мы использовали смоделированный нами рекламный текст. Семантическая организация текста содержит два вида информации – эксплицитную, т.е. вербализованную, и имплицитную. Из этого следует, что интерпретация текста предполагает когнитивное действие по выводимости и экспликативности имплицитных смыслов, а это, в свою очередь, детерминирует вариативность смыслового результата. При этом «интерпретационная заданность» текста, с одной стороны, и наличие в его организационно-смысловой структуре скрытых (имплицитных) единиц, а следовательно, «интерпретационная свобода», предполагающая выбор, с другой стороны, обеспечивают некую разновекторность этого процесса. С одной стороны, происходит реализация «внушаемого» автором, так сказать «заданного», «интенционального» смысла, а с другой – «ожидаемого» интерпретатором, вычисляемого им смысла. Полагаем, что результат интерпретации текста, во-первых, зависит от «веера» имплицитной информации, которая сопровождается необходимым «шлейфом» эксплицитную информацию, а во-вторых, от используемой стратегии интерпретации.

Эксперимент проходил в четыре этапа, на каждом из которых происходило увеличение «длины текста», т.е. снижение степени имплицитной информации и, напротив, повышение степени эксплицитно выраженных смысловых компонентов. Цель эксперимента заключалась в верификации гипотезы, согласно которой необходимая и достаточная для адекватного восприятия оптимальная «длина текста» определяется лишь конвенционально, т.е. в соответствии с правилами (конвенциями) коммуникации, принятыми в данном сообществе. Следовательно, каждый текст априори является как недостаточным, так и избыточным в различных коммуникативных ситуациях. Причем такие свойства текста, как недостаточность и избыточность, детерминируют его интерпретационную вариативность. Степень вариативности интерпретационного результата обусловлена степенью «длины текста» при условии применения адресатом элементаристской стратегии.

Участниками эксперимента являются студенты 3–4-х курсов факультета филологии и журналистики Кемеровского государственного университета – всего 120 человек. На каждом этапе эксперимента участвовало по 30 человек. При этом каждый из испытуемых принимал участие лишь на одном этапе эксперимента.

В качестве материала для эксперимента использовался базовый текст *Надежная техника из Германии*. Этот текст нами был подвергнут необходимой модификации в соответствии с задачами каждого этапа эксперимента: 1) *Техника из Германии*; 2) *Надежная техника из Германии*; 3) *Надежная техника из Германии от лучших компаний-производителей Bosh, Liebherr*; 4) *Надежная техника из Германии, которая облегчит ваш быт*,

от лучших компаний-производителей *Bosh, Liebherr*. Участникам эксперимента необходимо было определить смысл текста, ответив на вопрос: «Как Вы понимаете смысл данного текста?».

Результаты эксперимента представлены в таблице, содержащей перечень смысловых версий как результат его интерпретации.

Смысловые версии интерпретируемого текста, %

№ п/п	I этап	II этап	III этап	IV этап
	Техника из Германии	Надежная техника из Германии	Надежная техника из Германии от лучших компаний производителей: Bosch, Liebherr	Надежная техника из Германии, которая облегчит ваш быт. От лучших компаний производителей: Bosch, Liebherr
1	2	3	4	5
1	Текст неинформативен 7	Текст неинформативен 13	Текст неинформативен 7	Текст неинформативен 7
2	Реклама различной техники из Германии 7	Реклама надежной техники из Германии 33	Реклама 10	Реклама 10
3	Реклама техники из Германии 13	Реклама техники из Германии 17	Реклама техники из Германии 7	Реклама полезного товара 3
4	Реклама бытовой техники 14	Реклама бытовой техники 17	Реклама техники Bosh и Liebherr 3	Реклама бытовой техники 3
5	Реклама техники высокого качества 23	Реклама надежной бытовой техники из Германии 7	Реклама бытовой техники из Германии от производителей Bosh и Liebherr 23	Реклама полезной техники Bosh и Liebherr 3
6	Реклама бытовой техники высокого качества 14	Реклама качественной техники 6	Реклама немецкой бытовой техники 3	Реклама бытовой техники из Германии 3
7	Реклама утюгов, чайников 3	Рекламируется ненадежная техника 7	Реклама техники лучших производителей Германии 3	Реклама бытовой техники из Германии известных производителей 3
8	Реклама машин, автомобилей, тракторов, оборудования 10		Реклама надежной техники 10	Реклама полезной бытовой техники немецкого производства 3

Окончание таблицы

1	2	3	4	5
9	Реклама медицинского обслуживания 3		Реклама надежной техники из Германии 7	Реклама бытовой техники хорошего качества 3
10	Реклама технологии производства автомобилей 3		Реклама надежной техники из Германии от лучших компаний-производителей 14	Реклама хорошей бытовой техники из Германии 3
11	Реклама образовательных услуг 3		Реклама компаний-производителей 3	Реклама хорошей бытовой техники от компаний, имеющих отличную репутацию 10
12			Содержание текста не соответствует истине 10	Реклама качественной немецкой техники 3
13				Реклама надежной техники 3
14				Реклама надежной техники из Германии 7
15				Реклама надежной бытовой техники 3
16				Реклама надежной бытовой техники из Германии 3
17				Реклама надежной бытовой техники из Германии от производителей Bosh и Liebherr 14
18				Реклама надежной бытовой техники от лучших компаний-производителей 10
19				Реклама надежной бытовой техники от лучших компаний-производителей Германии 3
20				Содержание текста не соответствует истине 3

На первом этапе участникам эксперимента мы предложили этот текст в редуцированном варианте: **Техника из Германии**. При постановке эксперимента мы исходили из мысли о том, что «длина» предлагаемого текста не соответствует принципу оптимальности. В тексте не соблюдены сформулированные Г.П. Грайсом постулаты, отражающие категорию количества, тем самым нарушается принцип кооперации [8].

В результате эксперимента было получено 30 ответов, которые мы систематизировали в 11 смысловых версий. Под **смысловой версией** мы понимаем моделируемую речевую единицу, которая, подобно лексико-семантическому варианту слова, извлекается из интерпретируемого текста в результате речевой интерпретационной деятельности реципиента, опирающейся на интерпретационные фреймы языкового сознания; смысловая версия воплощается в форме интерпретирующего текста. В своих анкетах участники эксперимента отмечают, что, *во-первых, объявление составлено некорректно, не хватает многих данных (например, номера телефона и пр.); во-вторых, не указан вид техники (бытовая...); в-третьих, даже бытовая техника может быть разной (с рук или из магазина, с гарантией, опт или розница)*. Недостаточность эксплицитной и, напротив, избыточность имплицитной информации обуславливают то обстоятельство, что текст в процессе функционирования актуализирует имплицитные смыслы, или латентные смысловые компоненты, вследствие чего реализуется множественная вариативность смысловых версий (см. табл. выше).

В ответах одной группы испытуемых отмечается, что в объявлении рекламируется *какая-то техника из Германии (7%)*. Ответы другой группы содержат более конкретную информацию: *реклама утюгов, чайников (3%); Это то, что в Германии производят, а именно машины, трактора и т.д. (10%)*. Третья группа испытуемых актуализирует высокое качество рекламируемой техники: *Техника, которую отличают многолетнее качество и надежность; Очень хорошая техника (23%)*.

Высокая степень имплицитности текста, шлейф его имплицитной информации детерминирует широкий веер смысловых версий как реализацию смыслового потенциала интерпретируемого текста. Участники эксперимента «вывели» из текста информацию о различных видах рекламируемой продукции, товаров, услугах: от различной техники до утюгов и чайников, от технологии производства автомобилей до образовательных услуг: *Продается какая-то бытовая техника немецкого производства высокого качества; Смысл текста я поняла так – техника из Германии – это то, что в Германии производят, а именно машины, трактора и т.д., и потом привозят к нам, в нашу страну*.

На втором этапе эксперимента мы увеличили «длину текста», «раздвинув» его внешние границы за счет введения слова *надежный* и предложив испытуемым текст **Надежная техника из Германии**. Согласно нашей гипотезе увеличение «длины текста» детерминирует уменьшение степени его имплицитности, а следовательно, уменьшение объема «выводимой» адресатом информации и количества имплицитур, поскольку чем больше вербализованных компонентов содержится в тексте, тем меньше имплицитных смыслов имеет данный текст. Но, с другой стороны, каждый из эксплицитных компо-

нентов является объектом интерпретации, который, в свою очередь, определяет реализацию своего полиинтерпретационного потенциала.

Как показали полученные в результате эксперимента данные, увеличение «длины текста», с одной стороны, уменьшает количество смысловых версий (см. табл. выше). Однако, как отметили участники одной из групп испытуемых, текст в модифицированном (расширенном) варианте не только сохраняет свою информативную неопределенность, но даже увеличивает ее (13%) по сравнению с текстом, предложенным на первом этапе эксперимента (7%). Наши реципиенты отмечают: *Неясен в целом смысл текста, т.к. не обозначено имя фирмы-производителя, а также специализация техники*. Однако большая часть испытуемых (33%) актуализировали вербализованный смысловой компонент *надежный* и предложили ответы: *Нашему вниманию предоставляется техника из Германии, причем хорошая («надежная»), не ломается; Из текста видно, что техника, сделанная в Германии, отличается качеством, надежностью*. Другие испытуемые вывели имплицитные смыслы, утверждая, что *это реклама бытовой техники германского производства; Это реклама фирмы, торгующей бытовой техникой из Германии* (17%). Третья группа испытуемых (7%) полагает, что здесь рекламируется ненадежная техника: *Подобный текст больше кажется прикрытием для некачественной и отнюдь не немецкого производства техники*.

Часть смысловых версий этого текста тождественна смысловым версиям текста, предложенного на первом этапе эксперимента, однако, безусловно, перед нами другой текст. Если в первом тексте основной смыслопорождающий элемент, определяющий «интерпретационный веер», слово *техника*, то в данном тексте смыслоопределяющей единицей является лексема-эпитет *надежный*. Именно это слово детерминирует два вектора смысловых версий: а) *надежная*, т.е. «высококачественная», «не ломается», «хорошая», «без поломок, без повреждений», «с немецкой точностью» и т.д.; б) *надежная*, это ложная информация, маскирующая поддельную продукцию.

Результаты эксперимента показывают, что увеличение длины текста, расширение его границ за счет введения атрибутивно-характеризующей лексемы, с одной стороны, уменьшает количество смысловых версий, а с другой – детерминирует возникновение новых версий, которые обуславливаются вводимой в текст лексико-смысловой единицей.

На третьем этапе эксперимента мы модифицировали базовый текст, увеличив его «длину» посредством введения дополнительных компонентов – наименований фирм-производителей: *Надежная техника из Германии от лучших компаний производителей: Bosch, Liebherr*.

Как показывают полученные в результате эксперимента данные, увеличение «длины текста» за счет введения в его формально-смысловую структуру конкретизирующих атрибутивно-субъектных компонентов – наименований фирм-производителей – не является фактором, нейтрализующим вариативность интерпретационного результата. В какой-то мере эти компоненты избыточны. Они не только не обеспечивают адекватность восприятия авторского смысла и не способствуют установлению гармонии формы и содержания текста, но и создают коммуникативные помехи для группы испытуемых, которые воспринимают эти слова как агнонимы: *Поставщик предлагает*

технику, а именно какая, я не представляю, от каких-то производителей Bosh и Liebherr. Может, я знаю таких производителей, а есть такие люди, которые не знают таких компаний.

Анализ смысловых версий показал, что введенный нами с целью уменьшения степени имплицитности текста конкретизатор – наименование фирм-производителей – не актуализируется и, следовательно, не реализует свой смыслоопределяющий потенциал. В случае же его актуализации реализуется полиинтерпретационный потенциал данного компонента и текста в целом. Так, по-разному оцениваются эти компании – от нейтральной оценки до резко негативной.

В некоторых ответах информантов по-прежнему отмечается неинформативность текста (7%): *Ну вот я купился бы на такое объявление, мне нужна эта техника. И где я ее возьму? В Германии? Где телефон, адрес? Это доказывает, что введение новых компонентов, содержащих информацию, отвечающую запросам одной категории адресатов, не компенсирует отсутствие информации, требующей удовлетворения запросов другой категории реципиентов.*

В ряде ответов испытуемых отмечается, что рекламируется бытовая техника лучших немецких производителей, тем самым показывается, что введенный на третьем этапе эксперимента компонент текста выполняет функцию смыслопорождающей единицы (65%). При этом определенная категория адресатов (10%) считает, что содержание текста не соответствует истине: *В тексте сразу под подозрение ставятся слова: «Надежная и лучшие компании». Германия ничем не превосходит другие европейские страны.*

Это доказывает, что, увеличивая «длину текста» введением конкретизаторов, автор не может рассчитывать на адекватный своему замыслу рецептивно-интерпретационный результат. Введение компонентов атрибутивно-субъектного характера в некоторой мере нейтрализует его имплицитность, но при этом возрастает степень избыточности текста. Каждый дополнительный компонент, который автор вводит в текст, является фактором, стимулирующим порождение новых смыслов в процессе интерпретации текста.

Для доказательства этого тезиса был проведен четвертый этап эксперимента, на котором мы увеличили «длину текста» посредством введения конкретизирующих компонентов, указывающих на назначение техники (бытовая): *Надежная техника из Германии, которая облегчит ваш быт. От лучших компаний производителей: Bosch, Liebherr.* Согласно нашей концепции новые эксплицитные компоненты, с одной стороны, снимают «неинформативность», имплицитность смысла текста, а с другой – детерминируют новые смысловые версии текста, реализуя его полиинтерпретационный потенциал.

В ответах участников эксперимента, интерпретирующих предложенный текст, также содержатся высказывания о неинформативности данного текста: *Смысл текста абсолютно непонятен (7%).* Эти и подобные ответы как результат интерпретации текста, содержащего достаточно конкретную информацию, позволяют утверждать, что степень имплицитности / эксплицитности текста действительно определяется не только языковой системой, но и прагматикой. Нарращивание длины текста с целью сделать его содержательным и

информативным для всех категорий читателей, сотворение, так сказать, «идеального» текста – это утопическая идея автора, его неосуществимая мечта.

Другие испытуемые отмечают, что рекламируется полезная бытовая техника из Германии Bosh и Liebherr: *Смысл текста в том, что техника Бош и Либхер облегчит мне повседневную жизнь.* Для третьей категории испытуемых нерелевантными являются компоненты текста *Bosh u Liebherr*. При анализе текста они актуализируют лексику бытовая: *Речь идет о бытовой технике из Германии, которая должна помочь в быту, в уборке.* Четвертая группа участников эксперимента выстраивают свои интерпретации текста на лексемах *Германия* или *надежный*: *Реклама техники из Германии. В Германии делают хорошую технику. Это как бы априори. Ну и быт техника облегчает; Предлагается хорошая техника, скорее всего – это чайники, печи, стиральные машины и т.д. Указан производитель – компании на слуху, пользуются спросом, отличная репутация.*

Следующая группа реципиентов оценила довольно скептически содержание текста, полагая, что это не вызывающая доверия обычная реклама: *Попытка впарить потребителю очередную продукцию, в данном случае бытовую технику; Я не стал бы приобретать такую технику, я не знаю фирму liebherr.*

Как показано в таблице, «самый длинный» текст имеет наибольшее количество смысловых версий (20 разных типов интерпретаций), в то время как при определении смысла «самого короткого» текста испытуемые предложили 11 типов интерпретаций. Тексты «средней длины» получили от 7 до 12 типов интерпретаций. При этом часть смысловых версий повторяется при интерпретации разных «по длине текстов» (*Реклама; Реклама техники из Германии; Реклама качественной техники; Реклама бытовой техники*). В этом случае «длина текста» не влияет на типы интерпретаций. Определяя смысл текста, участники эксперимента применяют холистическую стратегию, т.е. интерпретационный процесс направляют от целого к составным элементам текста.

Различия же в смысловых версиях разных «по длине текстов» обусловлены влиянием каждого элемента при его появлении в тексте. В этом случае реципиенты применяют элементаристскую стратегию восприятия и интерпретации текста.

3. Резюме

Результаты эксперимента позволяют утверждать, что каждый текст характеризуется антиномическими свойствами недостаточности и избыточности независимо от его «длины», а значит, степени соотношения объема эксплицитной и имплицитной информации. Эти свойства текста обусловлены реализацией антиномических постулатов кооперативного общения и отражают действие двух противоположных тенденций: тенденции к эксплицитному, как можно более точному выражению мысли и тенденции к имплицитности. Первая из этих тенденций проявляется в развертывании текста, увеличении его «длины», а вторая – в свертывании текста, обусловленном стремлением говорящего к экономии речевых ресурсов.

Тенденция к экономии речевых ресурсов как реализация постулата количества отражает позицию говорящего, его иллюзию и объясняется потенциальной способностью текста к развертыванию (*Техника из Германии – Надежная техника из Германии – Надежная техника из Германии от лучших компаний-производителей Bosh, Liebherr – Надежная техника из Германии, которая облегчит ваш быт, от лучших компаний-производителей Bosh, Liebherr*). При развертывании текста, т.е. увеличении его «длины» и усилении коммуникативной роли эксплицитных компонентов, с одной стороны, уменьшается его имплицитность. В этом случае происходит уменьшение количества тех смысловых версий, которые основаны на принципе выводимости смыслов. С другой стороны, каждый из вновь введенных в текст компонентов детерминирует развитие дополнительных смысловых версий.

Свойства недостаточности и избыточности текста являются, в сущности, относительными понятиями. Каждый текст можно охарактеризовать и как недостаточный, и как избыточный. Эти свойства влияют на реализацию его смыслового потенциала. В результате интерпретационного процесса образуется множественная совокупность вариативных смысловых версий, которые составляют интерпретационное поле текста.

Степень имплицитности / эксплицитности текста определяется прагматикой, типом языковой личности адресата-интерпретатора и характером используемых им интерпретационных стратегий. Как наращивание «длины текста» с целью сделать его содержательным и информативным для всех категорий читателей, так и, напротив, редуцирование текста с целью освободить его от избыточных лексико-смысловых элементов не позволяют решить проблему невозможности создания оптимального по «длине» текста. Введение новых компонентов, содержащих информацию, отвечающую запросам одной категории адресатов, не компенсирует отсутствие информации, требующей удовлетворения запросов другой категории реципиентов.

Роль регулятора баланса между смысловой эксплицитностью и имплицитностью, между структурной достаточностью и избыточностью текста могут выполнять конвенции.

Литература

1. Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях: (Проблемы диахронической фонологии). М.: Изд-во иностр. лит., 1960. 260 с.
2. Хэррис З. Совместная встречаемость и трансформация в языковой структуре // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1962. Вып. 3. С. 528–636.
3. Богородицкий В.А. Общий курс русской грамматики. 7-е изд. М.: URSS, 2011. 576 с.
4. Будагов Р.А. Определяет ли принцип экономии развитие и функционирование языка? // Вопр. языкознания. 1972. № 1. С. 17–36.
5. Дюндик Б.П. К вопросу об экономии в языке и речи // Проблемы синтаксиса английского языка. М., 1970. С. 139–151.
6. Пешиковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М.: Просвещение, 1956. 211 с.
7. Демьянков В.З. Конвенции, правила и стратегии общения (интерпретирующий подход к аргументации) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 41. 1982. № 4. С. 327–337.
8. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16: Лингвистическая прагматика. М., 1985. С. 217–238.

9. Голев Н.Д. Язык закона и лингвистическая экспертиза законопроекта в свете правовой коммуникации // Динамика языковых и культурных процессов в современной России. Вып. 5. Материалы 5-го Конгресса РОПРЯЛ, Казань, 4–8 октября 2016 г. СПб., 2016. С. 132–136.

10. Голев Н.Д., Ким Л.Г. Вариативность интерпретации речевого произведения и особенности русского языкового мышления (холистизм vs. элементаризм) // Система языка и языковое мышление. М., 2009. С. 51–66.

11. Дейк Т.А. ван, В. Кинч. Стратегии понимания связного текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23: Когнитивные аспекты языка. М., 1988. С. 153–211.

12. Демьянков В.З. Прагматические основы интерпретации высказывания // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 40. 1981. № 4. С. 368–377.

13. Ким Л.Г. Вариативно-интерпретационное функционирование текста. М.: ЛЕНАНД, 2013. 280 с.

14. Кобозева И.М., Лауфер Н.И. Интерпретирующие речевые акты // Логический анализ языка: Язык речевых действий. М., 1994. С. 63–71.

15. Савельева И.В. Стратегии восприятия политических текстов авторами комментариев в интернет-среде // Вестн. Кем. гос. ун-та. 2013. № 2. С. 152–156.

16. Ким Л.Г. Интерпретационные стратегии в рецептивной деятельности адресата речевого произведения // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры: материалы 13-го Конгресса МАПРЯЛ, Гранада, Испания, 13–20 сентября 2015 г.: в 15 т. СПб., 2015. Т. 8. С. 130–135.

“TEXT LENGTH” AS A FACTOR OF VARIETY AND ITS INTERPRETATIVE FUNCTIONING

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 49. 38–51. DOI: 10.17223/19986645/49/3

Lidiya G. Kim, Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: kimli09@mail.ru

Keywords: text interpretation, semantic version, explicitness / implicitness, incompleteness / redundancy of text, addressee-interpreter.

The research is carried out in line with the theory of variable-interpretive functioning of the text. It is based on the assumption that, on the one hand, the variability of the perception of the interpreted text semantic content is determined by the system-language factor and, on the other hand, it is determined by the factor of the language personality language activities. The author suggests considering this problem in the aspect of the communicative activities of the addresser and the addressee, text production and text perception to continue the discussion on the role of the principle of saving speech efforts in the process of language functioning. The article deals with one of the factors determining plurality and variability of the interpretation of text by the addressee-recipient, the factor of “text length”. Using the materials of the linguistic interpretive experiment the author proves the neutralization of some semantic versions and actualization of other versions in the process of “text length” gradual enlargement. The author used four texts which were different in “length” as the material for the experiment: *Machinery from Germany; Good machinery from Germany from the best companies-manufacturers: Bosch, Liebherr; Good machinery from Germany which will facilitate your every day life. From the best companies- manufacturers: Bosch, Liebherr.* The materials of the experiment show that, on the one hand, the enlargement of “text length” and the increase of the communicative role of explicit components reduces the implicitness. It leads to the reduction of the number of semantic versions based on the principle of semantic inference. On the other hand, each of the new components determines the development of additional semantic versions. It is due to the fact that the increase of the degree of text explicitness (verbalization) reduces the degree of its implicitness, and it means that it reduces the degree of the addressee inferred meanings. Furthermore, every structural-semantic component has the potential of its interpretation variability. The degree of the text implicitness / explicitness is determined by its pragmatics, the type of the addressee-interpreter language personality and the character of interpretation strategies used. In the process of text perception the addressee-interpreter actualizes the interpreting speech acts while applying different interpretation strategies – holistic or elementaristic. The author proves that the increase of “text length” does not influence the result directly, if the addressee applies the holistic strategy of interpretation. But if the addressee belongs to the type of language personality who tends to use the elementaristic strategy, increasing “text length” by including “new” language units (first of all lexical) impacts the result of the interpretation activities that

determine the multiple variability of the interpreted text semantic versions. Increasing “text length” aimed at making it more informative for all readers as well as text reduction aimed at removing extra lexical-semantic elements does not allow us to decide the problem of creating the text that could be optimal in “length”.

References

1. Martine, A. (1960) *Printsip ekonomii v foneticheskikh izmeneniyakh (Problemy diakhronicheskoy fonologii)* [The principle of economy in phonetic changes (Problems of diachronic phonology)]. Moscow: Izd-vo inostrannoy literatury.
2. Harris, Z. (1962) *Sovmestnaya vstrechaemost' i transformatsiya v yazykovoy strukture* [Co-occurrence and transformation in linguistic structure]. Translated from English. *Novoe v zarubezhnoy lingvistike*. 3. pp. 528–636.
3. Bogoroditskiy, V.A. (2011) *Obshchiy kurs russkoy grammatiki* [General course of Russian grammar]. 7th ed. Moscow: URSS.
4. Budagov, R.A. (1972) *Opredeleyaet li printsip ekonomii razvitiye i funktsionirovaniye yazyka?* [Does the principle of economy determine the development and functioning of language?]. *Voprosy yazykoznaniya*. 1. pp. 17–36.
5. Dyundik, B.P. (1970) *K voprosu ob ekonomii v yazyke i rechi* [On the economy in language and speech]. In: *Problemy sintaksisa angliyskogo yazyka* [Problems of the syntax of the English language]. Moscow: Nauka.
6. Peshkovskiy, A.M. (1956) *Russkiy sintaksis v nauchnom osveshchenii* [Russian syntax in an academic light]. Moscow: Prosveshchenie.
7. Dem'yankov, V.Z. (1982) *Konventsii, pravila i strategii obshcheniya (interpretiruyushchiy podkhod k argumentatsii)* [Conventions, rules and strategies of communication (interpretative approach to reasoning)]. *Izvestiya USSR AS. Seriya literatury i yazyka*. 41:4. pp. 327–337.
8. Grice, G.P. (1985) *Logika i rechevoe obshchenie* [Logic and speech communication]. Translated from English. *Novoe v zarubezhnoy lingvistike*. 16. pp. 217–238. (In Russian).
9. Golev, N.D. (2016) *Law Language and Linguistic Examination of the Bill in the Light of Legal Communication. Dinamika yazykovykh i kul'turnykh protsessov v sovremennoy Rossii*. 5. pp. 132–136. (In Russian).
10. Golev, N.D. & Kim, L.G. (2009) *Variativnost' interpretatsii rechevogo proizvedeniya i osobennosti russkogo yazykovogo myshleniya (kholistizm vs. Elementarizm)* [The variability of the interpretation of the speech product and the features of Russian linguistic thinking (holism vs. elementarism)]. In: Kirov, E.F. & Bogomazov, G.M. (eds) *Sistema yazyka i yazykovoe myshlenie* [The system of language and linguistic thinking]. Moscow: Librokom.
11. Dijk, T.A. van & Kinche, W. (1988) *Strategii ponimaniya svyaznogo teksta* [Strategies for understanding coherent text]. Translated from English. *Novoe v zarubezhnoy lingvistike*. 23. pp. 153–211.
12. Dem'yankov, V.Z. (1981) *Pragmatische osnovy interpretatsii vyskazyvaniya* [Pragmatic bases of utterance interpretation]. *Izvestiya USSR AS. Seriya literatury i yazyka*. 40:4. pp. 368–377.
13. Kim, L.G. (2013) *Variativno-interpretatsionnoe funktsionirovaniye teksta* [Variational-interpretational functioning of the text]. Moscow: LENAND.
14. Kobozeva, I.M. & Laufer, N.I. (1994) *Interpretiruyushchie rechevye akty* [Interpretive speech acts]. In: Arutyunova, N.D. & Ryabtseva, N.K. (eds) *Logicheskiy analiz yazyka. Yazyk rechevykh deystviy* [Logical analysis of the language. Language of speech actions]. Moscow: Nauka.
15. Savel'eva, I.V. (2013) *The strategies of political discourse perception by the authors of Internet comments. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Kemerovo State University*. 2. pp. 152–156. (In Russian). DOI:10.21603/2078-8975-2013-2-152-156
16. Kim, L.G. (2015) *Interpretatsionnye strategii v retseptivnoy deyatel'nosti adresata rechevogo proizvedeniya* [Interpretational strategies in the receptive activity of the addressee of the speech product]. *Russkiy yazyk i literatura v prostranstve mirovoy kul'tury* [Russian language and literature in the space of world culture]. Proceedings of the XIII Congress of the International Association of Teachers of Russian Language and Literature. Granada, Spain. 13–20 September 2015. Vol. 8. St. Petersburg: MAPRYaL. pp. 130–135. (In Russian).

УДК 81'42

DOI: 10.17223/19986645/49/4

И.А. Пушкарёва

**О КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ВРЕМЕНИ В ДИСКУРСЕ
ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI в.
(НА МАТЕРИАЛЕ РУБРИК ГАЗЕТЫ «КУЗНЕЦКИЙ РАБОЧИЙ»)¹**

В статье рассматривается лингвоаксиологическое своеобразие регионального медиадискурса. Семантико-стилистический анализ выполнен на материале городской газеты «Кузнецкий рабочий» (Новокузнецк) 1980–2014 гг. Представлена специфика концепции времени, отражённая в характере рубрик городской газеты. Сделан вывод о влиянии на семантико-стилистическое воплощение концепции времени мемориально-краеведческой функции, определяющей лингвоаксиологическое своеобразие регионального медиадискурса.

Ключевые слова: аксиосфера, региональный медиадискурс, газетно-публицистический текст, темпоральность, мемориально-краеведческая функция, краеведческое фокусирование.

Категория времени в современной стилистике осознаётся как один из базовых параметров для характеристики текстов различной жанрово-стилевой ориентации и включена в модель речевого жанра [1]. Специфику категории темпоральности в текстах различных функциональных стилей рассматривает Т.В. Матвеева [2. С. 29–32]. Исследователь определяет текстовое время (темпоральность) как «категорию, с помощью которой содержание текста соотносится с осью времени: исторической перспективой действительности или её субъективным преломлением» [3. С. 122]. Говоря об особенностях категории темпоральности публицистического текста, Т.В. Матвеева отмечает ведущую роль «объективного времени», имеющего «точкой отсчёта текущий момент действительности, историческое “сегодня”», а также указывает на значимость «хронологической оси» «в авторизированных текстах, содержащих описание метасобытия – деятельности журналиста в процессе создания текста» [2. С. 101]. Ещё одна важная черта темпоральности публицистического текста – это создание «образа времени»: «Публицистический текст <...> настолько пристально следит за реальным социальным временем, используя не только его прямые номинации, но и многообразные и многочисленные характеристики, что в результате складывается целостное представление об эпохе, периоде, конкретном времени. Это представление художественного типа, но не аналогичное собственно художественному в силу открытой оценочности изображения» [2. С. 105]. Для выявления специфики категории времени в газетно-публицистическом тексте представляется необходимым соотнесение содержательных (концептуальных) и стилистических аспектов анализа, для чего органично может быть использован семантико-стилистический метод, который М.Н. Кожина характеризует как основной в стилистике текста [4.

¹ Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.

С. 22]. Семантико-стилистический анализ темпоральности газетно-публицистического текста позволяет интегрировать подходы функциональной стилистики текста, дискурс-анализа и аксиологической лингвистики. Цель данной статьи – на основе семантико-стилистического анализа текстов городской газеты «Кузнецкий рабочий» (Новокузнецк) рассмотреть особенности краеведческой концепции времени, характерные для регионального медиадискурса и отражённые в системе рубрик.

Своеобразие коммуникативной природы регионального медиадискурса во второй половине XIX в. было отмечено Г.Н. Потаниным, который выделил особый тип издания – «идейную» областную газету, отличающуюся от справочного издания: «Областная газета издаётся обыкновенно каким-нибудь местным патриотом по большей части себе в убыток, редактируется обыкновенно самим издателем; дело ведётся не для спекуляции, а в видах развития умственной жизни края. <...> Областная газета стремится быть органом интеллигенции края, а не печатной справкой торговых контор, она представляет собой общественное явление» (цит. по: [5. С. 31]). Дискурс городской газеты представляет особую разновидность регионального медиадискурса, семантико-стилистическая специфика которой обусловлена комплексом экстралингвистических факторов: исторических, географических, этнических, экономических, административно-территориальных.

Обращение к образу города в лингвоаксиологическом исследовании масс-медиа связано с краеведческой концепцией И.М. Гревса и Д.С. Лихачёва, согласно которой изучение города является важным этапом «родиноведения» (термин И.М. Гревса): «Надобно изучить его [города] биографию, познать его именно как своеобразную коллективную личность – и эта биография даст превосходно конкретизированную часть биографии данной страны и народа... Необходимо уразуметь процессы, какими эта душа слагалась, на какой почве, из какой цепи влияний и смены обстоятельств, – и к чему в конце концов привело город его прошлое» (цит. по: [6. С. 142]). Выбор городской газеты в качестве материала для исследования регионального медиадискурса обусловлен важной ролью данного типа СМИ в системе периодической печати: «...городские издания представляют самую многочисленную группу газетной продукции, выходящей сегодня в России» [7. С. 61]. Городская газета выделяется в типологии периодической печати по аудиторному признаку и, согласно подходу М.В. Шкондина, входит в группу изданий внутрироссийских и международных общностей, существующую наряду с группой общероссийских изданий [8. С. 41–42]. О.А. Воронова говорит о важной коммуникативной роли городской газеты в информационном пространстве города и приводит подтверждающие данные опроса россиян: «Традиционная городская пресса обычно занимает прочные позиции в информационной структуре города и в качестве главного поставщика местной информации пользуется неизменным читательским спросом» [7. С. 61].

«Кузнецкий рабочий» выбран в качестве материала исследования как образец городской газеты, который даёт возможность изучить важные особенности регионального медиадискурса в лингвоаксиологическом аспекте. Старейшая газета Новокузнецка, родившаяся как рупор индустриализации в 1930 г., отражает различные периоды в истории страны и общественной мыс-

ли. Как в советское время, так и после распада СССР отмечена значимость «Кузнецкого рабочего» в региональном коммуникативном пространстве. Так, в декабре 2007 г. «Кузнецкий рабочий» в пятый раз получил приз Национальной тиражной службы «Тираж – рекорд года», в 2016 г. стал обладателем знака «Золотой фонд прессы – 2016» (наряду с 30 другими газетами и журналами России) [9]. По данным информационно-аналитической системы «Медиадиагностика» за 2011–2015 гг., «Кузнецкий рабочий» занимает лидирующие позиции среди самых цитируемых изданий Кемеровской области: возглавляет рейтинг СМИ в 2011 и 2014 гг., возглавляет рейтинг газет в 2013 г. (третья позиция – после интернет-изданий Gazeta.a42.ru и NK-TV) и в 2015 г. (третья позиция – после интернет-изданий Vse 42.ru и Sibdepo.ru); только в 2012 г. «Кузнецкий рабочий» уступает областной газете «Кузбасс» и информационному агентству «Город новостей» [10]. Особо подчеркнём, что в 1990 г. «Кузнецкий рабочий» отстоял статус независимой городской газеты и сохранил его до настоящего времени, не превратившись в вестник администрации. В ходе исследования было проанализировано более 2500 текстов, опубликованных в 1980–2014 гг., что позволяет судить о динамике ценностной картины мира, отражённой городской газетой и проявляющейся в своеобразии концепции времени.

Такая разновидность идеонимов, как названия рубрик газеты, является важным элементом системы презентации медиатекста (ономастическая терминология употребляется в работе в соответствии со словарём Н.В. Подольской: [11]). В.И. Коньков толкует систему презентации медиатекста как совокупность «элементов дизайна, заголовочного ансамбля, вспомогательных текстов, инфографики, изображений», функциональное назначение которой – «установить контакт с читателем с целью вызвать желание прочитать текст» [12. С. 35]. Как необходимый компонент заголовочного комплекса, название рубрики играет ключевую роль в организации информационно-оценочного пространства газетного номера и отражает аксиологическую специфику дискурса городской газеты (и регионального медиадискурса в целом). Смысловые нюансы названия рубрики определяются во взаимодействии с вербальным и иконическим её наполнением. Система рубрик городской газеты «Кузнецкий рабочий» отражает краеведческую концепцию времени, связанную со спецификой аксиосферы регионального медиадискурса.

Лингвоаксиологическое своеобразие регионального медиадискурса, определяющее особенности концепции времени, основано на взаимодействии двух составляющих его аксиосферы – надрегиональной и собственно региональной. Собственно региональная составляющая ценностной картины мира, отражённой в региональном медиадискурсе, связана со специфической для него мемориально-краеведческой функцией. Г.Н. Швецова-Водка, опираясь на подход к документу и книге П. Отле (1934), характеризует мемориальную функцию как одну из функций документа, которая связана с его назначением в системе социальных коммуникаций «быть “внешней памятью” человека и человечества в целом» [13. С. 92]. Тексты городской газеты не только реализуют типологические коммуникативные особенности газетно-публицистических текстов, но и выполняют специфическую для регионального медиадискурса мемориальную функцию, основанную на краеведческом подходе: за-

печатлевают настоящее города, хранят память о его истории, восстанавливают связь времён и поколений. Мемориально-краеведческая функция в региональном медиадискурсе сопряжена с базовой для газетно-публицистического стиля функцией социальной оценки, имеющей в данном случае этическую и телеологическую основу.

Анализ дискурса городской газеты позволил выявить коммуникативные принципы, определяющие специфику регионального издания и обуславливающие особенности реализации в нём мемориально-краеведческой функции. Реализация мемориально-краеведческой функции в городской газете опирается на три коммуникативных принципа: тесной связи со своим (местным) читателем, «градоцентризма» («региоцентризма») и краеведческого фокусирования. Названные принципы позволяют дать многоаспектную характеристику регионального издания, отражающую особенности адресата и связи с ним, содержательную специфику медиатекстов, своеобразие способов и приёмов выражения информации (*для кого, что и как изображается*). Данные принципы взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Коммуникативный принцип тесной связи с читателем в городской газете соотносится с её местом в типологии СМИ, которое определяется именно по аудиторному признаку, и обуславливает роль «интерактивного кода текстов региональных печатных изданий» [14. С. 378], хотя диалогичность характерна для коммуникативной природы газетного текста в целом [15]. Городская газета «Кузнецкий рабочий» не только с самых первых лет своего существования публикует письма читателей, но в 1960 г. организовала общественные приёмы. Газета придерживается позиции активного отклика на обращения читателей в редакцию, проводит собственные расследования и организует акции социальной направленности. Стилистически диалог с читателем воплощается в существовании специальных страниц и рубрик («*Почта редакции*», «*Диалог: читатель – газета – читатель*», «*Трибуна – людям*», «*Прямая речь*» и др.), в постоянной экспликации темы диалога с читателем в публикациях.

Коммуникативный принцип «градоцентризма» («региоцентризма») определяет центральную роль в издании содержательно-фактуальной, содержательно-концептуальной и содержательно-подтекстовой информации (термины И.Р. Гальперина: [16. С. 27–50]) о городе и регионе. В городской газете город становится ведущей гипертемой и гипертекстовым центром издания. В межтекстовой тематической цепочке ведущая гипертема эксплицирована с помощью базовых и дополнительных номинаций. В роли базовых номинаций выступают соответствующий астионим и прямая номинация *наш город*, в роли дополнительных номинаций – референтно тождественные номинации (перифразы *южная столица Кузбасса*, *город металлургов*, *город-сад*). Ведущая гипертема конкретизируется с помощью краеведческих доминант – тем, круг которых формируется в региональном медиадискурсе. Краеведческие доминанты связаны с осознанием и выражением региональной идентичности, воплощают своеобразие, колорит региона, города, села и актуализированы системой стилистических средств и приёмов. Краеведческие доминанты городской газеты производны по отношению к гипертеме города, но в то же время играют ключевую роль в осознании региональной идентичности.

В старейшей газете Новокузнецка «Кузнецкий рабочий» краеведческими доминантами являются темы «Новокузнецк металлургический», «Ф.М. Достоевский в Кузнецке», «Судьба шорского народа», особенности семантико-стилистического воплощения которых рассмотрены в данном исследовании.

Принцип краеведческого фокусирования предполагает, что отбор информации и её стилистическое воплощение нацелены на создание колоритного образа региона, подчёркивание его самобытности. Теоретической основой для выделения принципа краеведческого фокусирования являются концепция актуализации, разработанная Пражским лингвистическим кружком [17. С. 355], и концепция фокусирования, связанная с изучением аттенциональности в языке и опирающаяся на понятие выделенности (салиентности) [18. С. 32]. В соответствии с коммуникативным принципом краеведческого фокусирования «фигурами» региональных изданий, выделенными на «фоне», становятся факты из истории края, события местного значения и люди, живущие в городе, регионе.

Именно благодаря принципу краеведческого фокусирования адресат общается к гипертеме города и краеведческим доминантам. Одним из стилистических средств краеведческого фокусирования становятся в городской газете названия рубрик, которые отражают концепцию времени, связанную с аксиологической спецификой регионального медиадискурса. Отметим две важнейшие особенности концепции времени, воплощённой в названиях рубрик городской газеты «Кузнецкий рабочий» и в семантико-стилистических особенностях представленных в рубриках текстов: во-первых, в соответствии с принципом «градоцентризма» ось времени в дискурсе городской газеты соотнесена не столько с событиями в мире и стране, сколько с локальной историей, настоящим и будущим города, что наиболее полно проявилось в публикациях со второй половины 1980-х гг.; во-вторых, в сравнении с общей установкой газетной публицистики на отражение исторического «сегодня», в дискурсе городской газеты повышается внимание к событиям прошлого, что объясняется специфической для аксиосферы регионального медиадискурса мемориально-краеведческой функцией.

В связи с общественно-политическими изменениями в стране, начавшимися с перестройкой, газета обрела возможность уделять основное внимание проблемам города и региона. Возрастание роли мемориально-краеведческой функции определило не только подбор газетных материалов, но и особенности рубрик. Рубрики, отразившие ключевую роль мемориально-краеведческой функции в региональном медиадискурсе, продолжают и обогащают традиции газеты первой половины 1980-х гг., воплощая два основных направления осмысления судьбы города, его неповторимого колорита — история города и история семьи.

В первой половине 1980-х гг. действуют рубрики «К 50-летию Новокузнецка» (самая насыщенная материалами об истории города), «Улица имени...» (например: М. Гревнёв, 13.03.1981; Е. Сущенко, 07.11.1986; А. Берлин, 13.04.1989), «Навстречу юбилею КМК» (например, А. Екимов, 21.01.1982; И. Чирков, 11.02.1982; Г. Сусакин, 26.03.1982). Рубрика «Истории строки»

существует как в публикациях 1980-х, так и в публикациях 1990-х гг.¹ История города представлена многочисленными публикациями краеведов – А.Б. Берлина, Ю.Ф. Мустафина, А.О. Кауфмана, В.Б. Паничкина, А.Ю. Огурцова, С.Д. Тивякова, В.В. Тогулева, А.С. Шадринной и др. Со второй половины 1980-х гг. газета использует интересную изобразительную составляющую, реализующую мемориально-краеведческую функцию. Так, в рубрике *«Истории строки»* мы встречаем фотографию памятника первому паровозу, прибывшему на Кузнецкстрой (02.11.1989), в рубрике *«Ретро»* – любительские фотографии дома купца Фонарёва и Народного дома, сделанные в 1958 г. (Т. Минеева, 12.03.1991), в рубрике *«Листая памяти тетрадь»* – карту, показывающую расположение Кузнецкого острога в 1618 и 1620 гг. (А. Кауфман, 07.05.1994), в рубрике *«Шаги в историю края»* – фотографии находок, сделанных во время археологических раскопок средневековых курганов на памятнике, известном под названием «Есаулка» (Н. Кузнецов, 15.10.1994), и т.д.

Мемориально-краеведческая функция со второй половины 1980-х гг. реализуется в многочисленных рубриках. Приведём примеры характерных названий рубрик, несущих концептуальную нагрузку, и примеры помещённых в эти рубрики текстов: *«Наша история»* (А. Шадринна, 09.07.1988), *«Это наша история»* (А. Шадринна, 13.01.1990), *«Зарубки на память»* (В. Немиров, 04.05.1991), *«Из истории города»* (А. Берлин, 21.06.1991), *«Архив»* (Ю. Мустафин, 13.09.1991), *«Долги наши»* (В. Шмелёв, Т. Минеева, В. Тогулев, 07.05.1992), *«Имена на карте города»* (Н. Осокина, 17.06.1993), *«Как это было»* (Э. Степанов, 11.01.1994), *«Листая памяти тетрадь»* (А. Кауфман, 12.02.1994), *«Летопись края»* (Ю. Мустафин, 15.02.1994), *«Шаги в историю края»* (Н. Кузнецов, 15.10.1994), *«Помню имя своё»* (Т. Негода, 21.03.1995). Рубрика *«Наше наследие»* сохранилась с 1990-х до 2000-х гг.² Интересно изменение названий рубрик, приуроченных к юбилею города. В 1987–1988 гг. в честь 370-летия Кузнецка действует рубрика *«К 370-летию города»*. Данный идеоним благодаря указанию на возраст города и использованию апеллиатива *город* идеологически противопоставлен названию праздничной рубрики начала 1980-х гг. *«К 50-летию Новокузнецка»*, поскольку отражает новое осмысление истории города, возводимой уже не к началу Кузнецкстроя, а ко времени основания Кузнецкого острога в 1618 г. На страницах газеты развивается дискуссия об истинном дне рождения города. Спустя пять лет в названии праздничной рубрики газета обращается к идеониму *«К 375-летию Кузнецка»*, отразившему переход от этапа антитезиса, характерного для реформаторского духа эпохи перестройки, к этапу синтеза, делающему акцент на неразрывности связи времён и поколений, на нравственной ценности исторической памяти.

¹ Например, Б. Шертман, 01.01.1982; В. Тендитная, 07.11.1982; Н. Мальковец, 07.02.1986; Н. Мальковец, 20.03.1987; А. Огурцов, 15.12.1987; Ю. Ширин, 25.12.1987; Л. Пашенко, 21.04.88; А. Бек, 03.12.1988; А. Огурцов, 12.01.1989; В. Леонидова, 15.02.1989; А. Берлин, 17.05.1989; Л. Фойгт, 27.07.1989; А. Огурцов, 07.11.1989; В. Девятяров, 03.07.1990; Ю. Мустафин, 08.08.1990.

² Например, В. Белобородова, 24.05.1994; Л. Никонова, 23.06.1994; Л. Никонова, 02.08.1994; Л. Никонова, 23.08.1994; С. Тивяков, 06.07.1995; С. Тивяков, 09.11.1995; В. Паничкин, 27.04.1996; В. Валиулин, 23.01.2001; В. Валиулин, 25.01.2001.

Особое место в воплощении исторической темы городской газетой занимают материалы, посвящённые истории семьи как части истории города и страны. В написании истории человека и семьи важны воспоминания горожан и огромный труд журналиста, стремящегося передать достоверную и целостную картину. Городская газета конца 80-х – начала 90-х гг. XX в. убеждает читателя в необходимости знания родословной, в непреходящей роли семейных ценностей с помощью рубрик «Семейная реликвия», «Семейный альбом». Приведём характеристику рубрики «Семейная реликвия», открытой 1 января 1988 г.: <...> рубрика-поиск, рубрика-экспедиция – в прямом смысле этих слов. Мы обращаемся к читателям с просьбой: в свободное время перелистайте семейные альбомы, откройте папки с документами <...>. Старая фотография и газетная вырезка, Почётная грамота и нагрудный знак могут сказать иногда больше, чем страницы учебника истории, а в судьбах близких людей, в истории семьи можно услышать Время.

Инициатором и ведущим нескольких краеведческих рубрик стал Валерий Анатольевич Немиров. Для него важна идея запечатления истории города, сохранения памяти как основы культуры. «Кузнецкий рабочий» является участником краеведческого проекта, в который активно вовлекается и читатель. Так, В. Немиров делится своими мыслями о проекте запечатления истории города (городской репортаж «Дом моей памяти», 01.02.2003). В очерке о 2004 г. об одном из старейших репортёров города, фотолетописце Новокузнецка Александре Фёдоровиче Санарове вновь звучат мысли о необходимости сохранения памяти (В. Немиров, 31.07.2004). Название очерка «История города в фотографиях» практически совпадает с названием рубрики, открытой в 2009 г., – «История города в фотографиях». Рубрика не только позволяет узнать, как выглядело определённое место в городе раньше, но и соотносит старое изображение с современной фотографией. Лейтмотив рубрики – «музейное» внимание к деталям истории города. Ведущий рубрики В. Немиров вовлекает читателей в интерактивный проект газеты. Неоднократно проводятся конкурсы, например конкурс «Отгадай, где это место». Вербальная часть материалов рубрики представляет собой текст, в котором соединяются описание метасобытия (информация о том, как удалось найти фотографии и информацию), исторические экскурсии, личные воспоминания и воспоминания других горожан, описательные фрагменты, размышления автора о связи прошлого и настоящего, о колорите города. Данные мысли, составляющие концептуальную основу рубрики «История города в фотографиях», неоднократно повторяются («Внуки просят сохранить на память», 18.02.2010; «Время непуганых пешеходов», 05.08.2012; «Методом глубокой дедукции», 14.01.2012 и др.). Постоянной является апелляция к читателю, который может поделиться информацией об истории города (например: «Нет слов, чтобы выразить нашу благодарность», 04.07.2009; «Время непуганых пешеходов», 05.08.2012). Характерен для рубрики связанный с мемориально-краеведческой функцией приём параллельного размещения старых и современных фотографий.

В 2008 г. открывается рубрика «История города в улицах-лицах» (ведущая – Татьяна Александровна Эмих). Она продолжает традиции «Кузнецкого рабочего», в частности рубрики 1980-х гг. «Улица имени...». В текстах руб-

рики Т. Эмих раскрывается концептуальная роль топонимов, агортонимов и антропонимов, связанных с ономастическим пространством города. Ключевой является мысль о бережном отношении к истории города и её деталям (например, о проезде Флеровского рассказывает материал «Петербургский гость», 04.10.2008; об улице имени Клары Цеткин – материал «Спасибо Кларе», 07.03.2009).

В 2009 г. открывается постоянная рубрика «*День в истории города*», которую ведёт филолог Александр Эрвинович Шпрингер. Рубрика продолжает традиции хроник городской газеты второй половины 1990-х гг. Так, юбилею КМК посвящена «Хроника событий: с 1918 по 1932» (03.04.1997). В рамках рубрик, публикующих хронику из жизни города разных лет, формируется особая жанровая разновидность хроники «*День (неделя) в истории города*», которая позволяет совершить своего рода путешествие во времени: составители хроники берут ограниченный интервал дат и представляют события, произошедшие в городе в разные годы. В представлении событий во второй половине 1990-х гг. используется обратный хронологический порядок, создающий эффект углубления в прошлое, например: «Новокузнецк. Хроника событий» (20.04.1996), «На этой неделе...» (составитель – Ф. Ступкин, 06.09.1997, 27.09.1997). К 380-летию города приурочены хроники «На этой неделе...», составленные краеведом Вячеславом Борисовичем Паничкиным. В их оформлении используется старинная печать города Кузнецка (06.12.1997, 20.12.1997, 07.02.1998, 14.02.1998 и др.). А.Э. Шпрингер обращается к прямому хронологическому порядку. Закономерно, что в настоящее время А.Э. Шпрингер ведёт также блог, посвящённый истории и интересным местам города (URL: <http://nemologos.livejournal.com>).

Особое место в истории «Кузнецкого рабочего» занимают рубрики «*Городской репортаж*» и «*Городской дневник*», в рамках которых формируется особый жанр городского дневника. Названия рубрик отражают сочетание «градоцентризма» и установки на отражение настоящего времени, на создание образа реального социального времени. Данные рубрики, в отличие от представленных ранее, сосредоточены на событиях сегодняшнего дня. Однако и в них с помощью многочисленных ретроспектив подчёркивается идея связи времён и поколений. Приведём несколько примеров из городских репортажей В.А. Немирова: *Первым директором цирка был назначен Юрий Самуилович Шелков. Ох, как он мечтал встретить двадцатипятилетие своего детища! Жаль, не дожил. Его заслуг в формировании и становлении коллектива, организации дела умалить невозможно* (15.07.1999); *<...> досоветский настоятель храма был красными бандитами повешен, а сам храм подвергся надругательству. Кстати, фамилия того настоятеля была Минералов. Его внук Юрий – ныне серьёзный учёный – периодически приезжает в родной город* (07.08.1999); *Около 200 лет назад, по сведениям И.С. Конюхова, в Кузнецк завезены первые пчёлы* (06.05.2000).

Рубрика «*Городской репортаж*» открылась в газете в 1992 г. Издание в это время уже существует как независимая городская газета, которая традиционно играет важную роль в формировании сознания горожанина. В эпоху перемен эта роль усиливается и приобретает своеобразный колорит эпохи. По словам Я.Н. Засурского, «в 1991–1993 гг. журналистика пережила “золотой

век» свободы <...>» [19. С. 5]. Свобода проявилась и в жанрово-стилистических поисках журналистов. Перестройка определила специфику мемориально-краеведческой функции городской газеты: доперестроечные публикации были сосредоточены прежде всего на создании образа советского Новокузнецка, со времени перестройки образ города приобретает новые акценты, отсчёт его возраста ведётся уже не от времени строительства КМК, а от времени основания Кузнецка в 1618 г. Уходит необходимость в стандартной подаче информации, обязательной для советской городской газеты: сначала о событиях в стране и в мире, в конце (на четвёртой странице) – о событиях в городе. Газета становится «градоцентричной». Новая рубрика «Городской репортаж», открытая в 1992 г. и представленная на первой странице газеты, отражает такую «градоцентричность». В период 1992–1994 гг. рубрика не является регулярной, в 1995–1998 гг. не выходит, в 1999 г. появляется серия публикаций В.А. Немирова, выдержанных в стиле данной рубрики, хотя название рубрики не используется, в 2000–2005 гг. рубрика возобновляется и становится регулярной (публикации выходят в субботних номерах газеты). Первым автором, пишущим тексты для рубрики «Городской репортаж», стала журналист Т.А. Негода, которая во многом определила стиль, характерный для современного городского дневника.

Изначальное название рубрики связано с такой важной «специализацией» автора-журналиста, как репортёр. Репортаж позволяет отразить жизнь города ярко и многоаспектно. Первые городские репортажи посвящены теме изменений в жизни города, связанных с перестройкой в стране. Например: *На улице Суворова некоторые преобразования – появились маленькие магазинчики, частные и арендные, в которых изобилие разномастного товара как-то склоняет изъясняться на «нерусском»* (Т. Негода, 23.04.1992). Именно образ города становится объединяющим началом для разнообразных городских репортажей, посвящённых изменениям в жизни современного города, в частности такому новому социальному феномену, как бомж (Т. Минеева, 09.06.1992), проблеме роста цен и падения уровня жизни (Т. Шипилова, 10.09.1992), трудностям одиноких престарелых людей (Т. Шипилова, 26.06.1992) и жителей городских окраин (Т. Негода, 26.05.1992), возможностям летнего отдыха в городе (Т. Минеева, 02.06.1992), работе новокузнецкого аэропорта (Т. Шипилова, 08.07.1992), будням дезинфекционной станции (Т. Шипилова, 10.08.1992), деятельности цветоводческих центров (Т. Негода, 20.08.1992) и др. Журналисты дают читателю возможность лучше узнать жизнь города и горожан, побывав на городских свалках (Т. Шипилова, 18.09.1992) и на выставке кошек (Т. Негода, 05.11.1992), в отделе социальной защиты (Т. Шипилова, 10.12.1992) и на фабрике «Запсибобувь», работающей по итальянской технологии (Т. Минеева, 15.01.1995), в городском транспорте (Т. Негода, 14.04.1994) и во многих других местах. В рамках рубрики постепенно складывается устойчивый набор тематических, композиционных и стилистических признаков, которые свидетельствуют о формировании жанра городского дневника.

Изначально материалы, помещаемые в рубрике «Городской репортаж», стилистически разнообразны. Они представляют художественную публицистику, для которой характерны «повышенная требовательность к языку, ху-

дожественная образность, эмоциональная насыщенность текстов, глубина авторского обобщения действительности» [20. С. 248]. На наш взгляд, наиболее близки к классическим репортажам тексты Т. Шипиловой. В целом опубликованные в рубрике «Городской репортаж» материалы не укладываются в жанровые рамки репортажа и основаны на соединении трёх начал – собственно репортажного, очеркового и эссеистического.

Репортажное начало городских репортажей связано с использованием метода наглядного изображения. Однако к городским репортажам нельзя применить следующую характеристику: «...в репортаже наглядность несёт чисто информативную функцию, функцию сообщения о вполне конкретном событии, происшествии и пр.» [20. С. 88–89]. В отличие от традиционных репортажей, городские репортажи «Кузнецкого рабочего» чаще всего не привязаны к определённому событию и его пространственно-временным характеристикам. Очерковая составляющая проявляется в соединении «репортажного (наглядно-образного) и исследовательского (аналитического) начала» [20. С. 250]. Однако в отличие от очерка, сфокусированного на определённом объекте изображения и исследования, городские репортажи охватывают различные объекты и поэтому реализуют стиль зарисовок, связанных с таким гипертекстовым центром, как образ города. Свобода отражения мира внешнего и внутреннего в личностном рефлексивном потоке связана с эссеистическим началом городских репортажей. Эссе характеризуется исследователями как жанр, характерный для СМИ конца XX – начала XXI в. и отражающий «усиление личностной тенденции» в публицистическом общении [21. С. 671]. Постепенно на основе соединения трёх начал – репортажного, очеркового и эссеистического – формируются черты особого жанра городского дневника, наиболее полно раскрывшиеся в работах В.А. Немирова. Эти воспроизводимые жанровые черты связаны с тематическим, композиционным и стилистическим единством публикуемых в рубрике материалов. Черта, определяющая жанровую специфику городского дневника, – его «двувершинность»: семантико-стилистическое доминирование двух образов – образа автора и образа города.

Синтез репортажного, очеркового и эссеистического начал на основе сильной субъективации изложения и связи с гипертекстовым центром – образом города – это те черты, которые нашли органичное отражение в новом названии рубрики, появившемся в газете 6 августа 2005 г., – «Городской дневник». Это не просто название рубрики, а удачное жанровое имя, максимально точно отразившее устойчивый комплекс тематических, композиционных и стилистических признаков текстов, опубликованных в рубрике «Городской репортаж».

Как отмечает Е.И. Калинина, анализирующая внутрижанровое пространство гипержанра «дневник», «главное функциональное назначение личных дневников непосредственно связано с процессами становления человеческой субъективности, чем и объясняется широкое распространение практики ведения личного дневника в эпоху гуманизма» [22. С. 9]. Изменение названия рубрики свидетельствует о доминантах авторской интенции: сосредоточить внимание не столько на объективном плане изображения (жизнь города), сколько на субъективном преломлении, на личностном впечатлении от про-

исходящего в городе По словам В. Немирова, дневник – «это то личное, что сам пишешь; понимание многих вещей должно сначала пройти через себя» [23. С. 298]. Городские дневники В. Немирова, по сути, представляют собой печатный вариант блога, связанного с феноменом «публичной интимности» [24], и созвучны духу времени. Городской дневник В. Немирова – персональный текст, отражающий авторские впечатления о жизни города за неделю (номер с городским дневником выходит в субботу).

Начиная со второго городского дневника (13.08.2005) обретает стилистическое воплощение важнейший композиционный принцип городского дневника, позволяющий передать ассоциативную «гирлянду» зарисовок автора, – фрагментарность. Тексты В. Немирова включают от 3 до 8 (чаще 5–6) фрагментов, отделённых друг от друга графически (знаком «звёздочки»). Тематически эти фрагменты соотнесены как с действительностью, так и с миром мыслей и чувств автора, который является преобладающим. Изображение в дневнике не стремится к объективности и сопряжено с образом равнодушного автора, делящегося с читателем своими мыслями и чувствами. С помощью изобразительно-выразительных средств, насыщающих текст, усиливается акцент на роли образа автора, подчёркивается яркость его впечатлений, например: *Вчера, ожидая на остановке простуженный до последней шестёрочки трамвай, я вспомнил этот разговор и принялся наблюдать за проезжающими машинами, точнее, за дымами из выхлопных труб. И правда – вьются, как пороссячий хвосты. Даже потеплело на душе («И дым пороссячим хвостиком», 14.02.2009)*. Городской дневник отражает «персоноцентричность» как важное проявление изменений в языке и стиле постперестроечных СМИ и как одну из черт языковой картины времени – тяготение к описанию «личностного начала» [25. С. 75], «внутренней жизни человека, его эмоций и настроений» [26. С. 80].

В содержательном плане для городского дневника важны отражение концепта «малая родина», значимого для регионального медиадискурса, и творческая индивидуальность автора. Именно в городских дневниках, реализующих жанровый синкретизм как форму проявления творческого начала автора, наиболее ярко раскрылась манера художественно-публицистического письма В. Немирова. Отметим, что в последние годы (с 2011 г.) городские дневники пишут другие журналисты (С. Штиль, А. Ночка, В. Глебова, Д. Черский, Е. Веселова и др.). И эти тексты не вполне соответствуют жанровым признакам городского дневника, сформировавшимся к началу XXI в. В них сохраняется лишь композиционная форма прежнего городского дневника: соединение в субботнем номере газеты нескольких фрагментов, разделённых знаком «звёздочки». Фрагменты передают информацию о событиях в жизни города в соответствии с законами не художественной, а информационной публицистики, в стиле хроники и заметки. Из городского дневника исчезает его важное интегрирующее начало – эксплицированный образ автора. В результате применительно к «Кузнецкому рабочему» последних лет, на наш взгляд, можно говорить лишь о рубрике «Городской дневник», а не о жанре городского дневника.

Таким образом, в городской газете «Кузнецкий рабочий» существуют многочисленные рубрики, позволяющие реализовать мемориально-

краеведческую функцию регионального медиадискурса, значимость которой возрастает в постперестроечный период. Названия и наполнение данных рубрик отражают влияние на концепцию времени в дискурсе городской газеты мемориально-краеведческой функции, определяющей лингвоаксиологическую специфику регионального медиадискурса.

Безусловно, в концепции времени, реализованной системой рубрик городской газеты, значима и надрегиональная составляющая ценностной картины мира, однако лингвоаксиологическое своеобразие регионального медиадискурса определяется, на наш взгляд, именно ролью мемориально-краеведческой функции в формировании социальной оценочности. Рассмотренные в этом плане рубрики постперестроечной городской газеты «Кузнецкий рабочий» продолжают и обогащают традиции издания первой половины 1980-х гг., воплощая два основных направления осмысления судьбы города, его неповторимого колорита, – история города и история семьи. Лексические репрезентанты семантики времени, использованные в названиях рубрик городской газеты «Кузнецкий рабочий», и семантико-стилистические особенности представленных в рубриках текстов позволяют говорить о значимости краеведческой концепции времени в дискурсе городской газеты. В соответствии с этой концепцией ось времени соотносится не столько с событиями в мире и стране, сколько с локальной историей, с настоящим и будущим города, а в сравнении с общей установкой газетной публицистики на отражение исторического «сегодня» в городской газете особый акцент делается на прошлом, на идее тесной связи времён и поколений.

Литература

1. Шмелева Т.В. Модель речевого жанра // Жанры речи: межвуз. сб. науч. ст. Саратов: Колледж, 1997. С. 88–98.
2. Матвеева Т.В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий: Синхронно-сопоставительный очерк. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1990. 172 с.
3. Кутина Н.А., Матвеева Т.В. Стилистика современного русского языка. М.: Юрайт, 2013. 415 с.
4. Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник. 2-е изд., перераб и доп. М.: Просвещение, 1983. 223 с.
5. Жиликова Н.В. Журналистика города Томска (XIX – начало XX века): становление и развитие / науч. ред. Л.П. Громова, Н.М. Дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. 446 с.
6. Лихачев Д.С. Раздумья. М.: Дет. лит., 1991. 318 с.
7. Воронова О.А. Местная газета: модели и типы // Типология периодической печати: учеб. пособие / под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. М., 2007. С. 60–78.
8. Шкондин М.В. Периодическая печать: системные основы типологии // Типология периодической печати: учеб. пособие / под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. М., 2007. С. 10–46.
9. Кузнецкий рабочий. URL: <http://www.kuzrab.ru/about/> (дата обращения: 08.12.2015).
10. Медиалогия. URL: <http://www.mlg.ru/> (дата обращения: 08.12.2015).
11. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / отв. ред. А.В. Суперанская. М.: Наука, 1988. 192 с.
12. Коньков В.И. Речевые технологии в массовой коммуникации: учеб. пособие. СПб.: СПбГУ, 2015. Ч. 1. 130 с.
13. Швецова-Водка Г.Н. Общая теория документа и книги: учеб. пособие. М.: Рыбари; Киев: Знания, 2009. 487 с.

14. Орлова О.В. Проблемы диалогического взаимодействия в современном медиапространстве // Коммуникативная стилистика текста: лексическая регулятивность в текстовой деятельности / под ред. Н.С. Болотновой. Томск, 2011. С. 368–388.
15. Дускаева Л.Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров / под ред. М.Н. Кожинной. 2-е изд., доп., испр. СПб.: СПбГУ, 2012. 274 с.
16. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / отв. ред. Г.В. Степанов. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014. 144 с.
17. Гавранек Б. Задачи литературного языка и его культура // Пражский лингвистический кружок: сб. ст. / сост., ред. и предисл. Н.А. Кондрашова. М., 1967. С. 338–377.
18. Ирисханова О.К. Игры фокуса в языке. Семантика, синтаксис и прагматика дефокусирования. М.: Языки славянской культуры, 2014. 320 с.
19. Засурский Я.Н. Тенденции функционирования СМИ в современной структуре российского общества // Средства массовой информации России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. Я.Н. Засурского. М., 2008. С. 3–53.
20. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2006. 320 с.
21. Дускаева Л.Р. Языково-стилистические изменения в современных СМИ // Стилистический энциклопедический словарь / под ред. М.Н. Кожинной. М., 2003. С. 664–675.
22. Калинина Е.И. Системно-структурное моделирование внутрижанрового пространства гипержанра «дневник» (на материале британской лингвокультуры): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Кемерово, 2012. 22 с.
23. Пантыкина Т.С. Особенности идиостиля В. Немирова (на материале городской газеты «Кузнецкий рабочий», 2005–2006 гг.) // Социальная работа, реклама и связи с общественностью в новом коммуникативном пространстве: материалы III Всерос. науч.-практ. конф. 19 мая 2006 г. Томск, 2006. С. 297–301.
24. Кронгауз М.А. Публичная интимность // Знамя. 2009. № 12. URL: <http://magazines.russ.ru/znania/2009/12/kr10.html> (дата обращения: 15.03.2016).
25. Яковлева Е.С. Час в русской языковой картине времени // Вопр. языкознания. 1995. № 6. С. 54–76.
26. Яковлева Е.С. Фрагмент русской языковой картины времени // Вопр. языкознания. 1994. № 5. С. 73–89.

ON THE LOCAL HISTORICAL CONCEPTION OF TIME IN THE CITY NEWSPAPER DISCOURSE OF THE LATE 20TH – EARLY 21ST CENTURIES (ON THE MATERIAL OF THE NEWSPAPER *KUZNETSKIY RABOCHIY* SECTIONS)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 49. 52–66. DOI: 10.17223/19986645/49/4

Irina A. Pushkareva, Novokuznetsk Institute – Branch of Kemerovo State University (Novokuznetsk, Russian Federation). E-mail: pia11@yandex.ru

Keywords: axiosphere, regional media discourse, newspaper journalistic text, temporality, memorial and local historical function, local historical focusing.

The aim of the article is to examine features of time conception in the city newspaper *Kuznetskiy rabochiy* (Novokuznetsk) through semantic and stylistic analysis. These features, typical for regional media discourse, are reflected in the newspaper section titles.

Modern stylistics recognizes the category of time as one of the basic characteristics of texts with different genre and stylistic orientation. Semantic and stylistic analysis of temporality in a newspaper journalistic text allows to integrate methods of text stylistics, discourse analysis and axiological linguistics. The article examines features of local historical time conception, specific for regional media discourse and reflected in the system of sections, through semantic and stylistic analysis.

City newspaper discourse is a particular kind of regional media discourse. Its semantic and stylistic specificity is determined by a complex of extralinguistic factors: historical, geographical, ethnic, economic, administrative-territorial. Linguistic and axiological specificity of regional media discourse is based on cooperation between two components of its axiosphere – supra-regional and regional ones. The regional component of the axiological world view reflected in regional media discourse is connected with its particular function: memorial and local historical. Implementation of this function is

related to three communicative principles: close connection with newspaper's own (local) addressee, focus on the region (on the city in the city newspaper), focus on local history.

It is necessary to emphasize two most important features of time conception reflected by sections of the city newspaper *Kuznetskiy rabochiy*. Firstly, according to the principle of focus on the city, time axis in the city newspaper correlates not so much with events of the global or national scale, as with local history, with the present and future of the city. It is especially obvious in the materials published since the second half of the 1980s. Secondly, in comparison with the general purpose of newspapers – to reflect the historical “today”, – the city newspaper discourse pays more attention to the events of the past. It can be explained by the memorial and local historical function, specific for the regional media discourse axiosphere.

After perestroika, sections of the city newspaper *Kuznetskiy rabochiy* continue and develop traditions founded in the edition during the first half of 1980s. Newspaper sections embody two main directions of the city's fate and its unique local flavor comprehension: history of the city and history of the family. Lexical representatives of temporal semantics used in section titles, as well as semantic and stylistic features of texts represented in those sections, are connected with the memorial and local historical function which influences the conception of time in the city newspaper discourse and determines the linguistic and axiological specificity of regional media discourse.

References

1. Shmeleva, T.V. (1997) Model' rechevogo zhanra [Model of the speech genre]. In: Gol'din, V.E. (ed.) *Zhanry rechi* [Genres of speech]. Saratov: Kolledzh.
2. Matveeva, T.V. (1990) *Funktsional'nye stili v aspekte tekstovykh kategoriy: Sinkhronno-sopostavitel'nyy ocherk* [Functional styles in the aspect of text categories: Synchronic comparative essay]. Sverdlovsk: Ural State University.
3. Kupina, N.A. & Matveeva, T.V. (2013) *Stilistika sovremennogo russkogo yazyka* [Stylistics of the modern Russian language]. Moscow: Yurayt.
4. Kozhina, M.N. (1983) *Stilistika russkogo yazyka* [Stylistics of the Russian language]. 2nd ed. Moscow: Prosveshchenie.
5. Zhilyakova, N.V. (2011) *Zhurnalistika goroda Tomska (XIX – nachalo XX veka): stanovlenie i razvitiye* [Journalism of the city of Tomsk (the 19th – early 20th centuries): formation and development]. Tomsk: Tomsk State University.
6. Likhachev, D.S. (1991) *Razdum'ya* [Meditations]. Moscow: Det. lit.
7. Voronova, O.A. (2007) Mestnaya gazeta: modeli i tipazhi [Local newspaper: models and types]. In: Shkondin, M.V. & Resnyanskaya, L.L. (eds) *Tipologiya periodicheskoy pechati* [Typology of the periodical press]. Moscow: Aspekt Press.
8. Shkondin, M.V. (2007) Periodicheskaya pechat': sistemnye osnovy tipologii [Periodical press: Systemic fundamentals of typology]. In: Shkondin, M.V. & Resnyanskaya, L.L. (eds) *Tipologiya periodicheskoy pechati* [Typology of the periodical press]. Moscow: Aspekt Press.
9. *Kuznetskiy rabochiy*. [Online] Available from: <http://www.kuzrab.ru/about/>. (Accessed: 08.12.2015).
10. *Medialogiya* [Medialogy]. [Online] Available from: <http://www.mlg.ru/>. (Accessed: 08.12.2015).
11. Podol'skaya, N.V. (1988) *Slovar' russkoy onomasticheskoy terminologii* [Dictionary of Russian onomastic terminology]. Moscow: Nauka.
12. Kon'kov, V.I. (2015) *Rechevye tekhnologii v massovoy kommunikatsii* [Speech technologies in mass communication]. Vol. 1. St. Petersburg: St. Petersburg State University.
13. Shvetsova-Vodka, G.N. (2009) *Obshchaya teoriya dokumenta i knigi* [General theory of the document and the book]. Moscow: Rybari; Kiev: Znaniya.
14. Orlova, O.V. (2011) Problemy dialogicheskogo vzaimodeystviya v sovremennoy mediaprostranstve [Problems of dialogical interaction in modern media space]. In: Bolotnova, N.S. (ed.) *Kommunikativnaya stilistika teksta: leksicheskaya regul'yativnost' v tekstovoy deyatelnosti* [Communicative text stylistics: lexical regulativity in textual activity]. Tomsk: Tomsk State Pedagogical University.
15. Duskaeva, L.R. (2012) *Dialogicheskaya priroda gazetnykh rechevykh zhanrov* [Dialogue nature of newspaper speech genres]. 2nd ed. St. Petersburg: St. Petersburg State University.
16. Gal'perin, I.R. (2014) *Tekst kak ob'ekt lingvisticheskogo issledovaniya* [Text as an object of linguistic research]. Moscow: Knizhnyy dom “LIBROKOM”.

17. Gavranek, B. (1967) *Zadachi literaturnogo yazyka i ego kul'tura* [The objectives of the literary language and its culture]. In: Kondrashova, N.A. (ed.) *Prazhskiy lingvisticheskiy kruzhok* [Prague Linguistic Circle]. Moscow: Progress.
18. Iriskhanova, O.K. (2014) *Igry fokusa v yazyke. Semantika, sintaksis i pragmatika defokusirovaniya* [Games of focus in the language. Semantics, syntax and pragmatics of defocusing]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
19. Zasurskiy, Ya.N. (2008) *Tendentsii funktsionirovaniya SMI v sovremennoy strukture rossiyskogo obshchestva* [Tendencies of the functioning of the media in the modern structure of Russian society]. In: Zasurskiy, Ya.N. (ed.) *Sredstva massovoy informatsii Rossii* [Mass media of Russia]. Moscow: Aspekt Press.
20. Tertychnyy, A.A. (2006) *Zhanry periodicheskoy pechati* [Genres of periodicals]. Moscow: Aspekt Press.
21. Duskaeva, L.R. (2003) *Yazykovo-stilisticheskie izmeneniya v sovremennykh SMI* [Linguistic and stylistic changes in modern media]. In: Kozhina, M.N. (ed.) *Stilisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar'* [Stylistic encyclopaedic dictionary]. Moscow: Flinta: Nauka.
22. Kalinina, E.I. (2012) *Sistemno-strukturnoe modelirovanie vnutrizhanrovogo prostranstva giperzhanra "dnevnik" (na materiale britanskoy lingvokul'tury)* [System-structural modeling of the intrageneric space of the hypergenre "diary" (on the material of the British linguistic culture)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Kemerovo.
23. Pantykina, T.S. (2006) [Features of idiostyle of V. Nemirov (on the material of the city newspaper *Kuznetskiy Rabochiy*, 2005–2006)]. *Sotsial'naya rabota, reklama i svyazi s obshchestvennost'yu v novom kommunikativnom prostranstve* [Social work, advertising and public relations in the new communicative space]. Proceedings of the III All-Russian conference. Tomsk. 19 May 2006. Tomsk: RSUH Branch in Tomsk. pp. 297–301. (In Russian).
24. Krongauz, M.A. (2009) *Publichnaya intimnost'* [Public intimacy]. *Znanya*. 12. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/znania/2009/12/kr10.html>. (Accessed: 15.03.2016).
25. Yakovleva, E.S. (1995) *Chas v russkoy yazykovoy kartine vremeni* [An hour in the Russian language picture of time]. *Voprosy yazykoznaviya*. 6. pp. 54–76.
26. Yakovleva, E.S. (1994) *Fragment russkoy yazykovoy kartiny vremeni* [Fragment of the Russian language picture of time]. *Voprosy yazykoznaviya*. 5. pp. 73–89.

УДК 81'42

DOI: 10.17223/19986645/49/5

К.С. Шиляев, Е.Ю. Ершова

КОГНИТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ДЕЙКСИСА В РАССКАЗЕ Х. КОРТАСАРА «ОСТРОВ В ПОЛДЕНЬ»¹

Статья посвящена описанию функционирования текстовой категории дейксиса в когнитивном аспекте на материале рассказа Х. Кортасара. Исследование выполнено в рамках направления когнитивной поэтики, нацеленного на интерпретацию художественных текстов методами когнитивной лингвистики. Выявляется когнитивная роль языковых средств выражения дейксиса в формировании читательского прочтения, осуществляется когнитивное моделирование его фрагментов при помощи теории ментальных пространств и теории концептуальной интеграции.

Ключевые слова: когнитивная поэтика, дейксис, ментальные пространства, бленд, Х. Кортасар.

1. Творчество Х. Кортасара как объект когнитивной поэтики

Настоящее исследование проводится в русле когнитивной поэтики и посвящено анализу творчества выдающегося латиноамериканского писателя Хулио Кортасара. Когнитивная поэтика является относительно новым, активно развивающимся в последние десятилетия направлением и находится на пересечении когнитивной лингвистики, лингвистики текста и литературоведения. Суть этого направления состоит в применении принципов и методов когнитивной лингвистики к интерпретации художественного текста. Исследователей интересует когнитивное моделирование *читательского прочтения*: каким образом его формируют составляющие текста разного порядка (от отдельных лексем до сложных семантических и структурно-композиционных образований) и как достигается определенный художественный эффект. Среди основных ученых принято отмечать P. Stockwell, E. Semino, J. Gavins, R. Tsur и др.; в российской науке с когнитивной поэтикой себя идентифицируют Д.Н. Ахапкин, Э.Г. Новикова, А.М. Нурбаева и др.

С позиций когнитивной поэтики текст представляет собой завершенную с точки зрения его создателя, но открытую для реципиента последовательность языковых знаков. Такой подход согласуется с критическими концепциями, которые постулируют бесконечность и произвольность интерпретации текста читателем, наделяют его «нерушимым правом» вкладывать смысл в текст. Это особенно актуально при исследовании авторов XX–XXI вв., так как в своих текстах они редко выражают оценочное мнение эксплицитно. Намерение автора и смысл текста не лежат на поверхности, а пространство для интерпретации становится бесконечным.

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (грант № 14.Y26.31.0014).

Представляется, что для моделирования когнитивных аспектов интерпретации такого текста требуется применение методов моделирования динамического построения значения фрагментов дискурса: таким образом возможны поэтапная демонстрация построения читательского прочтения, фиксация определенных фрагментов когниции, вызванных текстом, и их сравнительный анализ в случае множественных интерпретаций.

Хулио Кортасар (Julio Cortázar, 1914–1984) является одним из выдающихся мастеров латиноамериканской и мировой литературы XX в. Значительную часть его наследия составляют сборники рассказов. Выбранный в данной работе рассказ – «Остров в полдень» («La isla al mediodía») – входит в сборник «Все огни – огонь» («Todos los fuegos el fuego»), опубликованный в 1966 г. Этот сборник относится к зрелому периоду творчества писателя и характеризуется более совершенной техникой и экспериментальным стилем [Кортасар, 2001].

Структура произведений Кортасара открыта, незамкнута, а концовки зачастую двусмысленны, что открывает широкое пространство для интерпретации [История литератур Латинской Америки, 2005. С. 420]. Для многих произведений писателя характерен интерес к взаимодействию реального и фантастического, к параллельным реальностям, обуславливающим особое использование автором дейктических маркеров. Это предопределило наше обращение к категории дейксиса и его когнитивной репрезентации с помощью теории ментальных пространств и блендов: с помощью анализа функции дейксиса в русле когнитивной лингвистики мы надеемся показать, как возникают эффекты «замешательства», «спутанности» при чтении данного художественного текста.

Под дейксисом в лингвистике традиционно понимается «функция указания, соотнесения с лицами, предметами или событиями, находящимися в определенном отношении к говорящему лицу или моменту речи» [Жеребило, 2010]. В анализе текста Х. Кортасара нас будут интересовать следующие типы дейксиса, выделенные П. Стоквеллом [Stockwell, 2002. С. 45–46] как характерные для художественного текста:

- перцептивный дейксис, который включает слова и выражения, относящиеся к воспринимающим участникам дискурса, в том числе личные и указательные местоимения, определенные артикли и референцию, ментальные состояния;
- пространственный дейксис – слова и выражения, обозначающие местоположение дейктического центра в пространстве, включая наречия места, локативы, указательные местоимения и глаголы движения;
- временной дейксис – слова и выражения, обозначающие местоположение дейктического центра во времени, включая наречия времени, локативы и др.;
- реляционный дейксис – слова и выражения, которые кодируют общественную перспективу, а также отношения между авторами, повествователями, персонажами и читателями (например, модальность, выражение точки зрения, слова с оценочным значением и др.);

- текстовый дейксис – слова и выражения, которые актуализируют текстуальность: название глав, деление на абзацы, отсылки к другим частям текста и к самому тексту и пр.;

- композиционный дейксис – аспекты текста, которые выделяют его жанровый тип или литературные условности, доступные для читателя с должной степенью литературной компетентности.

Роль дейксиса в художественном тексте очень важна. Б.А. Успенский [Успенский, 1970] отмечает ключевую роль точек зрения (которые могут регулярно выражаться лингвистическими маркерами [Падучева, 1996]) в построении композиции произведения. Когнитивное моделирование функции дейксиса предполагает исследование дейктической составляющей текста на уровне его отражения в сознании читателя, что, как нам представляется, коррелирует с психологическим планом повествования, выделенным Б.А. Успенским. Сигналами для построения структур когниции, отвечающих за интерпретацию художественного текста, являются, в свою очередь, единицы языка, соотносимые с планом фразеологии и пространственно-временной характеристики. Аналогичным образом с предлагаемым когнитивным анализом соотносится понятие перспективации [Шмид, 2003], фокализации [Женетт, 1998; Тюпа, 2009].

Сходным понятием в когнитивной поэтике является *дейктическая проекция* (deictic projection), благодаря которой читатель может перемещать дейктический центр и принимать разные субъективные роли [Stockwell, 2002. С. 43–47]. Эта способность позволяет не только принять точку обзора других людей, но и увидеть мир в пространстве художественного дискурса глазами персонажей, что, несомненно, имеет большое значение при чтении литературы. Дейктические центры могут перемещаться, меняться во время повествования, а вместе с ними перемещается и взгляд читателя, меняются его восприятие и точка обзора [Deixis in narrative, 1995].

Под дейктическим сдвигом понимается способность читателя интерпретировать дейктические выражения, относящиеся к смещенному дейктическому центру. Дейктический центр читателя перемещается из реального мира в мир художественного произведения и таким образом влияет на создание перспективы читателя. В процессе чтения читатель может «смотреть глазами» персонажа или рассказчика и с этой позиции конструировать богатый контекст при помощи дейктических маркеров. Наиболее удобным инструментом для представления дейктических сдвигов в сознании читателя мы считаем ментальные пространства.

С точки зрения когнитивной лингвистики при восприятии текста в сознании говорящих образуются *ментальные пространства* – концептуальные поля, которые обладают сложным строением, но являются временными структурами, хранящимися в оперативной памяти говорящих. Ментальные пространства постоянно модифицируются, между ними устанавливаются разнообразны связи, благодаря которым говорящие могут возвращаться к пространствам, возникавшим в дискурсе ранее. Таким образом, в рамках данной теории значение возникает в результате динамического процесса построения значения, которое называется концептуализацией [Evans, 2006. С. 363; Fauconnier, 1997. С. 11].

На схеме ментальные пространства могут быть представлены как упорядоченные множества с элементами (a, b, c...) и отношениями между ними (R_{1ab} , R_{2a} , R_{3cbf} ...), открытые для пополнения новыми элементами и установления новых отношений между ними соответственно [Fauconnier, 1994. С. 16]. Таким образом они будут представлены на рисунках во второй части статьи, но с использованием содержательных ярлыков.

Ментальные пространства устанавливаются с помощью *конструкторов пространства* (space builders), которые являются единицами языка, либо ведущими к построению нового ментального пространства, либо отсылающими к сформированным ранее пространствам. Конструкторы пространства среди прочего могут представлять собой предложные группы (*в 1989 году, на фабрике, по мнению Джона, с его точки зрения*), наречия (*возможно, теоретически, действительно*), соединительные слова и конструкции (*если..., то...*), сочетания подлежащего и сказуемого (*Макс считает, Мэри надеется*) [Fauconnier, 1994. С. 17]. Особенность конструкторов пространства заключается в том, что они требуют от слушателя формирования сценария, выходящего за временные и пространственные рамки текущего дискурса: этот сценарий может отображать реальность, относящуюся к прошлому или будущему, какому-то другому месту, гипотетическим ситуациям, ситуациям, отражающим чьи-то идеи и убеждения и т. д. [Evans, 2006. С. 371].

Кроме конструкторов пространства, ментальные пространства содержат *элементы*, которые либо возникают во время дискурса, либо являются единицами, уже существовавшими в концептуальной системе. Элементы ментального пространства представлены именными группами, включающими имена, описательные конструкции и местоимения [Evans, 2006. С. 371–372].

Каждое новое сформированное ментальное пространство соединяется с другими, установленными во время дискурса ранее. Одно из ментальных пространств является *базовым* (base space, В на рисунках), т.е. тем, которое доступно для конструкции нового ментального пространства. Базовое пространство представляет на определенном этапе дискурса начальную точку, к которой дискурс может вернуться. *Точкой обзора* (viewpoint, V) называют ментальное пространство, из которого в данный момент рассматривается дискурс и из которого строятся новые ментальные пространства. *Фокусным* (focus, F) является пространство, в которое добавляются новые элементы содержания. Оно, как правило, совпадает с пространством *текущих событий* (event, E). По мере развития дискурса статус ментальных пространств меняется – это отражение дейктического смещения, вызванного соответствующими маркерами в тексте (повествовательным временем, местоимениями и т. п.) [Evans, 2006. С. 389; Fauconnier, 1994. С. 11].

В рамках когнитивной семантики для демонстрации функционирования ментальных пространств анализируются отдельные предложения или группы предложений. Однако согласно П. Стоквеллу теория ментальных пространств может быть расширена для анализа целых художественных текстов в рамках когнитивной поэтики. Теория ментальных пространств предлагает последовательный метод для моделирования референции, кореференции, осмысления повествования и когнитивного описания текстовых событий, какими бы они ни являлись: происходящими в настоящее время, историческими, вымыш-

ленными, гипотетическими или соотнесенными с текущим дискурсом [Stockwell, 2002. С. 96].

Теория ментальных пространств Фоконье была впоследствии расширена Фоконье и Марком Тернером и дала начало *теории концептуального смешения* (Conceptual Blending Theory), или *теории блендов* [Fauconnier, 2002].

Теория концептуального смешения тесно связана с теорией ментальных пространств: она использует конструкцию ментальных пространств как часть своей архитектуры и ее центральной проблемой тоже являются динамические аспекты построения значения. Важной особенностью теории концептуального смешения является то, что, согласно ей, построение значения обычно включает интеграцию структуры, которая в результате дает нечто большее, чем сумма своих частей [Evans, 2006. С. 400].

В основе процесса концептуального смешения лежит конструкция двух частично совпадающих между собой *исходных ментальных пространств* (input mental spaces), каждое из которых выборочно проецирует часть своих элементов в новое «смешанное» ментальное пространство (blended space), которое затем динамично развивает свою собственную структуру [Fauconnier, 2003. С. 57–58]. Смешанное пространство (бленд) не выводится напрямую из всех составляющих исходных пространств: оно заимствует только часть их структуры и не тождественно ни одному из них. Кроме смешанных и исходных ментальных пространств, структура концептуальной интеграции также включает *общие пространства* (generic spaces), которые содержат общие для исходных пространств элементы.

Бленд – это механизм, с помощью которого объединяются свойства двух ментальных пространств, и мы полагаем, что он может быть особенно полезен при когнитивном моделировании попытки читателя интегрировать противоречивые ментальные пространства. Эта противоречивость в часто непредсказуемых текстах Х. Кортасара вызывается в первую очередь «дейктическими играми» латиноамериканского автора.

2. Когнитивная функция дейксиса в рассказе «Остров в полдень»

В рассказе «Остров в полдень» («La isla al mediodía»; входит в сборник «Все огни – огонь» «Todos los fuegos el fuego») вымысел помещен внутри вымысла («a fiction within a fiction») [Standish, 2001. С. 37]. Реальный мир и воображаемый в нем смешиваются, и в итоге читателю сложно установить отношения между ними и понять, какой же из миров внутри художественного текста реален. Далее постараемся дать трактовку механизма возникновения этого когнитивного затруднения в рамках теории ментальных пространств.

Рассказ повествует о человеке по имени Марини, работающем стюардом. Однажды, когда в полдень самолет пролетает над Эгейским морем, Марини замечает через иллюминатор маленький остров и становится одержим им. Его обыденная жизнь становится для него всё более блеклой и лишенной ощущения реалистичности. Марини мечтает о том, как приедет на остров, и однажды эти мечты настолько захватывают его сознание, что становится сложно определить, описывает ли Кортасар представления Марини о своей

поездке на остров, или герой действительно оказался на острове, а автор рассказывает о его пребывании там.

Дальнейший анализ продемонстрирует, как по мере развития сюжета строятся и развиваются ментальные пространства, в какой момент и почему они вступают в конфликт, как этот конфликт разрешается и как когнитивная динамика ментальных пространств отражает множественность возможных интерпретаций.

Рассказ начинается с фразы: *La primera vez que vio la isla, Marini estaba cortésmente inclinado sobre los asientos de la izquierda, ajustando la mesa de plástico antes de instalar la bandeja del almuerzo* (Впервые Марини увидел остров, когда, склонившись над креслами левого борта, прилаживал пластмассовый столик, чтобы поставить на него поднос с завтраком¹). Базовое ментальное пространство, которое строится с самого начала повествования, включает в себя самолет, в котором находится Марини и из которого можно увидеть остров, расположенный в море. Хотя в тексте нет точного указания, что действие происходит в самолете (нет самого слова *самолет*), другие элементы ментального пространства указывают на то, где происходит действие: например, *steward* (стюард), *óvalo azul de la ventanilla* (голубой овал иллюминатора). Сам Марини тоже является элементом этого ментального пространства. Кроме того, Марини представляет дейктический центр повествования, несмотря на то, что оно ведется от третьего лица. Это делает дейксис менее эгоцентричным, но не лишает читателя возможности дейктической проекции для восприятия текста от лица главного героя.

Другое ментальное пространство, которое строится и развивается на протяжении повествования, – это мечты Марини об острове. Хотя сам остров в дискурсе рассказа абсолютно реален, ментальное пространство с ним представляет собой именно мечты, мысли, представления главного героя о нем, а не сам остров как географический объект. Это ментальное пространство строится с помощью таких фраз, как *Pero Marini siguió pensando en la isla...* (Но Марини по-прежнему лишь мечтал об острове...).

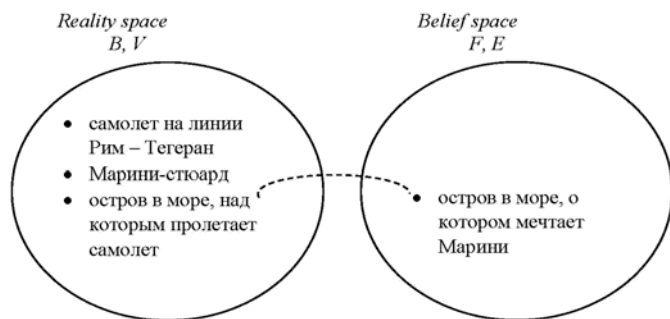


Рис. 1. Пространство реальности и пространство представлений героя в начале рассказа

Fig. 1. The protagonist's reality space and belief space in the first pages of the story

¹ Здесь и далее перевод С. Змеева.

Ментальное пространство представлений главного героя об острове (belief space на рис. 1) развивается по мере того, как Марини узнает новые сведения об острове, часть из которых он получает из собственных наблюдений во время полетов, а другую – из географических книг и атласов. Всё, что Марини видит и узнает об острове, становится элементами ментального пространства, тем самым развивая и усложняя его структуру.

Сначала остров предстает маленькой и безлюдной полоской земли в море, у которой даже нет имени. После Марини узнает название острова: *No era Horos sino Xiros, una de las muchas islas al margen de los circuitos turísticos* (Это был не Хорос, а Ксирос, один из многих островов, которые пока оставались в стороне от туристских маршрутов). В одной книге Марини находит много сведений об истории и географии острова: узнает, что на западном берегу остались следы греческой колонии (*hacia el oeste quedaban huellas de una colonia lidia o quizá cretomicénica*), что основным источником существования горстки жителей являются осьминоги (*los pulpos eran el recurso principal del puñado de habitantes*) и т. д.

Таким образом, ментальное пространство представлений об острове, которое изначально содержало только информацию о примерном местоположении и форме острова, теперь содержит больше элементов (рис. 2):



Рис. 2. Ментальное пространство представлений об острове к середине рассказа
Fig. 2. Mental space containing beliefs about the island as the story unfolds

Между тем мир, в котором живет Марини, напротив, становится для него всё более нереальным. Фраза *...volar tres veces por semana a mediodía sobre Xiros era tan irreal como soñar tres veces por semana que volaba a mediodía sobre Xiros* (...Три раза в неделю пролетать в полдень над Ксиросом было так же нереально, как три раза в неделю грезить, что пролетаешь в полдень над Ксиросом) приравнивает реальность к мечте, стирая в сознании читателя разницу между ментальным пространством реальности (reality space) и пространством представлений (belief space).

Остров всё больше захватывает сознание Марини. Когда одна из его подруг сообщает ему, что беременна, это нисколько его не задевает (вероятно, чтобы передать незаинтересованность Марини, его сосредоточенность на своих мечтах об острове, а не на разговоре с подругой, автор даже не приводит в тексте слов девушки: то, что она тогда сообщила ему о своей беременности, становится ясно из контекста позднее). *La desconcertada decepción de Carla no lo inquietó; la costa sur de Xiros era inhabitable pero hacia el oeste quedaban huellas de una colonia lidia o quizá cretomicénica...* (Недоумение и разочарование Карлы его не смущали. Южный берег Ксироса был необитаем, но на западном остались следы еще лидийской или, быть может, крито-микенской колонии...). Путем использования пунктуации (точка с запятой в оригинале подразумевает наличие хотя бы слабой связи с ранее сказанным [Ortografía de la lengua Española, 2010]), Х. Кортасар нарушает когезию повествования: автор объединяет в одно предложение две несвязанные идеи. Тем самым Кортасар показывает, что посреди беседы Марини мысленно уходит в мир своих представлений и грез о Ксиросе и перестает воспринимать окружающую его действительность.

Тот же прием Кортасар использует в тексте еще несколько раз: каждый раз главный герой в одно мгновение переносится из реальности в свои мечты об острове. Для читателя же это означает перемещение между двумя ментальными пространствами, причем эти перемещения происходят неожиданно, без каких-либо фраз, пунктуационного или абзацного членения, указывающего на переход. Читатель понимает, что речь идет об острове либо по прямым указаниям на него в тексте (в предыдущем примере за фразой о Карле следует *la costa sur de Xiros* (южный берег Ксироса), либо по лексемам, которые связаны с островом в его ментальном пространстве, как *осьминоги* и *жители* в следующем примере: *A Carla le dolía la cabeza y se marchó casi enseguida; los pulpos eran el recurso principal del puñado de habitantes...* (У Карлы разболелась голова, и она вскоре ушла. *Осьминоги* были основным источником существования горстки *жителей*...). В сознании читателя постоянно происходят сдвиги от одного дейктического поля к другому: от описания жизни Марини к описанию острова. Интересно заметить, что в русском переводе вместо точки с запятой в обоих примерах выше использовали точку. Это создало более четкие границы между миром реальности и мечтами об острове и тем самым отчасти облегчило восприятие текста для читателя, однако, возможно, нарушило замысел автора, который хотел показать, как плавно, незаметно и неожиданно Марини уходит из действительности в свои мечты.

Время в рассказе становится всё более неопределенной категорией. Один из абзацев начинается со слов: *Ocho o nueve semanas después* (Восемь-девять недель спустя), а следующий за ним: *Con el tiempo...* (Со временем...). Однако абзац, в котором описывается, как Марини переносится на остров (в воображении или на самом деле), начинается с указания на определенный день: *Ese día* (В этот день), что может привлечь внимание читателя. Следующие предложения этого абзаца наиболее интересны для анализа, так как от их прочтения зависит понимание рассказа целиком.

*Con los labios pegados al vidrio, sonrió pensando que **treparía** hasta la mancha verde, que **entraría** desnudo en el mar de las caletas del norte, que **pescaría** pulpos con los hombres, entendiéndose por señas y por risas. Nada era difícil una vez decidido, un tren nocturno, un primer barco, otro barco viejo y sucio, la escala en Rynos, la negociación interminable con el capitán de la falúa, la noche en el puente, pegado a las estrellas, el sabor del anís y del carnero, el amanecer entre las islas. **Desembarcó** con las primeras luces, y el capitán lo **presentó** a un viejo que debía ser el patriarca.*

*Прижавшись к стеклу губами, он улыбнулся, **представив себе, как станет** взбираться на зеленое пятно мыса, нагишом купаться в северных бухточках, как вместе с рыбаками **будет** ловить осьминогов, объясняясь при помощи жестов и улыбок. Если решиться, ничто не покажется таким уж трудным. Ночной поезд, сначала один пароходик, потом другой, старый и грязный, пересадка на Риносе, нескончаемый торг с капитаном фелюги, ночь на мостике, под самыми звездами, вкус аниса и баранины, рассвет среди островов. **Он сошел** на берег с первыми лучами солнца, и капитан **представил** его старику, видимо местному старейшине.*

В первом предложении из базового ментального пространства реальности (reality space) мы переносимся в другое при помощи слов *pensando que*, которые устанавливают ментальное пространство представлений об острове (belief space) — его нереальность также выражается глаголами в условном наклонении (*treparía, entraría, pescaría*). Однако в последнем предложении условное наклонение (Condicional Simple) неожиданно сменяют глаголы в прошедшем времени (Pretérito Indefinido), которое описывает однократные, законченные действия и события в прошлом. Это ведет к смене модальности повествования и подмене автором статуса ментальных пространств. С этого момента повествование выглядит не как представления главного героя об острове, а как описание его физического пребывания там. Таким образом, в новом ментальном пространстве Ксирос является не объектом представлений главного героя, а тем местом, где он находится в данный момент. На рис. 3 под номером один представлены два ментальных пространства, сформировавшихся с самого начала рассказа. Под номером два представлено ментальное пространство, которое образовалось из ментального пространства представлений (belief space) на первой схеме в результате смены модальности повествования.

Механизм данного перехода реализован через стиль, создаваемый путем номинализации. Между предложением в условном наклонении и предложением в прошедшем времени есть одно (в русском переводе это целое предложение, в оригинале — часть предложения), в котором глаголы отсутствуют. В нем есть перечисление действий, выраженное существительными (в функции подлежащих): эти действия нужно предпринять главному герою, чтобы попасть на остров. Но без глаголов в личной форме читателю сложно понять, предпринял ли Марини эти действия на самом деле или только обдумывал их, так как существительные не выражают ни время, ни наклонение: в них нет указания на то, произошло ли событие в прошлом (прошедшее время) или происходит сейчас (настоящее время), совершилось оно (изъявительное наклонение) или было в планах (условное наклонение). Переход между ус-

ловным наклонением и изъяснительным получается плавным и одновременно быстрым благодаря этому предложению, в котором наклонение никак не выражено. Автор сохраняет в тексте когезию, однако в этой связности, плавности повествования можно увидеть способ «обмануть» читателя, заставить его поверить в то, что главный герой действительно прибыл на остров, о котором мечтал.

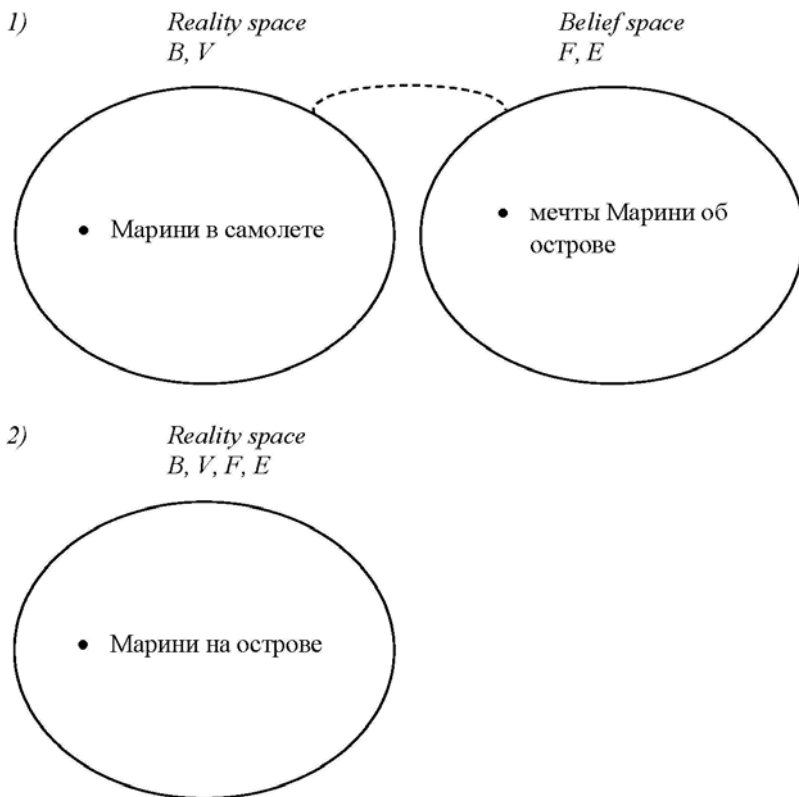


Рис. 3. Возникновение нового пространства как результат смены модальности в тексте
Fig. 3. New reality space emerging as a result of a modal deictic shift

Дальнейшее повествование описывает пребывание Марини на острове; оно целиком написано в изъяснительном наклонении с помощью прошедшего времени, что актуализирует в сознании читателя пространство текстовой реальности (а не вымысла Марини). Сложно не поверить в действительность происходящего: Кортасар ярко и живо описывает то, что Марини видит и ощущает, и всё это встраивается в новое ментальное пространство реальности, обозначенное на схеме выше. В конце рассказа Марини, находящийся на острове, ровно в полдень видит пролетающий над ним самолет (в котором он должен был работать стюардом). Самолет падает в море, и Марини, пытаясь спасти хоть кого-нибудь, вытаскивает на берег труп человека. По последним предложениям рассказа становится ясно, что кроме этого трупа и местных жителей на острове никого нет: автор намеренно делает на этом акцент. Сна-

чала местные жители, прибежавшие на берег, удивляются, как этому утонувшему хватило сил *самостоятельно* добраться до суши. Это первый намек на то, что живого Марини на острове нет и никогда не было. В последних двух предложениях это говорится еще более прямо и однозначно: *Klaios miró hacia el mar, buscando algún otro sobreviviente. Pero como siempre estaban solos en la isla, y el cadáver de ojos abiertos era lo único nuevo entre ellos y el mar* (Но никого не было видно, как всегда, они были на острове одни, и **только** безжизненное тело с открытыми глазами распростерлось у их ног). В оригинале автор несколько раз делает акцент на том, что на острове больше никого нет. Это противоречит сложившемуся у читателя ранее представлению о ментальном пространстве, которое содержало главного героя на острове и, как следствие, приводит читателя в замешательство.

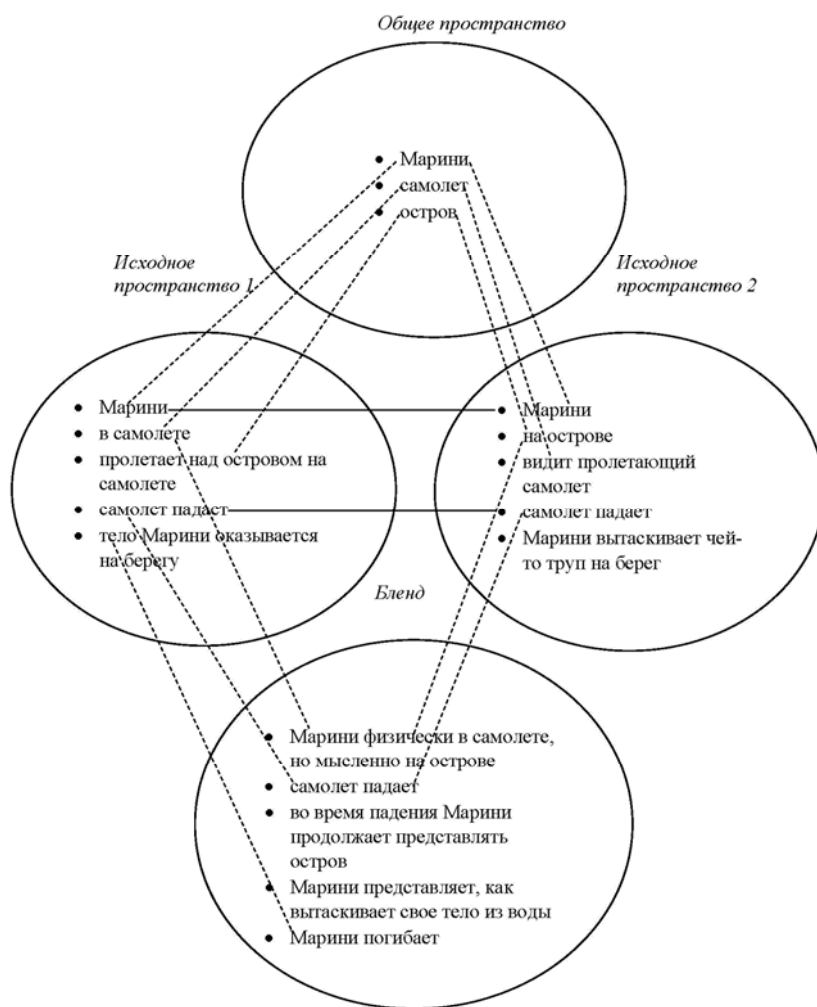


Рис. 4. Бленд, моделирующий одно из прочтений финала

Fig. 4. Blend modeling one of the possible readings of the story's denouement

Из текста можно практически однозначно заключить, что Марини никогда не посещал остров на самом деле, однако сложнее понять, было ли крушение самолета настоящим или это тоже была греза главного героя (в этом случае «греза в грезе»)? На последних страницах рассказа создается впечатление, что мертвое тело, которое Марини вытащил на берег, – это и есть Марини [Standish, 2001. С. 64]. Данное обстоятельство нарушает все построенные ранее ментальные пространства и отношения между ними, создавая *бленд*, в котором смешаны элементы всех пространств (рис. 4). Кроме того, основные категории дейксиса («я», «здесь» и «сейчас») тоже оказываются нарушены, так как в тексте на время возникают два «я», а потом одно из них (Марини, который побывал на острове живым и вытащил из воды тело) полностью исчезает, будто его никогда не существовало.

Данный бленд – один из вариантов прочтения, который формируется, если читатель выводит из текста, что самолет упал на самом деле, а Марини погиб, так и не побывав на острове при жизни. Мечты главного героя об острове достигли такой степени реалистичности, что полностью заменили ему действительность.

Если же читатель на основании текста решает, что крушение самолета было «грезой в грезе» главного героя, то ментальные пространства формируются по-другому: остров остается в ментальном пространстве представлений (*belief space*) и не формирует новое базовое пространство реальности (*reality space*). Данный вариант графически представлен на рис. 5.

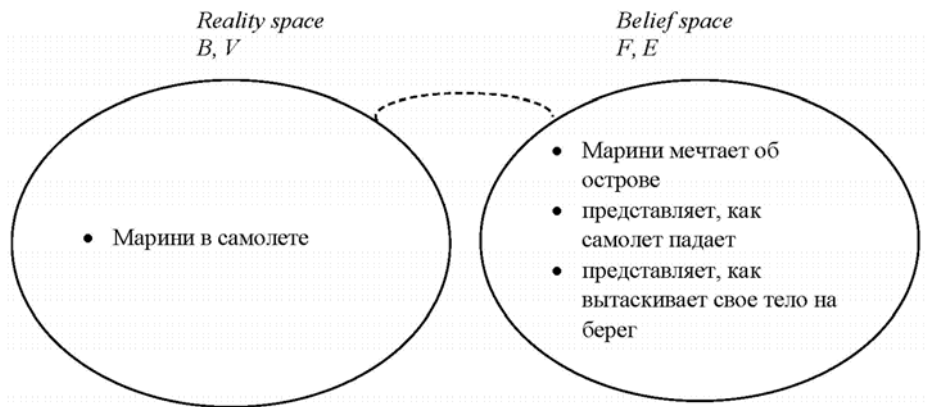


Рис. 5. Ментальные пространства альтернативного прочтения
Fig. 5. Mental spaces that model an alternative reading

Использование Х. Кортасаром «вымысла внутри вымысла» или «грезы внутри грезы» позволяет показать, что обе реальности одинаково «вымышлены» и та, которую мы воспринимали как истинную действительность, заслуживает не больше доверия, чем другая. В этом приеме проявляется интерес Кортасара к взаимодействию фантастического и реального, к их взаимопроникновению. На уровне текста, читателю предоставляется выбор прочтений: когнитивное напряжение, вызванное присутствием конфликтных ментальных

пространств, должно быть снято путем установления непротиворечивых статусов (одна реальность и один вымысел, рис. 5) либо путем создания смешанного пространства – бленда (см. рис. 4).

3. Заключение: игра с читателем – игра с когницией

Таким образом, в рассказе «Остров в полдень» Х. Кортасар создает возможность множественной интерпретации с помощью модификации текстового, реляционного и других видов дейксиса: например, разделяя совершенно не связанные между собой части предложения точкой с запятой, благодаря которой переход от одной части к другой становится неожиданным и обращает на себя внимание. Другим приемом является последовательный переход от условного наклонения, выражающего нереальность происходящего, к отсутствующему наклонению, которое дает читателю возможность самому придать событиям (ментальному пространству, в котором они разворачиваются) статус реальности или нереальности, и, наконец, к изъяснительному наклонению, утверждающему действительность происходящего.

Во время чтения рассказа в сознании читателя конструируются ментальные пространства, содержание и статус которых меняется – в некоторых случаях радикально, как в конце рассказа, когда читателю может прийти в голову мысль, что главный герой никогда не покидал самолет. Эта идея меняет отношения между сформированными ментальными пространствами, возвращая ментальному пространству, содержащему главного героя на острове (reality space), характеристику нереальности. Кроме этого, вследствие неоднозначности и многоплановости повествования в сознании читателя могут формироваться интегрированные ментальные пространства, то есть бленды, содержащие элементы разных пространств. Например, сначала читатель считает, что главный герой на самом деле оказался на острове, увидел падение самолета и вытащил на берег чье-то тело, но затем, после прочтения всего рассказа, мнение читателя меняется: он приходит к выводу, что всё пребывание на острове только привиделось Марини (возможно, оно было его предсмертным видением), а тело, вытащенное на берег, принадлежит самому герою. Два ментальных пространства смешиваются в сознании читателя, и результирующий бленд содержит информацию о главном герое, который находился одновременно в самолете и на острове, вытащил на берег тело и в то же время сам был этим погибшим.

Дейктический центр в рассказе постоянно перемещается между реальной жизнью Марини и воображаемым миром острова. Момент переключения дейксиса часто бывает резким и неожиданным (как в обсуждаемых выше примерах, где переход от беседы с девушкой к мыслям об острове, т.е. переход от одного дейктического центра к другому, обозначается только точкой с запятой). В конце рассказа дейктический центр расщепляется, раздваивается, создавая в сознании читателя двух Марини, один из которых находится в самолете, а другой – на острове.

Статусы различных, нередко конфликтующих ментальных пространств поддерживаются Кортасаром на протяжении большей части повествования, но затем автор подменяет статус одного из них, превращая ментальное про-

странство представлений в пространство реальности и тем самым запутывая читателя. Бленд, который может сформироваться в сознании читателя в процессе чтения «Острова в полдень», представляет попытку читателя определить статус реальности или нереальности ментальных пространств и объяснить возникновение в рассказе двух Марини.

«Остров в полдень» относится к зрелому периоду творчества Кортасара, характеризуется большой степенью неоднозначности и умышленно сталкивает читателя со значительным количеством трудностей при попытке интерпретации. Намеренный «обман» читателя является одной из граней игры Х. Кортасара: игры с языком произведения и, как следствие, когницией читателя. Мы надеемся, что применение теории ментальных пространств и концептуальной интеграции к этому и другим произведениям поможет раскрыть правила этой игры.

Литература

1. Кортасар Х. Хулио Кортасар: беседы с Эвелин Пикон Гарфилд // Иностранная литература. 2001. №6 [Электронный ресурс]. URL: <http://magazines.russ.ru/inostran/2001/6/kortasbes.html> (дата обращения: 07.02.2017).
2. История литератур Латинской Америки. Т. 5 / под ред. В.Б. Земскова, А.Ф. Кофман. М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 406–450.
3. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. 486 с.
4. Stockwell P. Cognitive poetics: An Introduction. London: Routledge, 2002. 193 p.
5. Успенский Б.А. Поэтика композиции. СПб.: Азбука, 2000. 348 с.
6. Падучева Е.В. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М.: Языки славянской культуры, 1996. 480 с.
7. Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. 312 с.
8. Женетт Ж. Фигуры: в 2 т. М.: Изд-во им. Сабашиных, 1998. 944 с.
9. Тюпа В.И. Анализ художественного текста: учеб. пособие для студентов филол. фак. высш. учеб. заведений. 3-е изд., стер. М.: Изд. центр «Академия», 2009. 336 с.
10. Deixis in narrative: a cognitive science perspective // Ed. by Judith F. Duchan, Gail A. Bruder, Lynne E. Hewitt. New York; London; Routledge, 1995. 522 p.
11. Evans V., Green M. Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh University Press Ltd., 2006. 830 p.
12. Fauconnier G. Mappings in Thought and Language. Cambridge University Press, 1997. 205 p.
13. Fauconnier G. Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural Language. Cambridge University Press, 1994. 190 p.
14. Fauconnier G., Turner M. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities. New York: Basic Books, 2002. 464 p.
15. Fauconnier G., Turner M. Metaphor, Metonymy, and binding // Metaphor and metonymy in comparison and contrast. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2003. P. 133–145.
16. Standish P. Understanding Julio Cortázar. Columbia, University of South Carolina Press, 2001. 222 p.
17. Ortografía de la lengua Española. Real Academia Española, 2010. 790 p.

COGNITIVE POETICS OF DEIXIS IN J. CORTÁZAR'S "LA ISLA AL MEDIODÍA"

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 49. 67–82. DOI: 10.17223/19986645/49/5

Konstantin S. Shilyaev, Elizaveta Yu. Ershova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: shilyaevc@gmail.com / li-veta@list.ru

Keywords: cognitive poetics, mental spaces, blend, deixis, literary text, J. Cortazar.

This paper aims to describe how the textual category of deixis functions in a short story "La isla al mediodía" [The Island at Noon] written by the prominent Argentine writer of the 20th century Julio Cortázar. Cortázar is famous for his short stories many of which have an open-ended structure, a com-

bination of realistic and fantastic elements, and other experimental features providing readers with multiple possibilities for interpretation. The current research is done within the framework of cognitive poetics, which is a relatively new area at the intersection of cognitive linguistics, text linguistics and literary studies. Cognitive poetics applies principles of cognitive science to the interpretation of literary texts.

This paper is concerned with the linguistic means expressing deixis and their cognitive role in the formation of reader's interpretation. Deixis is reference by means of linguistic expressions that require certain context to be understood, and it plays an important role in texts of all types as it helps to maintain their cohesion. However, deixis can play an even more important role in literary texts, where writers manipulate it for various artistic effects that the authors of the paper aim to explore in the current study. The examination of deixis in the short story "La isla al mediodía" is based on the works on poetics by Russian (E.V. Paducheva, B.A. Uspenskiy) and foreign linguists (P. Stockwell).

To provide the cognitive representation of deixis the authors apply the theory of mental spaces and the theory of conceptual integration proposed by J. Fauconnier and M. Turner. These theories allow presenting the conceptual process of meaning formation in the form of models whose architecture includes *mental spaces* representing temporary conceptual domains constructed during discourse, *space builders*, various *elements* with different properties within mental spaces and *relations* between these spaces. According to the theory of conceptual integration, several mental spaces can integrate their structures and form one blended space, or blend. We use blends to provide a cognitive modeling of a reader's attempt to integrate ambiguous mental spaces. This ambiguity of Cortázar's texts is caused primarily by his "deictic plays". The authors find mental spaces and blends to be a good instrument for representation and explanation of possible ways in which readers perceive and interpret such complex and ambiguous texts as Cortázar's "La isla al mediodía".

The authors conclude that J. Cortázar creates the possibility of multiple interpretations in his short story by modifying different types of deixis. During the reading process, mental spaces change their content and status, sometimes dramatically, confusing readers and making them reinterpret the whole story. The deliberate "deception" of readers that Cortázar applies is a part of his play with the language of the text and, as a consequence, with readers' cognition.

References

1. Cortazar, J. (2001) Khulio Kortasar: besedy s Evelin Pikon Garfield [Julio Cortázar: conversations with Evelyn Picon Garfield]. Translated from Spanish by N. Bogomolova. *Inostrannaya literatura*. 6 [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/inostran/2001/6/kortabes.html>. (Accessed 07.02.2017).
2. Zemskov, V.B. & Kofman, A.F. (eds) (2005) *Istoriya literatur Latinskoj Ameriki* [History of literatures of Latin America]. Vol. 5. Moscow: IWL, RAS. pp. 406–450.
3. Zhrebilo, T.V. (2010) *Slovar' lingvisticheskikh terminov* [Dictionary of Linguistic Terms]. Nazran: OOO "Pilgrim".
4. Stockwell, P. (2002) *Cognitive poetics: An Introduction*. London: Routledge.
5. Uspenskiy, B.A. (2000) *Poetika kompozitsii* [Poetics of composition]. St. Petersburg: Azbuka.
6. Paducheva, E.V. (1996) *Semanticheskie issledovaniya. Semantika vremeni i vida v russkom yazyke. Semantika narrativa* [Semantic research. Semantics of time and form in Russian. Semantics of the narrative]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
7. Shmid, V. (2003) *Narratologiya* [Narratology]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
8. Genette, G. (1998) *Figure* [Figures]. In 2 vols. Translated from French by S. Zenkin. Moscow: Izd.-vo im. Sabashnikovoykh.
9. Tyupa, V.I. (2009) *Analiz khudozhestvennogo teksta* [Analysis of the literary text]. 3rd ed. Moscow: Izdatel'skiy tsentr "Akademiya".
10. Duchan, J.F., Bruder, G.A. & Hewitt, L.E. (eds) (1995) *Deixis in narrative: a cognitive science perspective*. New York, London: Routledge.
11. Evans, V. & Green, M. (2006) *Cognitive Linguistics: An Introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.
12. Fauconnier, G. (1997) *Mappings in Thought and Language*. Cambridge University Press.
13. Fauconnier, G. (1994) *Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural Language*. New York: Cambridge University Press.
14. Fauconnier, G. & Turner, M. (2002) *The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities*. New York: Basic Books.

15. Fauconnier, G. & Turner, M. (2003) Metaphor, Metonymy, and binding. In: Dirven, R. & Pörings, R. (eds) *Metaphor and metonymy in comparison and contrast*. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.
16. Standish, P. (2001) *Understanding Julio Cortázar*. Columbia: University of South Carolina Press.
17. Real Academia Española & Asociación de Academias de la Lengua Española. (2010) *Ortografía de la lengua española* [Orthography of the Spanish language]. Madrid: Espasa.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 808.1

DOI: 10.17223/19986645/49/6

И.А. Айзикова

ОБРАЗ СИБИРСКОГО ПИСАТЕЛЯ В ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ Г.Н. ПОТАНИНА И Н.М. ЯДРИНЦЕВА (1870–1900-е гг.)¹

В статье анализируется образ сибирского писателя, созданный в трудах областников Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева 1870–1900-х гг., с помощью которого они производили переворот в сибирском и общерусском общественном сознании, в региональной и отечественной словесности, утверждая новый, региональный подход к пониманию литературы и писательского творчества. Выявляется одно из ярких и показательных воплощений концепции литературного творчества – сибирского автора как типа национального словесного творчества.

Ключевые слова: Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, областничество, сибирская литература, сибирский писатель, сибирский читатель, диалог с общерусскими моделями.

Интерес русской культуры к областничеству, в частности к освоению проблем литературного регионализма в литературной критике и публицистике Сибири, очевиден, что подтверждают и труды старших и младших современников Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева (А. Введенского, А. Дробыш-Дробышевского, В. Вагина, Д. Клеменца, а позднее Н. Чужака, В. Правдухина, В. Зазубрина и др.) и научные работы XX – начала XXI в. (прежде всего, М. Азадовского, В. Трушкина, Н. Яновского, Ю. Постнова, Л. Якимовой, Б.А. Чмыхало, В. Одинокова, Н. Серебренникова, А. Казаркина, К. Анисимова и др.²). Вместе с тем решение вопроса о статусе сибирской литературы и сибирского писателя в общерусской и сибирской культуре и литературе затянулось на многие десятилетия, в значительной мере осложняясь особенностями его постановки. Историко-культурное значение областников, особенно в 1870–1880-е гг., в советский период рассматривалось в рамках дискурса «сепаратизма» как особого явления сибирской культуры и литературы конца XIX – начала XX в. Однако само понятие «сибирская литература» до сих пор не отличается большой определенностью (см.: [1, 3, 4, 6, 9–13] и др.). То же самое, но в более острой форме можно утверждать в отношении сибирского писателя, в образе которого, как представляется, необходимо видеть не сумму некоторых признаков, устанавливаемых по аналогии или в противовес

¹ Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ и администрации Томской области (проект № 17-14-70006 (р), а также научного фонда им. Д.И. Менделеева Томского государственного университета.

² Подробную историю изучения вопроса см.: [1–6], библиографию работ о Г.Н. Потанине см.: [7], о Н.М. Ядринцеве см.: [8].

традиционному образу писателя, в частности русского, а специфическое и в то же время типологическое явление русской и сибирской культуры, исторически сложившуюся систему, в рамках которой активно взаимодействуют понятия «автор», «литература», «читатель». Думается, важно осмыслить не областнические или общерусские модели региональной литературы, регионального автора и регионального читателя, довольно абстрактные, а трансформацию общепринятой семантики данных понятий в процессе их усвоения разными системами культуры: региональной и общерусской.

Названные проблемы, возникшие чуть ли не с самого начала исследования областничества, не потеряли актуальности до настоящего времени. Научный интерес сегодня представляют сибирские, в частности областнические, интерпретации литературы, писателя и читателя как системы, предлагаемой, особенно в 1870-е гг., в качестве специфической, самостоятельно существующей наряду с общерусской. Поскольку в дальнейшем каждый исторический период в России и в Сибири имел свои образы сибирской литературы, сибирского писателя и читателя, можно, помимо борьбы за и против понятий «сибирская словесность», «сибирский автор», «сибирский читатель», наблюдать стремление различно интерпретировать идеи предшественников в этих вопросах, в первую очередь родоначальников областничества Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева¹. Попытаемся заполнить существующий пробел в осмыслении указанной проблематики и в первую очередь обратимся к статье Г.Н. Потанина 1876 г. «Роман и рассказ в Сибири», которую исследователи справедливо считают программой областнической критики Сибири (см., например: [1. С. 42]).

Анализ образа сибирского писателя, созданного Потаниным, начнем с предварительного замечания о его стремлении во всех своих суждениях отталкиваться от мысли об «особом строении сибирского общества» [14. С. 18]. Особенность эта заключается, по мнению автора, в том, что в Сибири никогда не было дворянства – образованного слоя общества, что здесь общество состояло из крестьян, мещан и купцов, т.е. тех социальных слоев, которые в европейской России принято было считать низшими, необразованными. С другой стороны, та тонкая прослойка интеллигенции, которая существовала в Сибири, не являлась местной, прибыла в Сибирь из европейской части России, будучи возвращенной на Тургеневе и Гончарове, Толстом, Островском и т.д. Эта читательская аудитория также не испытывала «потребность в особенной местной беллетристике» [Там же. С. 30]. Автор статьи и себя относит к тем, кто «воспитывался на фигурах Рудина, Инсарова», которым он не видел впоследствии «ничего соответствующего Сибири», кто знал по литературе жизнь в столицах лучше, чем в Сибири. Акцентуация этой мысли не только окрашивает все рассуждения автора, но и организует их, отражая видение взаимозависимости процессов становления региональной литературы, местного авторского и читательского корпусов, сформировавшееся в сознании Потанина.

¹ Проблема эволюции взглядов сибирских мыслителей на природу и функции литературы и художника слова представляет собой предмет отдельного исследования и не входит в задачи данной статьи.

С этим связаны принципы отбора материала для конструирования в статье образа сибирского писателя, предполагающие его восприятие сквозь призму культурной специфики сибирского социума. Попутно отметим весьма любопытный факт: Потаниным нигде не подчеркивается национальная (например, русская) специфика сибирской литературы, сибирского автора и читателя. Их идентификация осуществляется исключительно через идеи своеобразия социально-исторического развития края, а также через соизмерение с идеей кровной неразрывной связи литературы, автора и читателя с Сибирью, с мыслью о высоком служении ее культурному и духовному росту, изменению ее устоявшегося образа как места ссылки и каторги, нетронутых земель и никем не используемых природных богатств, существовавшего в сознании большинства представителей Центральной России и всего мира. В связи с этим подчеркнем, что идентификация сибирского писателя через традиционные характеристики литератора как автора изящной словесности, художника слова, признанного писательским и читательским сообществом, литературной критикой, получающего материальное вознаграждение за свое творчество, входящего в профессиональные объединения, проводится по принципу «от противного» или вообще не проводится.

Вместе с тем образы местной словесности, авторского и читательского круга создаются Потаниным на основе культурных моделей, ценностных систем, свойственных его культурно-исторической эпохе. Так, например, в соответствии с эпохой объем понятия «сибирский писатель» включает в себя, кроме авторов художественной литературы, и деятелей журналистики, публицистики, литературной критики. Одним из самых популярных русских клише конца XIX в., поддержанным Потаниным, являются также образы литературы, ее творцов и реципиентов, сконструированные на идеях народничества: «...на сибирской почве может обильно развиваться тот род беллетристики, который посвящен описанию народного быта» [14. С. 19]. Потанин строит образ сибирского писателя на фундаментальной в народнической системе взглядов идее о сближении интеллигенции, в частности писательского корпуса, с народом в стремлении найти и сохранить свои корни, осознать свое место в мире, сформировать на этой основе самобытную молодую сибирскую литературу и молодой авторский и читательский корпусы, призванные сберечь и приумножить своеобычность края.

В статье «Роман и рассказ в Сибири» автор конструирует три типа писателя. Первый представлен личностью и творчеством И.В. Омулевского. Позиция Потанина в отношении к нему и критерии его оценки как писателя очевидны. Это выбор материала: «эпизод из жизни одного молодого сибиряка», и авторская позиция в отношении главного героя: всеведение, которое, однако, не мешает читателю верить автору, справедливости его рассуждений и мнений, честности и верности его описаний.

При этом глубокое знание своего читателя, постоянная ориентация на него, на сознательное формирование его рецепции воспринимаемого произведения, того или иного героя и т.д. не только превозносятся Потаниным, но напрямую связываются с признанием творчества писателя (критик и сам ведет постоянный и активный диалог с читателем своей статьи). В связи с этим образ главного героя романа Омулевского, как и биографический автор, с

которым он отождествляется, производят на Потанина крайне неприятное впечатление: «Автор, заставляющий своего героя, которого он вовсе не имел намерения изобразить в карикатуре, с высокомерием относиться к тому, что живет и думается под ушаковскими крышами, сам, очевидно, смотрит на ушаковский мир с теми же чувствами, какие вложил в своего Светлова, и, видимо, живет интересами какого-то другого отдаленного мира. Сибирский читатель чувствует, что роман писан не для него собственно», «первый сибирский беллетрист не чувствовал внутренней потребности попытаться написать роман для местной сибирской публики; он только позаимствовал из местной жизни несколько портретов, сцену действия и, может быть, некоторые эпизоды в фабуле, словом, воспользовался местной жизнью как материалом, вовсе не думая служить ей самой» [14. С. 25].

Образ И.А. Кушевского представляет второй тип писателя. Подобно Омулевскому, он «взял эпизод из сибирской жизни», но «потом окружил его чертами несибирского быта», тем самым проявив, как и Омулевский, «абсентеизм мысли». Оба автора, по мнению Потанина, избегают своего прямого писательского долга, поскольку «пишут не для сибирской публики, а для русской вообще» [Там же. С. 27]. Конечно, считает Потанин, есть «род произведений, которые, будучи написаны для обширного круга читателей, в то же время не лишены особенного интереса для той небольшой среды, из жизни которой заимствован материал для рассказа. Таковы, например, «очерки быта», но рассматриваемые в статье сочинения, считает Потанин, имеют другую цель – «изображение характера и деятельности некоторых представителей молодого поколения; подобные произведения только тогда могут иметь значение для отдельной местности, когда они, собственно, для нее пишутся» [Там же. С. 28]. Есть, по убеждению Потанина, и «власть автора», распространяемая, например, на «перетасовку событий и сцен», но и «ей всё-таки есть предел, и переход за него вреден произведению» [Там же. С. 29]. Свобода творчества писателя понимается Потаниным по-другому: она заключается в свободе «от могущественного давления общего потока русских умственных сил», в сознательном и свободном выборе «местных интересов» для своего творчества, что вполне может означать свободный отказ от «заманчивой славы писателя» и «обращение себя на скромную роль провинциального писателя». При этом «служение местному обществу» не должно осознаваться как «замыкание в узкий круг тривиальных идей» [Там же. С. 31], напротив, выполнение своего долга сибирский писатель должен и может осознавать как высочайшую миссию, необходимую не только Сибири и России, но и всему миру.

Отсутствие подобных убеждений у Омулевского и Кушевского не могло, по мнению Потанина, не отразиться на качестве анализируемых им сочинений. Например, «г. Омулевский рисует юного сибиряка; но он не желал показать, в чем заключаются обязанности сибирского юноши, которому посчастливилось получить университетское образование; он хотел просто изобразить идеального представителя молодого поколения» [Там же. С. 28]. Причины авторских неудач носят, по Потанину, системный характер: Омулевский и Кушевский и стоящие за ними типы писателя не учитывают условий сибирской общественной жизни, не ставят своей задачей формирование сибирско-

го читателя и оставляют свои сочинения без читателя вообще, нанося неправимый вред и своему таланту.

Мысль об утрате таланта как оборотной стороны отрыва в своем творчестве от «местных интересов» (а «разлука с родиной» вообще «губительно действует на писателей», утверждает Потанин, имея в виду прежде всего региональных авторов [14. С. 39]) продолжена в размышлениях о Н.И. Наумове, представляющем в статье третий тип сибирского писателя. Основой дара Наумова, позволяющего назвать его истинным сибирским писателем, кроме прочего, критик считает внимание к «простонародному быту», «верное изображение крестьянской жизни» [Там же. С. 33], дорогу к которому, замечает критик, проложили сибирским авторам писатели Европейской России, в первую очередь Г.И. Успенский. Характерны в связи с этим такие постоянные характеристики Наумова в статье Потанина: «замечательный по близости» к народному («к подлиннику») язык рассказов писателя, «правдивость и добросовестность» в изображении героев-типов, критический и публицистический пафос автора в отношении социальных проблем, абсолютное и широкое местное читательское признание: «все сибиряки, от гимназиста до дряхлого седого старика прочли давно эти прекрасные рассказы» [Там же]. Именно «рассказами Наумова начинается сибирская беллетристика» [Там же. С. 38], считает Потанин, горячо приветствующий это начало¹.

Наиболее полная и глубокая характеристика образа сибирского автора представлена в публикациях Н.М. Ядринцева 1870-х гг., на которых мы остановимся подробнее. Так, в статье «Судьбы сибирской печати» 1875 г., демонстрирующей, по мнению исследователей, особую ступень в осмыслении литературного процесса Сибири [3. С. 49], Ядринцев, как и Потанин, отталкивается от мысли о своеобразии общественной жизни Сибири, где еще нет «массы лиц, интересующихся печатным словом», где «общественные интересы еще не сложились», «читающая публика редка» [15. С. 76, 77]. Сибирский читатель – это прежде всего чиновник, интересующийся жизнью России или читающий для развлечения, другими словами, сибирскому писателю приходится одновременно создавать и читателя, и литературу. В этом смысле, считает Ядринцев, «сибирский писатель разделит общую судьбу сибирской интеллигенции», весьма трудно закрепляясь на сибирской почве, которая «способствовала только выезду лучших сил в другие, более благоприятные для их развития места», «люди, пишущие о Сибири, также искали себе другой почвы... Очень немногие из сибиряков занимались на месте литературными работами», и при этом «Сибирь выделяла немало писателей для русской литературы» [Там же. С. 77–78]. Важнейшим препятствием для становления местного авторского корпуса Ядринцев называет неразвитость или даже отсутствие в ряде населенных пунктов сибирской местной печати.

В статье обсуждается и вопрос о том, может ли столичный писатель «удовлетворять местные нужды», может ли автор, «живя вдали, иметь верное понятие о положении края и разрабатывать его местные вопросы» [Там же.

¹ Целый ряд статей о сибирских писателях, как известно, был написан Потаниным в 1900–1910-е гг., они не вошли в наше исследование, ограниченное другими временными рамками, и заслуживают специального внимания.

С. 78]. Ответ для Ядринцева очевиден – только местный писатель может дать правдивую, достоверную, детальную картину жизни Сибири и сибиряка, тонко ощущая их «неуловимое» на расстоянии развития. Только влюбленный в Сибирь и ее жителей сибирский писатель способен отвечать на местные вопросы, осознавая их государственное и общечеловеческое значение. Наконец, только местный автор, живущий одной жизнью со своим краем, «трепещущий его пульсом, разделяющий его горе и радости» [15. С. 79], отдающий сознательное предпочтение местным вопросам перед общими, может способствовать его продвижению вперед.

Ближайшую задачу местного авторского корпуса Ядринцев видит в приучении «публики к печати», в воспитании культуры чтения среди «людей полуграмотных и общества с бедными вкусами» (в связи с этим деятельность и творчество сибирского писателя сравниваются со «скромной народной школой» [Там же. С. 80]), а с другой стороны, в обретении сибирской литературой своего языка, своего «слова», своего предмета изображения. Этот универсализм и культурное «миссионерство» сибирского писателя (и сибирского издателя, в роли которого сибирские писатели также нередко выступали) позволяют Ядринцеву сравнить его с «простым сельским работником, который один кроет крышу сельской церкви, кладет печи, красит крышу, рубит ступени, так же как пишет образа и водружает крест, да, пожалуй, один же и молится в ней» [Там же].

Чрезвычайно высоко Ядринцевым ценится автор, обращающийся в своем творчестве к «жизни беднейших классов нашего народа», к «исследованию быта простого народа», к «точному воспроизведению действительности», что не было, по мнению критика, «ни случайностью, ни модой... а только естественным последствием исторического и органического развития нашей литературы» [16. С. 33, 34, 37]. На этом основании в статье 1872 г. «Преступники по изображению романтической и натуральной школы» Ядринцев противопоставляет писателей русской романтической и натуральной школы. Задачей современного и в первую очередь сибирского писателя, по Ядринцеву, является «верное изображение жизни, исследование действительных фактов, изыскание их последовательной связи в силу законов причинности», сведение «объяснения человеческой деятельности... к определению внутренних факторов, лежащих в общих свойствах человеческой природы и обусловленных естественно-физическим и нравственным строением человека» [Там же. С. 38]. Талант истинного писателя критик измеряет его способностью открывать «внутреннюю сторону человека и тайны его духа», а также гуманностью, уважением к человеческому достоинству и деликатным обхождением с больным человеческим сердцем» [Там же. С. 44, 48]. Наконец, особой чертой настоящего писателя Ядринцев называет ответственность за каждое слово, обращенное к читателю, и в этом критик не разделяет писателя русского и сибирского.

Главными недостатками писателя называются «односторонность», «произвол», с которыми утрируется «одна какая-либо черта человеческого характера и одна какая-либо страсть», нагнетается «искусственная комбинация обстоятельств» [Там же. С. 44], что служит распространению ложных и недобросовестных взглядов на человека, его природу и жизнь в обществе

(16. С. 39). Характерно, что в пример приводится С.В. Максимов, который в своем труде «Сибирь и каторга» «вместо объективного объяснения факта со всеми его причинами и следствиями... описывал только свои субъективные ощущения, причем увлекался то одной, то другой стороной дела, смотря по тому, которую рисовал и которая поражала его более» [Там же. С. 43].

Любопытно изучить применение Ядринцевым названных критериев настоящего писателя в статьях, посвященных сибирским авторам. Обратимся к публикациям об И.А. Кушевском, И.В. Федорове-Омулевском и Н.И. Наумове, которым была посвящена и рассмотренная нами выше статья Потанина. Некролог Ядринцева о Кушевском (1876 г.) строится на двух идеях. Первая сводится к тому, что фундамент литературного таланта сибирского писателя был заложен в Сибири, в частности в Томской гимназии, которая «жила... литературной традицией и способствовала воспитанию не одного писателя», в которой еще в 1850-х гг. «воспитанники, наклонные к чтению, составили кружок и развивали в себе страсть к литературе», а в 1860-е гг. начали организовывать литературные вечера, «где читались лучшие произведения» [Там же. С. 56]. Литературный путь Кушевского начался в Петербурге с романа, написанного на сибирском материале. С этим связана вторая мысль статьи: талант молодого сибиряка был загублен в Петербурге, где писатель из-за денег вынужден был оставить настоящее творчество (его первый роман, «ощипанный капризной редакторской рукой столичного литературного олимпийца», оказался последним) и обратиться к «спешному труду», где в поисках работы на литературном рынке он был поглощен этим рынком. Поддерживая Потанина, Ядринцев, как видим, также открыто выступает против «ярых централистов», утверждавших, что в «столичной литературе деятельность шире, лучше и выгоднее для литератора, который сумеет устроиться» [Там же. С. 57]. Но настоящий талант Кушевского, как и у многих его собратьев направленный на служение искусству, обществу, не позволил ему «устроиться», т.е. писать исключительно ради материального благосостояния.

Статья об И.В. Федорове-Омулевском, написанная спустя три года после смерти писателя (опубликована в 1887 г. в составе «Сибирского сборника 1886 г.»), строится по той же модели – на противопоставлении двух топосов: Сибирь и Петербург, определявших течение жизни и развитие творчества сибирского писателя. Если Сибирь (Петропавловск, а потом Иркутск) была счастливым этапом «в умственном росте будущего поэта», «вложила в него ту горячую патриотическую любовь к родине, которая всю жизнь потом составляла основную черту в характере Омулевского», то Петербург и скитания по России, хотя и дали поэту «массу новых впечатлений, определили дорогу и направление поэта, взрастили в нем те идеалы, которые так ярко выражены самим им» в герое романа «Шаг за шагом» [Там же. С. 115], всё же заполнены были поиском недостающих средств, «спешной работой в массе журналов, придирками и самодурством редакторов, закулисной мелочностью редакций», болезнью глаз, ужасающей бедностью и «вследствие этого страстью к водке, обратившейся в запой». Все это, пишет Ядринцев, сгубило и сломило сибирского писателя, искавшего себе место в столице, «обратило его жизнь в цепь страданий и горя» [Там же. С. 116].

Единственное, что поддерживало талант Омулевского, это «глубокая лю-

бовь к Сибири и горячее отношение к ее интересам и недугам», умноженные в столице взглядами «общественного бойца-шестидесятника». Постоянной целью и мечтой сибирского поэта было «сделаться певцом» малой родины, чему, кроме столичной суеты, помешало и отставание (вплоть до отсутствия) сибирской журналистики от столичной. Итак, по убеждению Ядринцева, оторванность от Сибири, столичная «спешная работа» из-за нищеты послужили причиной появления у Омулевского «многих недоделанных, непрочувствованных и вследствие этого иногда крайне тенденциозных произведений», которым противопоставлено творчество, пронизанное сибирскими темами и мотивами – в них «могучая талантливость, глубина чувства» [16. С. 116].

Статья Ядринцева «Н.И. Наумов» 1892 г. посвящена тридцатилетию литературной деятельности сибирского писателя. В ней вновь звучит мысль о Сибири, в частности Томске, как плодородной почве, взрастившей его талант. И вновь описывается, в противопоставление Сибири, Петербург, куда молодой Наумов поехал служить «назначению литератора», где он написал свои первые очерки, тяготевшие «к среде народа и крестьянства», где он впервые опубликовался и ощутил себя писателем. «Это было торжество, – вспоминает Ядринцев, – это был праздник... Довольные, веселые, оживленные, мы сидели в его бедной квартире, а он торжествовал как именинник. С каким благоговением перелистывались свеженькие странички журнала с его статьей...» [Там же. С. 126].

Но далее, как это было и с Кушевским, и с Омулевским, для Наумова «начался поденный труд, труд нужды, труд для хлеба», который заставил его вернуться в Сибирь, где «перед народным писателем развернулся еще шире мир обойденного крестьянства в захолустной местности со всею глубиной его несчастья» [Там же]. Повторяя судьбу Омулевского, Наумов вновь уезжает в северную столицу и вновь возвращается в Томск, теряя в этих метаниях «восторженность краснощекого юноши» и превращаясь в настоящего «измученного жизнью» сибирского «народного писателя». Его имя приобретает популярность у читателей, «он находит настоящую оценку» у критиков, «но “лавры” не облегчили его жизнь», подбрасывающую наблюдательному писателю всё новые проблемы сибирского крестьянства, сибирских переселенцев, которым и было посвящено все творчество писателя, «добродушное, с тонким юмором и изредка горьким смехом» [Там же. С. 127].

Обратим внимание на то, что Ядринцев пытается осознать сибирские корни современного ему местного авторского корпуса. В статье «Судьба сибирской поэзии и старинные поэты Сибири» (1885 г.), отрицая значение столичных поэтов, воспевавших Сибирь, не зная ее, не вдохновляясь ею, создававших ее ложный образ «хлебосольной особы, которая, наклонившись над столами, предлагала всевозможные яства и рыбы на серебре и золоте», восхвалявших Ермака, образ которого использовался «как предлог для высокопарных стихов» [Там же. С. 82], критик называет имя П.А. Словцова как первого истинно сибирского писателя, поскольку именно у него «прорывалось первое теплое чувство к краю», ему первому стала понятна судьба Сибири и он был первым, у кого рядом с этим «блеснула художественная струя». По самому «способу изложения» видно, «что это был человек с душой, патриот своей родины и до известной степени поэт, художник». Труд Словцова по

истории Сибири оценивается Ядринцевым очень высоко по следующим критериям: «Страницы этой истории переполнены лирических обращений, грустных дум, затаенных надежд. Несмотря на тяжелый язык, на свойственную тому времени книжную риторичность и вычурность выражений, трудно не заметить в историке художественного чутья и действительного вдохновения» [16. С. 83]. Всё это – излюбленные областнические идеи Ядринцева и Потанина 1870–1890-х гг., используемые в конструировании образа сибирского писателя.

Так, в «Крымских письмах сибиряка» (1876) Потанин тоже характеризует Словцова как «первого любителя Сибири», писавшего «с целью возбудить самосознание края, возбудить в своих земляках любовь к родине» [17. С. 213, 214]. В укор Словцову, правда, ставилось то, что «его патриотическая мысль не могла нащупать ядро сибирского общества, ему хотелось поклониться чему-нибудь грандиозному в Сибири, и он ничего не нашел, кроме природы», которую он, «смешно», по выражению Потанина, сравнивал с южным Крымом или Италией, «такие же натяжки Словцов делал и относительно людей» [Там же. С. 213, 214]. Позднее, в работе «Областническая тенденция в Сибири» (1907 г.), Потанин вновь называет Словцова «первым сибирским патриотом», книга которого «Историческое обозрение Сибири» «была написана в сознании необходимости дать землякам чтение, которое бы привлекало их внимание к своей родине. Поэтому образованные сибиряки смотрели на составление этой книги как на патриотический подвиг» [18. С. 1]. Чтение этой книги, по мнению Потанина, выполняло свою главную функцию – «воспитывало в сибиряках интерес» к Сибири. Снимая ранние замечания к Словцову, Потанин главной его характеристикой называет воодушевление любовью к просвещению, науке и «к той части империи, которая была его родиной» [Там же. С. 2].

Интересные черты в потанинский образ сибирского писателя вносят его оценки личности и творчества П.П. Ершова. В упомянутых выше «Крымских письмах сибиряка» его портрет описан в сослагательном наклонении. По мнению Потанина, Ершов – «личность чистая, бескорыстная; лучшее достоинство его была, конечно, та любовь к своему краю, которая его никогда не покидала» [17. С. 208]. Но этого оказалось недостаточно, чтобы вырасти в настоящего сибирского писателя. Он мог бы сделать для Сибири много, но его сдерживали «литературные приемы времени», излишняя восторженность, оторванность от реальности (горячо любимая Ершовым Сибирь не покорила его способностям, будучи «северной красавицей», «которая, однако же, была холодной, грязной и грубой красавицей, колотившей своего любовника кулаком» и в то же время столь величественной, что «не с силами Ершова» было браться за ее изображение в искусстве [Там же. С. 210]), наконец, неуверенность в том, что Сибирь – это единственный объект его творчества («...как редко Ершов сознавался в своей любви к своей родине в своих печатных произведениях! Если б он, уже известный повсюду автор “Конька-Горбунка”, только два, три раза заикнулся об этой тайне, это признание честного человека уже имело бы для его края большое значение. <...> Но Ершов всю жизнь промолчал. Если он писал о родине, он тщательно утаивал имя этой родины; описывая свою любовь к Сибири, он старается не заикнуться об

ее имени: назвав стихотворение «Сибирскими вечерами»... он переименовывает вечера в «Осенние»» [17. С. 211]).

В вышеназванной статье Ядринцева о судьбе сибирской поэзии Ершов определен «настоящим поэтом», с юности грезившим «красотами сибирской природы» и желанием помочь «бедствующим сибирским племенам» [18. С. 84]. И хотя Ершову, как и многим начинающим сибирским авторам, не удавалось выразить в своем творчестве гражданские идеи и исторические темы (в силу неразработанности поэтического языка у них возникала «деланная поэзия» и «представление о Сибири в стихах... являлось неудачным»), он явился первым сибирским поэтом, овладевшим пушкинским «новым стихом», продемонстрированным в «Сказке о Коньке-Горбунке».

В «Областнической тенденции в Сибири» Потанин также смягчил свою интерпретацию Ершова как сибирского писателя, характеризуя его теми же чертами, что и Ядринцев, и ставя его в ряд с А.А. Мордвиновым. Оба для Потанина, прежде всего, манифестанты сибирского патриотизма, горячо переживающие за свой край, готовые служить его интересам. В этом плане особенно выделяется Ершов, с юношества строивший «самые необузданные фантазии о своей будущей деятельности во благо Сибири; он надеялся совершить грандиозные подвиги и в литературе, и в общественной жизни, он давал себе слово положить начало сибирской литературе, пробудить жизнь в спящей стране, создать сибирскую интеллигенцию, вызвать духовную жизнь в Сибири» [Там же. С. 5]. Как видим, Потанин рисует образ сибирского писателя-гражданина, общественного деятеля, имеющего широкую программу и далеко идущие цели творчества. Много позднее эту мысль сформулирует Е. Евтушенко в отношении русского писателя: «Поэт в России – больше, чем поэт».

Вместе с тем причину несвершившихся планов Ершова критик по-прежнему видит в их оторванности от реальной действительности Сибири, ее реальных нужд, которыми только и можно было привлечь сибирскую читающую публику. И это могла совершить, полагает Потанин, «только проза публициста» [Там же. С. 6]. Настоящее начало сибирскому авторскому корпусу было положено, считает Потанин, только в 1860-е гг., когда молодые сибиряки, усвоившие «новые тенденции столичной литературы, вернулись на родину лучше подготовленными к общественной деятельности», да и идеи, которые они приехали развивать, «уже носились в сибирском воздухе» [Там же. С. 7]. И далее Потаниным последовательно перечисляются имена Н.С. Щукина, С.С. Шашкова и Н.М. Ядринцева, в Сибири нашедшего «героя» своей публицистики: сибирского крестьянина, ссыльного, «бродягу с котомкой и туеском» и заявившего о себе как о «после Сибири к русскому обществу, отправленном не ученые споры вести, а заявить о желании сибирских жителей» [Там же. С. 24].

Образ Ядринцева Потанин описывает через фигуру «командира, который вел свое судно, стоя на вахтенном мостике», который открыто «позировал перед своей аудиторией во весь свой рост; он делился с аудиторией своими печалью, своими радостями и своим негодованием». Не менее выразительно сравнение Ядринцева с Персивалем, «везущим своей родине будущее», создающим свое исключительное положение и гордящимся этим. Высшей оцен-

ки Потанина сибирский публицист Ядринцев удостаивается за то, что «для него не существовало других интересов, кроме интересов Сибири; он жил только для Сибири и приносил себя в жертву ее интересам целиком. Он так был неотделим от Сибири, так сращен с нею всеми своими фибрами», как сын с матерью [18. С. 33]. Перед нами, как видим, и полный образ сибирского писателя, каким его представлял себе Потанин, и широкая программа становления сибирского авторского корпуса.

Возвращаясь к статье Ядринцева об истории сибирской литературы и о становлении сибирского авторского корпуса, отметим, что критик называет еще несколько забытых сегодня имен сибирских поэтов 1820–1840-х гг., складывающихся в общий портрет начинающего сибирского автора и начинающейся сибирской литературы. Предмет вдохновения сибирского писателя, во многом остающегося начинающим автором и в 1850–1890-е гг., – сибирская природа, которую он пытается рисовать с любовью и восторгом, используя местный колорит. Область его интересов – местные проблемы, известные ему по собственному опыту: жизнь местных крестьян и горожан, «инородцев», темы переселения, ссылки и каторги, выражение «изгнаннических чувств» и тоски (в лирике сибирскому поэту не поможет «ни одна счастливая тема, не поможет сентиментальность, красивая фраза и риторика» [16. С. 91]), а с другой стороны, его характеризует откровенное ученичество, подражание поэтам золотого века русской поэзии, прежде всего Пушкину, Баратынскому, Лермонтову.

Сибирский писатель, стоящий у истоков сибирской словесности, пишет от души о том, что лично трогает его, а не о том, что популярно и востребовано на данный момент массовой читательской аудиторией. Он не замахивается на эпические полотна, а пишет о том, что видит вокруг, здесь и сейчас, и видит гораздо больше, глубже, детальнее и целостнее, чем любой приезжий маститый романист. Он самым местом рождения и воспитания подготовлен к тому, чтобы писать о Сибири, не используя штампов и клише, с первого раза попадая в самую актуальную проблематику художественной литературы. При этом он не рассчитывает на богатство и славу, получая удовлетворение от самого процесса творчества, посвященного служению Сибири.

Однако становиться настоящим большим писателем местному автору, кроме прочего, считает Ядринцев, как правило, мешали отсутствие художественного мастерства, художественной школы сибирской литературы, находившейся в стадии становления, малая востребованность глубоких общественно-исторических и философских тем сибирским читателем, также не имеющим для этого достаточного образования, воспитания, социальных традиций. Всё это, в свою очередь, объясняется отсутствием благоприятной литературной и шире – социокультурной среды для литературного творчества, в частности неимением журналистики, литературной критики, института литературных редакторов в Сибири, читателя, обладающего высокой культурой чувства и чтения (чувство сибиряка «запрятано, покрыто какой-то корой, которую надо пробить и растопить», пишет критик [Там же. С. 92]). Отношения сибирского писателя с Сибирью, по убеждению Ядринцева, складывались отнюдь не идиллично. Процесс его взаимодействия со средой, которая его сформировала и которую он перерос, чаще всего, был драматичен. Но при

этом у сибирского писателя изначально были ответы на главные вопросы начинающего автора: о чем, зачем и для кого писать?

Важнейшей составляющей образа сибирского писателя, созданного Ядринцевым, является взгляд автора-сибиряка на свои задачи и понимание сути литературного произведения, что тесно связывается критиком с его жанровыми предпочтениями. В статье 1886 г. «Нравы далеких окраин и бойкие романисты» Ядринцев задается вопросом о том, почему талантливые сибирские писатели работают с малыми эпическими жанрами и обходят стороной романы, за написание которых смело берутся авторы, ни разу не бывавшие в Сибири, не знающие этого края и его жителей. В связи с этим он набрасывает портрет «бойкого заезжего романиста», во всем противостоящего образу истинного, хотя и начинающего сибирского писателя. К «заезжим романистам» отнесены Л.П. Блюммер, В.В. Романов, Д. Ольшанин и др., к сочинениям которых о Сибири неприменима мерка художественности, так как их авторы работают с шаблонными сюжетами, героями, речевыми оборотами, создавая ложный образ Сибири и сибиряка. Такие «романы» названы Ядринцевым наскоро набросанными и не оставляющими никакого впечатления «фельетонными картинками» о Сибири и о ее жизни, ибо их авторы сводят понимание литературного творчества, в том числе изображения сибирского колорита в художественном произведении, к законам массовой низкопробной литературы.

Как видим, поддерживая ряд черт сложившегося в XIX в. общепринятого имиджа писателя, Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев не соглашались с целым кругом общепринятых характеристик литератора, создавая образ сибирского автора, в котором взаимодействуют областническая, сепаратистская и общерусская концепции, подчеркивается мысль об их диалоге. Обобщая сказанное, подчеркнем также, что в образе сибирского писателя, созданном родоначальниками областничества, преломилось главное открытие регионализма, с одной стороны, и народничества – с другой, пришедшее к сибирскому и общероссийскому читателю во многом благодаря Потанину и Ядринцеву, – это открытие писателя-сибиряка, вдохновляемого народными интересами Сибири. Не идеализируя его, критики между тем высоко оценивают его деятельность и не допускают в своих публикациях развенчания этой фигуры и в ее лице – идеологии областничества и возникших в дальнейшем на ее почве философско-эстетических концепций региональной литературы и регионального писателя. Наконец отметим, что стремление понять суть писательского труда, его цель и задачи, их специфику в отношении сибирского автора, пришедшее к Потанину и Ядринцеву в полном объеме в 1870–1900-е гг. в связи с областнической программой развития Сибири, органично дополняется интересом к образам сибирского читателя и сибирской словесности в метатекстовом пространстве их литературно-критических и публицистических выступлений.

Литература

1. Чмыхало Б.А. Литературно-критическая борьба в сибирских изданиях начала XX в. Красноярск, 1987.

2. Якимов Л.П. Проблема литературного регионализма в освоении литературной критики в Сибири // Литературная критика в Сибири. Новосибирск, 1988.
3. История русской литературной критики Сибири. Новосибирск: Проспект, 1989.
4. Чмыхало Б.А. Литературный регионализм. Красноярск, 1990.
5. Сибирское областничество: биобиблиогр. справ. Томск; Москва, 2002.
6. Серебренников Н.В. Опыт формирования областнической литературы. Томск, 2004.
7. Труды Г.Н. Потанина. О Г.Н. Потанине. URL: [http://kraeved.lib.tomsk.ru/files2/962 (дата обращения: 07.08.2017)].
8. Труды Н.М. Ядринцева. О Н.М. Ядринцеве. URL: http://kraeved.lib.tomsk.ru/files2/968 (дата обращения: 07.08.2017).
9. Чмыхало Б.А. Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин как теоретики «сибирской литературы» в 70-е гг. XIX в. // Развитие литературно-критической мысли в Сибири. Новосибирск, 1986. С. 57–74.
10. Яновский Н.Н. Марк Константинович Азадовский // Развитие литературно-критической мысли в Сибири. Новосибирск, 1986. С. 75–104.
11. Одинокое В.Г. В.Г. Белинский и проблема региональных литератур // Очерки литературной критики Сибири. Новосибирск, 1987. С. 7–18.
12. Одинокое В.Г. Литературный регионализм и культурная целостность // Сибирь: Литература. Критика. Журналистика. Новосибирск, 2002. С. 21–29.
13. Анисимов К.В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX в.: Особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск, 2005.
14. Потанин Г.Н. Избранное. Томск, 2014.
15. Ядринцев Н.М. Сборник избранных статей. Красноярск, 1919.
16. Литературное наследство Сибири. Т. 5: Н.М. Ядринцев. Новосибирск, 1980.
17. Потанин Г.Н. Избранные сочинения: в 3 т. Павлодар, 2005. Т. 2.
18. Потанин Г.Н. Областническая тенденция в Сибири. Томск, 1907.

THE IMAGE OF A SIBERIAN WRITER IN LITERARY CRITICISM AND JOURNALISM OF G.N. POTANIN AND N.M. YADRINTSEV (THE 1870S–1900S)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 49. 83–97. DOI: 10.17223/19986645/49/6

Irina A. Ayzikova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: wand2004@mail.ru

Keywords: G.N. Potanin, N.M. Yadrincev, regionalism, Siberian literature, Siberian writer, Siberian reader, dialogue with Russian models.

The article analyzes the image of a Siberian writer created in the works of G.N. Potanin and N.M. Yadrincev, with which they made a revolution in the Siberian and all-Russian public consciousness, in regional and national literature, introducing a new regional approach to understanding literature and literary creativity. The study is carried out on the material of literary-critical articles by G.N. Potanin and N.M. Yadrincev of the 1870s–1900s. The author considers the evidence of Potanin's and Yadrincev's modeling of the image of a regional, Siberian, writer objectified in their literary-critical texts, describes one of the brightest and most illustrative representations of the concept of literary creativity, in particular, of a Siberian author as a type of national literary creativity. Potanin and Yadrincev build their own unique image of a Siberian writer at the intersection of the "image" of masters of literary art generally accepted in Russia, and its Siberian interpretation through the prism of their own philosophical and artistic aspirations and searches of Russian literature and culture in the late 19th – early 20th centuries.

Supporting a number of features of the image of a writer common in the nineteenth century, G.N. Potanin and N.M. Yadrincev agree with a range of generally accepted characteristics of a writer, creating the image of a Siberian author, which includes the interaction of regional, all-Russian and

separatist concepts; the idea of their dialogue is emphasized. The article also stresses that the image of a Siberian writer created by the pioneers of regionalism refracted the main discovery of regionalism, on the one hand, and populism, on the other. The discovery came to the Siberian and all-Russian reader largely thanks to Potanin and Yadrintsev; it was the discovery of a Siberian writer inspired by people's interests in Siberia. Without idealizing this writer, the critics highly appreciate their activities and in their publications do not allow discrediting them, the ideology of regionalism and the philosophical and aesthetic concepts of regional literature and regional writer that would later appear on its basis. Finally, it is noted that the desire to understand the essence of a writer's works, their purpose and objectives, their specificity in relation to a Siberian author, which came to Potanin and Yadrintsev in full in the 1870s–1900s in connection with the regional program of development of Siberia, goes along with the interest in images of a Siberian reader and Siberian literature in the metatextual space of their literary-critical and journalistic texts.

References

1. Chmykhalo, B.A. (1987) *Literaturno-kriticheskaya bor'ba v sibirskikh izdaniyakh nachala XX v.* [Literary-critical struggle in the Siberian editions of the beginning of the 20th century]. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk Pedagogical Institute.
2. Yakimova, L.P. (1988) Problema literaturnogo regionalizma v osvoenii literaturnoy kritiki v Sibiri [The problem of literary regionalism in mastering literary criticism in Siberia]. In: Yakimova, L.P. (ed.) *Literaturnaya kritika v Sibiri* [Literary criticism in Siberia]. Novosibirsk: Nauka.
3. Yakimova, L.P. (ed.) (1988) *Istoriya russkoy literaturnoy kritiki Sibiri: prospekt* [History of Russian literary criticism of Siberia: catalog]. Novosibirsk: Nauka.
4. Chmykhalo, B.A. (1990) *Literaturnyy regionalizm* [Literary regionalism]. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk Pedagogical Institute.
5. Isakov, S.A. & Dmitrienko, N.M. (eds) (2002) *Sibirskoe oblastnichestvo: biobibliograficheskiy spravochnik* [Siberian regionalism: biobibliographical reference book]. Tomsk; Moscow: Vodoley.
6. Serebrennikov, N.V. (2004) *Opyt formirovaniya oblastnicheskoy literatury* [Experience in the formation of regional literature]. Tomsk: Tomsk State University.
7. Zemlya Tomskaya. (n.d.) *O G.N. Potanine* [About G.N. Potanin]. [Online] Available from: <http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/21/>. (Accessed: 07.08.2017).
8. Zemlya Tomskaya. (n.d.) *O N.M. Yadrintseve* [About N.M. Yadrintsev]. [Online] Available from: <http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/23/>. (Accessed: 07.08.2017).
9. Chmykhalo, B.A. (1986) N.M. Yadrintsev i G.N. Potanin kak teoretiki "sibirskoy literatury" v 70-e gg. XIX v. [N.M. Yadrintsev and G.N. Potanin as theorists of "Siberian literature" in the 1870s]. In: Yakimova, L.P. (ed.) *Razvitie literaturno-kriticheskoy mysli v Sibiri* [Development of literary critical thought in Siberia]. Novosibirsk: Nauka.
10. Yanovskiy, N.N. (1986) Mark Konstantinovich Azadovskiy In: Yakimova, L.P. (ed.) *Razvitie literaturno-kriticheskoy mysli v Sibiri* [Development of literary critical thought in Siberia]. Novosibirsk: Nauka.
11. Odinkov, V.G. (1987) V.G. Belinskiy i problema regional'nykh literatur [V.G. Belinsky and the problem of regional literatures]. In: Yakimova, L.P. (ed.) *Ocherki literaturnoy kritiki Sibiri* [Essays on literary criticism of Siberia]. Novosibirsk: Nauka.
12. Odinkov, V.G. (2002) Literaturnyy regionalizm i kul'turnaya tselostnost' [Literary regionalism and cultural integrity]. In: Yakimova, L.P. (ed.) *Sibir'. Literatura. Kritika. Zhurnalistika* [Siberia. Literature. Criticism. Journalism]. Novosibirsk: SB RAS.
13. Anisimov, K.V. (2005) *Problemy poetiki literatury Sibiri XIX – nachala XX vv.: Osobennosti stanovleniya i razvitiya regional'noy literaturnoy traditsii* [Problems of the poetics of the literature of Siberia in the 19th – early 20th centuries: features of the formation and development of the regional literary tradition]. Tomsk: Tomsk State University.

14. Potanin, G.N. (2014) *Izbrannoe* [Selected works]. Tomsk: Tomskaya poligraficheskaya kompaniya.
15. Yadrintsev, N.M. (1919) *Sbornik izbrannykh statey* [Collection of selected articles]. Krasnoyarsk: Soyuz oblastnikov-avtonomistov.
16. Yanovskiy, N.N. (ed.) (1980) *Literaturnoe nasledstvo Sibiri* [Literary heritage of Siberia]. Vol. 5. Novosibirsk: Zapadno-Sibirskoe knizhnoe izdatel'stvo.
17. Potanin, G.N. (2005) *Izbrannye sochineniya. V 3 t.* [Selected works. In 3 volumes]. Vol. 2. Pavlodar: EKO.
18. Potanin, G.N. (1907) *Oblastnicheskaya tendentsiya v Sibiri* [Regionalist tendency in Siberia]. Tomsk: Tipo-litografiya Sibirskogo tovarishchestva pechatnogo dela.

УДК 82.091

DOI: 10.17223/19986645/49/7

П.В. Алексеев

«КИТАЙСКОЕ» ВСТУПЛЕНИЕ К «ДНЕВНИКУ ПИСАТЕЛЯ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО¹

В статье исследуются китайские мотивы во «Вступлении» к «Дневнику писателя» Ф.М. Достоевского (1873) с позиций имагологии, определяются их функции и место в творчестве писателя. Обращение к китайской теме у Достоевского не было случайным, оно напрямую связано с концептосферой русского ориентализма – стиля мышления, основанного на воображаемом разделении мира на Запад и Восток в дискурсе имперских практик России. В этой связи анализируются ориенталистские концепты «тирания», «насилие», «восточный человек», определяющие основные параметры избрения образа Китая Достоевским. Прослеживаются интертекстуальные и типологические взаимосвязи с рассказом «Записки сумасшедшего» (1834) Н.В. Гоголя. Ключевые слова: Достоевский, «Дневник писателя», Китай, русский ориентализм, имперский дискурс, Гоголь, «Записки сумасшедшего».

С января 1873 по март 1874 г. Ф.М. Достоевский редактировал еженедельный журнал «Гражданин», издававшийся на средства князя В.П. Мещерского и имевший репутацию консервативного, монархического и националистического. Решение выступить в новой роли, которое уже в феврале 1873 г. в письме М.П. Погодину Достоевский назовет «большим сумасбродством» [1. Т. 29, ч. 1. С. 264], имело серьезные последствия как для самого писателя, так и для истории русской литературы. Работа в редакции «Гражданина» обогатила Достоевского издательским опытом, но главное – дала возможность быстрой связи с читателями, что было особенно важно по получении разгромных отзывов на роман «Бесы» (подробно этот вопрос изложен в статье О.В. Захаровой [2]): писатель остро переживал, что главные мысли романа, обращенные к актуальнейшим вопросам общественно-политической жизни империи, не были поняты совсем или были поняты превратно. Поэтому не только большая материальная нужда, но и стремление прямо сформулировать свою общественно-политическую позицию по важным для него темам подтолкнули писателя к тому, что он взялся за выполнение редакторской роли. Появление в первом же номере журнала, подготовленного Достоевским, рубрики «Дневник писателя» (далее – ДП) – явное стремление сформировать необходимое для этого пространство трибуны и диалога на перекрестке художественной и публицистической традиций. Единство, а не параллелизм художественного и публицистического начал, как считалось ранее [3. С. 58], в ДП – исходная позиция, объясняющая многие его особенности.

Проект ДП оказался вполне жизнеспособным и вне «Гражданина» – в 1876, 1877, 1880 и 1881 гг. он выходил в формате отдельного издания – уникального для того времени моножурнала, совмещающая в своей структуре не

¹ Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-34-01258 «Концепция Востока в художественной прозе и публицистике Ф.М. Достоевского».

только злободневную публицистику, но и художественные произведения малых прозаических жанров – явная реализация замысла «Записной книги» 1864–1865 гг. [4. С. 312]. Открытость поэтики Достоевского к прямому диалогу с читателем связана с феноменом ее полифоничности: по словам М.М. Бахтина, «всюду его мысль пробирается через лабиринт голосов, полуголосов, чужих слов, чужих жестов. Он нигде не доказывает своих положений на материале других отвлеченных положений, не сочетает мыслей по предметному принципу, но сопоставляет установки и среди них строит свою установку» [5. Т. 2. С. 67]. «Дневник писателя» на сегодняшний день остается одним из самых интересных объектов исследования творческой лаборатории Достоевского, особенно в свете новых методов и подходов к изучению имперского и ориентального в национальной словесности.

Такой подход позволяет обратить внимание на те элементы ДП, которые ранее могли казаться случайными и бессистемными, например, китайские мотивы во «Вступлении» к первой публикации этой рубрики в 1873 г. Китайские мотивы в ДП в этом отношении мало исследованы: монографические труды отсутствуют, и все, от чего можно оттолкнуться в изучении этой темы, – это короткие примечания в тридцатитомном собрании сочинений и редкие попытки интерпретации в статьях, не посвященных непосредственно «Дневнику писателя» (обзор основных исследований, а также попытка постановки имагологической проблемы «Достоевский и Китай» была предпринята в нашей статье [6]). Дополнительным и важным подспорьем для решения этой проблемы видится книга известного китаиста А.В. Лукина, посвященная образам Китая в русской словесности XVII–XX вв. На разнообразном художественном материале он реконструирует эволюцию образа Китая в России, упоминая вкратце и китайские мотивы во «Вступлении» к «Дневнику писателя» за 1873 г. Но несмотря на некоторые верные замечания, касающиеся стереотипности китайских образов, в целом его выводы в отношении Достоевского не вполне корректны: во-первых, А.В. Лукин считает первую публикацию ДП идеологически близкой либеральным кругам: «...идея превращения России в новый, застойный Китай здесь близка аналогичным мыслям А.И. Герцена, Д.С. Мережковского и других» [7. С. 151]; во-вторых, делается предположение, что случайная статья «Московских ведомостей» спровоцировала «писателя на сатирическое описание воображаемой поездки в компании с В.П. Мещерским в воображаемое китайское Главное управление по делам печати» [Там же. С. 150]. На деле все гораздо сложнее: бюрократический Китай у Достоевского – амбивалентный ориенталистский образ, сочетающий в своей структуре не только отрицательные, но и положительные коннотации, а случайная статья о бракосочетании китайского императора никак не объясняет столь масштабное ориентальное вступление в журнальную рубрику, не предназначенную для обсуждения внешнеполитических событий.

Для того чтобы приступить к целостному решению этих вопросов, необходимо признать, что «китайское» начало ДП являлось системным проявлением художественного мышления Достоевского, в структуре которого значительное место занимали элементы русского ориентализма. Русский ориентализм – это не столько увлеченность восточными темами и не стилистические приемы их изображения, сколько, прежде всего, тип художественного мышления, возникший в контексте имперских колониальных практик Западной

Европы и России и основанный на специфическом философско-поэтическом представлении о мире, воображаемо разделенном на Россию, Запад и Восток [8. С. 5]. Для подобных представлений в XIX в. особенно характерна связь ориентальных образов с проблематикой русской национальной идентичности в имперском дискурсе, что мы и наблюдаем с первых страниц ДП.

Вступление в ДП имело вполне конкретные цели – самопрезентацию Достоевского в качестве редактора «Гражданина» и представление невиданной до того момента рубрики, в которой известный писатель будет «говорить сам с собой и для собственного удовольствия, в форме этого дневника, а там что бы ни вышло» [1. Т. 21. С. 7]. Объявление нового редактора и экспериментальной рубрики должны были спровоцировать читательский интерес к изданию, которое нельзя было назвать ни передовым, ни преуспевающим, и к редактору-романисту, который не «исписался» и не разочаровался в своем творчестве от яростной критики демократического авангарда, а просто перешел в другой формат. Это событие необходимо было подать как нечто особенное, но не выводящее Достоевского из литературного круга, поэтому нарочитая литературность и самоирония были весьма кстати:

Двадцатого декабря я узнал, что уже всё решено и что я редактор «Гражданина». Это чрезвычайное событие, то есть чрезвычайное для меня (я никогда не хочу обижать), произошло, однако, довольно просто. Двадцатого декабря я как раз читал статью «Московских ведомостей» о бракосочетании китайского императора; она оставила во мне сильное впечатление. Это великолепное и, по-видимому, весьма сложное событие произошло тоже удивительно просто: всё оно было предусмотрено и определено еще за тысячу лет, до последней подробности, почти в двухстах томах церемоний. Сравнив громадность китайского события с моим назначением в редакторы, я вдруг почувствовал неблагодарность к отечественным установлениям, несмотря на то, что меня так легко утвердили, и подумал, что нам, то есть мне и князю Мещерскому, в Китае было бы несравненно выгоднее, чем здесь, издавать «Гражданина» [Там же. С. 5].

Параллель между восточным монархом и русским писателем – не просто игра слов, вызванная чтением новостной статьи. За комическим сравнением двух «эпохальных» событий стоит ряд значимых смыслов, вкладываемых Достоевским в понятия «китайское» и «ориентальное». Этот ряд смыслов и помогает понять, почему из всех ориентальных пространств, известных писателю, образ Цинской империи послужил наиболее удобным литературно-публицистическим приемом для разговора о творчестве, журналистике и уровне читательского и гражданского самосознания в России. Рассмотрим подробнее, какие компоненты этого образа были наиболее значимы для Достоевского в декабре 1872 – январе 1873 г.

Прежде всего, в этот период Китай из далекой экзотической страны, до которой трудно добраться, превратился в арену экономических и политических интересов крупных европейских держав и России [9, 10, 11]. Этот регион особенно заинтересовал российскую общественность во второй половине 1860-х – начале 1870-х гг. в связи с активизацией среднеазиатского и дальне-

восточного направлений имперской внешней политики. После второй опиумной войны империя, управляемая династией Цин, была чрезвычайно ослаблена, и это создавало благоприятные возможности для того, чтобы в противовес англичанам и французам осуществить своего рода реванш на Востоке после Крымской войны. Проведение выгодной для России демаркации границы по Амуру в 1860 г. и вторжение российских войск в Синьцзян после дунганского восстания 1864 г. – яркие свидетельства активизации дальневосточного направления царской политики. Эти и многие другие события, освещавшиеся в прессе и обсуждавшиеся в самых разных общественных кругах, привели к тому, что в русском общественном сознании возникло еще одно мощное мифогенное пространство западно-восточной дихотомии, в котором типологические черты западного и восточного активно использовались для определения границ русской и европейской идентичности.

Идентичность разнообразных народов Востока мало интересовала как либеральную, так и монархическую прессу, но формирующийся национальный образ Китая выступил важной точкой несогласия. Как справедливо заметил Чж. Сунь, такие официозные издания, как «Московские ведомости», «Новое время», «Русский вестник», «Гражданин» и др., «не хотели упустить китайского рынка, крайне боясь пробужденного не Россией, а Западом Китая», поэтому «большинство из них предпочитало неподвижный Китай динамичной и агрессивной Японии», либеральная же пресса клеймила деспотическую восточную страну, в подтексте подразумевая и российское самодержавие [12. С. 9]. В этой связи интересен не столько выбор Достоевским темы Китая, сколько характер его изображения – с одной стороны, он мало соответствует демократическим взглядам, с другой стороны, продолжает эксплуатировать самый общий стереотип застойного «китайского уклада», сформулированный еще в записных книжках 1860–1862 гг., – «есть, жиреть и в карты играть» [1. Т. 20. С. 195], вполне пригодный для критических рассуждений об отечественном образе жизни.

«Русский вестник» и «Московские ведомости», которые в эти годы редактировал М.Н. Катков, входили в круг обязательного чтения Достоевского, и именно из них писатель часто пополнял свои знания не только о российских и международных событиях, но также и об интересах Российской империи на Востоке с позиции правящих кругов. Примечательно, что в 1871 г. влияние монархических журналов на Достоевского высмеял Д.Д. Минаев, предложив рассматривать роман «Бесы» как иллюстрацию «к передовым статьям “Московских Ведомостей” <...> переданным в форме диалогов и приправленным нервно-болезненным анализом» [13. С. 58]. Таким образом, статья о бракосочетании императора Тунчжи обратила на себя внимание писателя не столько в плане книжного экзотизма, сколько в плане идейных устремлений круга М.Н. Каткова, В.П. Мещерского, В.В. Григорьева и др. Особенно важно отметить, что с ориенталистом Григорьевым, занявшим в 1874 г. должность начальника Главного управления по делам печати, Достоевский будет советоваться по широкому кругу проблем: от цензурных вопросов издания «Гражданина» до вопросов, непосредственно касающихся научных интересов востоковеда, о чем свидетельствуют, например, следующие отметки в записной книжке за 1875 г.: «С В.В. Григорьевым поговорить: 1) о про-

винциальной печати и 2) о наших азиатских окраинах (будет ли справедлива мысль о китайцах?)» [1. Т. 27. С. 112].

Китайская тема «Вступления» не ограничивается аллюзией на императора Тунчжи. Фразой «нам, то есть мне и князю Мещерскому, в Китае было бы несравненно выгоднее, чем здесь, издавать “Гражданина”» [1. Т. 21. С. 5] Достоевский вышел за пределы литературно-публицистического приема «красного словца» и переместил центр тяжести всей первой публикации ДП от 1 января 1873 г. в сферу типологического различия западного и восточного, и именно это различие составляет основу первых двух эпизодов – «I. Вступление» и «II. Старые люди»: в первом эпизоде обыгрывается типология русского и восточного (на материале китайского мира и индийской притчи), во втором – типология русского и западного (на материале воспоминаний о Герцене и Белинском).

Китай и его социокультурные процессы Достоевскому были совсем не интересны: он не упоминает здесь ни реакцию китайского народа на опиумные войны, ни восстания тайпинов и дунган, ни наличие в Китае либерально настроенных государственных и культурных деятелей (Вэн Тунхэ, Вэнь Тинши, Ли Вэньтянь, Цзян Бяо, Хун Цзюнь, Тань Сытун, Линь Сюй, Тан Цайчан, Цзэн Пу и др.), какие-либо другие известные ему данные, свидетельствующие о сложностях развития реально существующего Китая. Кроме того, он мог бы более пристально взглянуть в противоречивую фигуру 17-летнего китайского императора, запомнившегося современникам как реформатор, инициировавший попытку вестернизации государственных институтов Цинской империи: вторая опиумная война явно продемонстрировала необходимость подобных перемен. Ничего этого во «Вступлении» нет.

Картина реформирующейся по западным образцам восточной деспотии, как свидетельствует текст ДП, совсем не то, что требовалось Достоевскому. Он опирается не на доступные ему востоковедческие данные, а на базовые концепты ориентализма, конструирующие воображаемое пространство мифопоэтического Китая. В этом варварском традиционалистском государстве коррупция и всесильная бюрократия выступают не язвами общества, а знаками могущества и крепости государственных и социальных институтов. Ни-коим образом не уточняется, что для Китая этот порядок плох: в базовых представлениях ориентализма восточный человек не способен существовать вне традиционного уклада и тирании. Вспомним, чье творчество, по мысли Н.В. Гоголя, имело большое влияние на Достоевского, на воображаемом им арабском Востоке «правление без законов двигалось крепко и определенно» [14. Т. 8. С. 77], и именно внедрение европейского просвещения и европейских институтов послужило главной причиной упадка арабского халифата во время Ал-Мамуна [8. С. 113]. Также и в отношении Китая у Достоевского: засилье бюрократии, конечно, создает многочисленные трудности, однако «крепко и определенно» защищает общество от перемен и разрушения.

Восточная тирания, обоснованная многотысячелетней традицией, смысл и значимость которой в ДП никому не приходит в голову оспорить, держится исключительно на насилии и унижении. Население Востока в этой традиции жестко разделено на две группы, тяготеющие к разным полюсам: господа и рабы. Первые владychествуют и унижают без всякого злого умысла, потому

что так сложилось за тысячу лет и описано в двухстах томах церемоний, а вторые с удовольствием этому подчиняются. Концепт «не задумываться» при этом ключевой в описаниях Достоевского, поэтому унижение здесь не только естественное (ср. концепцию «естественного человека» у французских просветителей XVIII в.), но и вполне добровольное.

В черновых набросках, названных автором «Prospectus», первая фраза для «Вступления» – «полизать пол» и только после этого «Что такое Китай. Женитьба императора китайского» [1. Т. 21. С. 294]: являясь отправной точкой, унижение организует представление Достоевского о Китае, а через него – и журнальной деятельности в России. В разделе «Темы для Дневника литератора» Достоевский опять использует этот полюбившийся ему образ: «Китайщина, муравейник. Лизать пол, есть рис» [Там же. С. 296]. Черновые наброски помогают понять, что исходная мысль о Китае у Достоевского была несколько сложнее, чем получилось в итоге. Так, в тетрадках несколько раз появляется слово «скучно», в смысловом отношении связанное с понятиями «китайщина» и «наличие / отсутствие свободы»:

Скука! Что такое скука? Ощущение несвободы, неестественности [Там же. С. 294].

<...>

Скука и китайщина, дама и Мещерский... [Там же. С. 295].

На первый взгляд целенаправленно формируется подтекст, в котором образы Китая сближаются с либеральными идеями, однако дальнейшие записи это очевидным образом опровергают, декларируя безусловную ценность государственного порядка:

Никто ни о чем не задумывается, даже, может быть, и не думает, кроме как о деньгах. Я ничего против денег, а только против беспорядка. В сущности, у нас решительно тот же Китай, но только без всякого порядка, я потому так пленен Китаем, что читал статью о бракосочетании кит<айского> им<ператора>. Это прелестно [Там же. С. 295].

И далее:

Будь чем хочешь, лишь исполняй церемонии. Церемонии же в сущности есть результат тысячелетней протекшей жизни, результат реализма и опыта.

Будь чем хочешь, это твое дело, убийцей, мерзавц<ем>, нищим, фанатик<ом>, но исполняй церемонии. Церемонии же это та связь, по которой муравей<ник> распасться не может. Что выше этой свободы. О конечно, жи-вы *liberté* и *fraternité* [Там же. С. 295].

Черновые записи демонстрируют наличие в сознании Достоевского идеи, однозначно указывающей на то, что лозунги Великой французской революции, которыми руководствуются российские «бесы» (демократы, социалисты, нигилисты), – это очевидная опасность отечественным уложениям. Главная опасность, по мысли Достоевского, заключается не в том, что «убийцы, мерзавцы, нищие и фанатики» могут сделать, а в том, что они руководствуются

разрушительными идеями, в корне противоположными духовности и всечеловеческому единству. Образ муравейника в приведенной цитате – маркер системы представлений Достоевского о том, как и зачем должно быть связано российское общество (эти идеи проявлены в романе «Преступление и наказание», повести «Записки из подполья», цикле очерков-эссе «Зимние заметки о летних впечатлениях» и др. Подробнее об этом см.: [15, 16]). «Муравейник» в этой системе – общество западного типа, созданное разумом и расчетом, оно живет и развивается подобно природному механизму, объединившему мелких существ в толпу, не познавшую религиозных ценностей (бога, духовности, спасения, бессмертия, осознанной жертвенности и пр.)¹. В этом обществе «никто ни о чем не задумывается», все движимы природными инстинктами, высокие нравственные связи отсутствуют, и все потому, что каждый из этих существ по отдельности и все они вместе не обладают «правильной» верой в бога (русское православие vs западный католицизм vs восточное язычество). В этом контексте «китайский муравейник» мало отличается от европейских конструкторов: вместо братства – церемониальная иерархия, вместо идеи спасения – идея механистического выживания. Восточная тема усиливает и усложняет концепты, ранее использованные Достоевским для критики западного мира и либерально-социалистических идей. «Китайщина» становится символом перевернутой системы ценностей, тысячи лет исправно укреплявшей восточное общество, но совершенно непригодной для России.

Кроме того, иронию и гиперболу в описании китайских «церемоний» можно воспринимать как стилистический прием, позволяющий уйти от прямого реакционного высказывания о необходимости и непреходящей ценности «результатов реализма и опыта». Благодаря гиперболическим описаниям китайской бюрократической системы монархически настроенный читатель «Гражданина» должен был извлечь одну несложную мысль: при всех проблемах цензурных запретов и необходимости кланяться всемогущим бюрократам перед выпуском каждого номера, в России все же лучше и свободнее издавать журналы, чем в варварском Китае, так как здесь не бьют по ногам бамбуковыми дощечками и нет необходимости буквально лизать пол. С точки зрения Достоевского, проблема не в отрицании свободы, а в ее рамках, не в отрицании развития, а в его сущности, не в прославлении диктатуры, а в

¹ В этом отношении интересна интерпретация идей Достоевского во второй памятной речи Вл. Соловьева, посвященной писателю в 1882 г.: «Мир не должен быть спасен насильно. Задача не в простом соединении всех частей человечества и всех дел человеческих в одно общее дело. Можно себе представить, что люди работают вместе над какой-нибудь великой задачей и к ней сводят и ей подчиняют все свои частные деятельности, но если эта задача им навязана, если она для них есть нечто роковое и неотступное, если они соединены слепым инстинктом или внешним принуждением, то, хотя бы такое единство распространялось на все человечество, это не будет истинным всечеловечеством, а только огромным «муравейником». Образчики таких муравейников были, мы знаем, в восточных деспотиях – в Китае, в Египте, в небольших размерах они были уже в новое время осуществляемы коммунистами в Северной Америке. Против такого муравейника со всею силой восставал Достоевский, видя в нем прямую противоположность своему общественному идеалу. Его идеал требует не только единения всех людей и всех дел человеческих, но главное – человеческого их единения. Дело не в единстве, а в свободном согласии на единство. Дело не в великости и важности общей задачи, а в добровольном ее призвании» [17. Т. 3. С. 203–204].

утверждении стабильного порядка, который все более обретал ценность после «нечаевского дела».

В этой связи необходимо отметить еще один важный аспект концепта «унижение», не позволивший Достоевскому однозначно осуждать «китайщину», как он делал это ранее в подготовительных материалах к роману «Преступление и наказание» (1865–1866) [1. Т. 7. С. 161]. Воображаемое унижение Достоевского и князя Мещерского в главном управлении по делам печати Китая – это реализация инициатического сюжета, свойственного мышлению Достоевского: обновление и развитие должно происходить через преодоление испытаний, через обязательное перенесение нравственных и физических страданий (евангельский мотив умершего зерна). Эти инициатические конструкты начали формироваться в сознании Достоевского еще в 1850-е гг., и ассоциативно связаны именно с азиатским пространством Сибири и Семипалатинска, где становление большого писателя происходило исключительно в ситуации унижения и умирания. Таким образом, если Достоевский всерьез решил, что редактирование «Гражданина» – это новый и важный этап его писательского роста, этап, на котором более четко будет осознана необходимость пророческого служения России и человечеству, унижение должно стать важнейшей составляющей процесса редакторской инициации.

Инициация как процесс перерождения и обретения нового статуса или власти через насилие прочно ассоциируется с практиками архаических обществ, в дискурсе ориентализма – с практиками восточных культур, описываемых по отношению к автору как архаичные. Поэтому сравнивая бракосочетание китайского императора со своим редакторским назначением, Достоевский выводит на первый план мифологические мотивы предопределения и обретения священной власти: как китайский император только после заключения брака получал верховную власть над подданными, так и писатель после посещения цензурного комитета обретал статус издателя. Достоевский комически обыгрывает метасюжет инициации: оба – и редактор и император – при этом получали священное право ни о чем не задумываться, поскольку после инициации удобно встраивались в вечный механизм империи. Ориенталистская ситуация, когда в Китае и в России «никто не задумывается», явно выводит описание Китая из плоскости ориентализации (отстраненного изобретения Востока) в ситуацию самоориентализации (придания восточных черт собственному народу в целях самокритики):

Мы оба предстали бы в назначенный день в тамошнее главное управление по делам печати. Стукнувшись лбами об пол и полизав пол языком, мы бы встали и подняли наши указательные персты перед собою, почтительно склонив головы. Главноуправляющий по делам печати, конечно, сделал бы вид, что не обращает на нас ни малейшего внимания, как на влетевших мух. Но встал бы третий помощник третьего его секретаря и, держа в руках диплом о моем назначении в редакторы, произнес бы нам внушительным, но ласковым голосом определенное церемониями наставление. Оно было бы так ясно и так понятно, что обоим нам было бы невероятно приятно слушать. На случай, если б я в Китае был так глуп и чист сердцем, что, приступая к редакторству и сознавая слабость моих способностей, ощутил бы в себе страх и

угрызение совести, – мне бы тотчас же было доказано, что я вдвое глуп, питая такие чувства. Что именно с этого момента мне вовсе не надо ума, если бы даже и был; напротив того, несравненно благонадежнее, если его нет вовсе. И уж, без сомнения, это было бы весьма приятно выслушать. Заклучив прекрасными словами: «Иди, редактор, отныне ты можешь есть рис и пить чай с новым спокойствием твоей совести», третий помощник третьего секретаря вручил бы мне красивый диплом, напечатанный на красном атласе золотыми литерами, князь Мещерский дал бы полновесную взятку, и оба мы, возвращаясь домой, тотчас же бы издали великолепнейший № «Гражданина», такой, какого здесь никогда не издадим. В Китае мы бы издавали отлично [1. Т. 21. С. 5–6].

Свобода от совести и от ума – часть образа редактора, в структуре которого наличествует не только идейно-художественный, но и экономический компонент. Зная плачевное финансовое положение «Гражданина», Достоевский между строк утверждает, что понимает этот щекошливый вопрос: выгода с момента инициации соотносится не только с интересами империи и общестственности, но и с интересами кармана издателя, что влечет за собой неминуемый в будущем конфликт интересов. Воображая, что в варварском Китае этой проблемы просто не существует, Достоевский выстраивает еще один сюжет самоориентализации – противопоставление российского и китайского, формируя сложное целое «отторжения-согласия» по отношению к образу Китая. Это сложное целое держится на нескольких лаконичных, ироничных и в то же время вполне серьезных высказываниях, разбросанных между детальными описаниями поведения в воображаемом пространстве Китая, о котором превосходстве китайского общественного устройства над российским. Воображаемый Китай стабилен и потому не требует революционной и умственной активности в гражданской сфере. Поэтому Достоевский формулирует самоориентализацию как «вестернизацию наоборот» – если вместо слова «Китай» поставить слово «Европа», получатся типичные умозаключения западников:

<...> В Китае было бы несравненно выгоднее, чем здесь, издавать «Гражданина» [Там же. С. 5].

<...> В Китае мы бы издавали отлично [Там же. С. 6].

<...> В Китае я бы отлично писал; здесь это гораздо труднее. Там всё предусмотрено и всё рассчитано на тысячу лет; здесь же всё вверх дном на тысячу лет [Там же].

<...> Пожалуй, мы тот же Китай, но только без его порядка. Мы едва лишь начинаем то, что в Китае уже оканчивается. Несомненно придем к тому же концу, но когда? Чтобы принять тысячу томов церемоний, с тем чтобы уже окончательно выиграть право ни о чем не задумываться, – нам надо прожить по крайней мере еще тысячелетие задумчивости. И что же – никто не хочет ускорить срок, потому что никто не хочет задумываться [Там же. С. 7].

Ирония или даже сарказм по отношению к западнической мифологеме «догоняющей России» не позволяют говорить об отрицательном образе Китая, сформированном во «Вступлении» к ДП. Этот образ – сложный полеми-

ческий конструктор, который не доказывает одну определенную мысль, а провоцирует читателя на типологические цивилизационные сопоставления и, таким образом, – на размышления о судьбах России. В этом его главная идеологическая и композиционная функция.

Дискурс русского ориентализма, в котором восточные образы позволяют наметить прямой выход к вопросам национального самоопределения через обсуждение «азиатчины» или «китайщины», тяготеет к созданию широкой сети интертекстуальных связей и в конечном итоге к формированию сверхтекста – восточного текста русской литературы [8. С. 5]. Эта особенность собирательного русского образа Востока связана с тем, что русская словесность XVIII–XIX вв. включила Восток в круг наиболее важных тем и сюжетов: величие и место России и русского человека в мире, личная свобода и свобода творчества от любой тирании, сущность и назначение искусства, поиски смысла жизни и др. Обращение к этим острым темам предполагает кроме всего прочего прямые или косвенные отсылки к претекстам, поскольку эта сфера имеет принципиально диалогическую структуру.

В этой связи интересно отметить, что китайские образы «Вступления» – это способ построения узнаваемой жанрово-тематической реминисценции на рассказ «Записки сумасшедшего» (1834) Н.В. Гоголя¹. Фантастический рассказ Гоголя от первого лица о том, как титулярный советник Поприщин сошел с ума, съедаемый маниакальной идеей поиска своего места в мире, не имел прецедента не только в творчестве Гоголя, но и во всей русской словесности. Фактической основой такого сравнения служат многочисленные упоминания столь важного для Достоевского имени Гоголя, рассыпанные по тексту ДП. Кроме того, имя Поприщина дважды открыто упоминается в ДП за 1873 г. в главе XI «Мечты и грезы», где обсуждается русское пьянство, имеющее размеры, способные потрясти разум:

Мечтал же Поприщин («Записки сумасшедшего» Гоголя) об испанских делах: «...все эти события меня так убили и потрясли, что я...» и т. д., писал он сорок лет назад. Я признаюсь, что и меня иногда многое потрясает, и, право, я даже в унынии от моих мечтаний. Я на днях мечтал, например, о положении России как великой европейской державы, и уж чего-чего не пришлось мне в голову на эту грустную тему! [1. Т. 21. С. 91]

<...>

Мечта скверная, мечта ужасная, и – слава богу, что это только лишь сон! Сон титулярного советника Поприщина, я с этим согласен [Там же. С. 95].

При исследовании первой январской публикации ДП в 1873 г. важно отметить фактическое соответствие первой части «Вступления» главам «Записок сумасшедшего», где персонаж, подобно Достоевскому, осмелился поста-

¹ Необходимо отметить, что первая такого рода жанрово-тематическая перекличка с гоголевскими «Записками сумасшедшего» – это, конечно, «Записки из подполья» (1864), а «Дневник писателя» больше соотносится с «Выбранными местами из переписки с друзьями» (1846–1847). Компаративный анализ этих произведений дает глубокое представление о «гоголевском тексте» у Достоевского, однако необходимость реконструкции китайской темы в рамках небольшой статьи требует обратить более пристальное внимание на воображаемое путешествие Поприщина как один из важнейших источников китайской темы «Вступления» в «Дневник писателя» за 1873 г.

вить свою персону в ряд важнейших газетных новостей. В главе «Декабря 5» Поприщин пишет:

Я сегодня все утро читал газеты. Странные дела делаются в Испании. Я даже не мог хорошенько разобрать их. Пишут, что престол упразднен и что чины находятся в затруднительном положении о избрании наследника и оттого происходят возмущения [14. Т. 3. С. 206].

Главный мотив, связывающий ДП и «Записки сумасшедшего» – это мотив мечты о величии маленького человека, осознавшего себя в большом историческом контексте западно-восточной дихотомии. Идеологической основой такой мечты является представление о мессианской роли России в мире: если Россия играет особую роль, об этом вполне может мечтать и отдельно взятый русский человек. Пафос иронии Гоголя и Достоевского определяет, что безосновательное всемирное величие достижимо только в мечтах помраченного сознания, тогда как настоящее величие напрямую связано со способностью здраво определять свое место. Редактор во вступлении к ДП демонстративно теряет такую способность сразу после известия о своем назначении, и только посещение китайской бюрократической машины помогает ему самоопределился. Испанские новости совершенно выбивают почву из-под ног титулярного советника, так что на следующий день вместо того, чтобы как обычно бежать на работу в департамент, маленький человек начинает чудить:

<...> разные причины и размышления меня удержали. У меня все не могли выйти из головы испанские дела. Как же может это быть, чтобы донна сделалась королевою? Не позволят этого. И, во-первых, Англия не позволит. Да притом и дела политические всей Европы: австрийский император, наш государь... Признаюсь, эти происшествия так меня убили и потрясли, что я решительно ничем не мог заняться во весь день. Мавра замечала мне, что я за столом был чрезвычайно развлечен. И точно, я две тарелки, кажется, в рассеянности бросил на пол, которые тут же расшиблись. После обеда ходил под горы. Ничего поучительного не мог извлечь. Большею частию лежал на кровати и рассуждал о делах Испании [Там же. С. 207].

«20 декабря» – это начало первого предложения ДП Достоевского, после которого сразу же теряется связь с реальностью и автор переносит читателя в воображаемый мир Китая. «Декабря 8» – это был последний день, когда Поприщин датировал свою запись реальным числом. Рассуждения об испанских проблемах престолонаследия пошатнули остатки разума, и уже на следующий день, обозначенный как «Год 2000 апреля 43 числа», мелкий государственный чиновник, исполненный важности своего существования, высокопарно объявляет:

Сегодняшний день – есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я [Там же].

И далее, «тридцатого февраля», Поприщин переносится в Мадрид, где происходит эпизод, структурно соответствующий эпизоду посещения глав-

ного китайского управления по делам печати у Достоевского. В этой сцене фигурируют большой начальник, многочисленные служащие, упоминаются насильственные действия высокопоставленного чиновника и главное – совершается обряд инициации:

Мне показалось чрезвычайно странным обхождение государственного канцлера, который вел меня за руку; он толкнул меня в небольшую комнату и сказал: «Сиди тут, и если ты будешь называть себя королем Фердинандом, то я из тебя выбью эту охоту». Но я, зная, что это было больше ничего кроме искушения, отвечал отрицательно, – за что канцлер ударил меня два раза палкою по спине так больно, что я чуть было не вскрикнул, но удержался, вспомнив, что это рыцарский обычай при вступлении в высокое звание, потому что в Испании еще и доньне ведутся рыцарские обычаи [14. Т. 3. С. 211].

Достоевский описывает, что готов так же покорно сносить удары бамбуковыми дощечками по пяткам, как и Порищин удары палкой по спине, поскольку в итоге подобного унижения – вступление в «высокое звание». После инициации Поприщин решает заняться государственными делами и внезапно его осеняет гениальная мысль, которую можно считать отправной точкой рассуждений Достоевского о том, что «Китай – это та же Россия»:

Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их за разные государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай [Там же. С. 211–212].

Для чего Достоевскому понадобилась такая явная переключка с гоголевским текстом? С одной стороны, Достоевский упорно полемизирует с грубыми заявлениями критики о содержании романа «Бесы», который совсем недавно в «Биржевых ведомостях» неким М.Н. был объявлен галлюцинациями Поприщина [1. Т. 21. С. 409], а с другой стороны, предупреждает подобные отзывы о «странности» и «болезненности» своей затее с публичным дневником. Как мы помним, это упреждение было совсем не лишним, поскольку вскоре после выхода первого номера «Гражданина» последовала рецензия Л.К. Панютина (псевдоним – Нил Адмирари), в которой необычная рубрика Достоевского, начатая «в восточном духе», обязательно соотнеслась, хоть и с фактическими ошибками (у Гоголя – «дея», а не «бeya»), с безумным персонажем Гоголя:

«Дневник писателя» <...> напоминает известные записки, оканчивающиеся восклицанием: «А все-таки у алжирского бей на носу шишка!» Довольно взглянуть на портрет автора «Дневника писателя», выставленный в настоящее время в Академии художеств, чтобы почувствовать к г-ну Достоевскому ту самую «жалостливость», над которою он так некстати глумится в своем журнале. Это портрет человека, истомленного тяжким недугом [Там же. С. 402].

Панютин, таким образом, как бы говорит: Достоевский начал с того, чем кончил Поприщин. Причем в обоих случаях одним из маркеров явного сумасшествия являются глубокомысленные суждения о Европе и Востоке в перспективе большой политики. Шишка под носом алжирского дея и дела Испании явно коррелируют с бракосочетанием императора Тунчжи и назначением нового редактора «Гражданина»: в обоих случаях повествователь комически сопоставляет свое частное существование с «важными» событиями мира, воображаемо разделенного на Запад и Восток.

На первый взгляд может показаться, что Панютин оказался прав, и Достоевский в дальнейшем прямо следует путем гоголевского безумца: фантастический рассказ «Бобок», начатый во второй половине января 1873 г., также структурно напоминает «Записки сумасшедшего» [1. Т. 21. С. 403], как и «Вступление» к дневнику писателя. Кроме того, как имперское, так и фантастическое начало ДП со временем будут только усиливаться (суждения о еврейском и восточном вопросах, об эмансипации и религии, о пороках и всемирном значении русского народа, публикация вставных фантастических новелл «Кроткая», «Сон смешного человека»). Однако не стоит забывать, что Достоевский вполне открыто обыгрывал ситуацию самовозвеличивания, располагая ее в плоскости безумия, а значит, это можно воспринимать как вариант осмысленной, сложнейшей и во многом противоречивой ориенталистской самокритики: в споре западников и славянофилов Достоевский был верен своим представлениям об «особом русском пути» преодоления не только соблазнов Запада, но и дремучей «китайщины».

Литература

1. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
2. Захарова О.В. Спор с Достоевским о «Бесах»: проблема непонимания романа в прижизненной критике // Проблемы исторической поэтики. 2012. № 10. С. 143–162.
3. Прохоров Г.С. О композиции «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2013. № 14 (305). С. 58–60.
4. Фридендер Г.М. Реализм Достоевского. М.; Л.: Наука, 1964. 404 с.
5. Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Языки славянской культуры, 1997–2012.
6. Алексеев П.В. Достоевский и Китай: к постановке имагологической проблемы // Диалог культур: поэтика локального текста: материалы V Междунар. науч. конф., Горно-Алтайск, 26–29 сентября 2016 г. / под ред. П.В. Алексеева: в 2 т. Т. 1. Горно-Алтайск, 2016. С. 38–52.
7. Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом: Образ Китая в России в XVII–XXI веках. М.: Восток – Запад: АСТ, 2007. 598 с.
8. Алексеев П.В. Концептосфера ориентального дискурса в русской литературе первой половины XIX в.: от А.С. Пушкина к Ф.М. Достоевскому. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. 348 с.
9. Дацышен В.Г. История русско-китайских отношений в конце XIX – начале XX вв. Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. пед. ун-та, 2000. 285 с.
10. Нарочницкий А.Л. Колониальная политика капиталистических держав на Дальнем Востоке 1860–1896. М.: Изд-во АН СССР, 1956. 899 с.
11. Сладковский М.И. Отношения между Россией и Китаем в середине XIX века // Новая и новейшая история. 1975. № 3. С. 55–64.
12. Сунь Чжунцин. Русская публицистика о проблемах внешней политики России в отношении Китая: конец XIX – начало XX вв.: дис. ... канд. ист. наук. М., 2004. 246 с.
13. *L'homme qui rit* [Минаев Д. Д.]. Невинные заметки // Дело. 1871. № 11. Ноябрь. С. 54–75.
14. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: в 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952.

15. Илатова С.А. «Муравейник» в социальной прогностике Платонова и Достоевского // Творчество Андрея Платонова. Кн. 4. СПб., 2008. С. 22–38.

16. Зограб И. «Европейские гипотезы» и «русские аксиомы»: Достоевский и Джон Стюарт Милль // Русская литература. 2000. № 3. С. 37–52.

17. Соловьев В.С. Собрание сочинений: в 10 т. 2-е изд. СПб.: Книгоиздательское товарищество «Просвещение», 1912.

CHINESE INTRODUCTION TO A WRITER'S DIARY BY FYODOR DOSTOEVSKY

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 49. 98–112. DOI: 10.17223/19986645/49/7

Pavel V. Alekseev, Gorno-Altai State University (Gorno-Altai, Russian Federation).

E-mail: conceptia@mail.ru

Keywords: Dostoevsky, *A Writer's Diary*, China, Russian Orientalism, Imperial discourse, Gogol, "The Diary of a Madman".

This article focuses on the imagological study of the Chinese theme in the Introduction to Dostoevsky's *A Writer's Diary* in 1873. To date, the problem "Dostoevsky and China" and, in particular, the Chinese motives in *A Writer's Diary* has never been a subject of a comprehensive study. The original idea of the article is that the Chinese theme of "Introduction" is not a random case of operating with Oriental images and stories (the Emperor of China, the Chinese bureaucracy, Chinese execution, etc.), but a logical manifestation of Orientalism and its mythopoetic structures. The term Russian Orientalism refers to a type of creative thinking that occurred in the context of Western Europe and Russia's Imperial and colonial practices and based on a specific philosophical-poetic view of the world, virtually divided into Russia, the West and the Orient.

The article explains why the image of China (but not other Oriental countries) served as the most convenient literary-journalistic technique of conversation about creativity, journalism and the level of reading and civic identity in the Russian Empire in the early 1870s. It also analyzes the reasons for the appeal of Dostoevsky not to the special data about the actual Qing Empire, in fact, a semi-colonial country on the brink of collapse after the opium wars and ethnic uprisings, but to the imaginary China of Russian Orientalism, the centuries-old Empire that nothing bad can happen with.

The concepts of Orient, Oriental people, despotism, humiliation, depersonalization ("anthill"), united by the system of Russian Orientalism, determine not only the intention of "superiority" in relation to a variety of non-European cultures, but the basic orientations of cultural identity. The language of Orientalism referring to the Chinese theme gave Dostoevsky the necessary opportunities for the formulation of the problems of Russian identity: the writer creates an ambivalent image of the bureaucratic China, at the same time juxtaposed with the image of Russia and opposed to it (problematic complex of Orientalization and self-Orientalization). In connection with the problem of humiliation and violence the article discusses the concept of initiatic narrative: Dostoevsky comically plays with the metaplot of the initiation of the editor, but at the same time seriously believes that the renewal and development of the individual must be through overcoming challenges, through mandatory transfer of moral and physical suffering (the Evangelical motif of the deceased grain).

For the first time in the framework of the Russian Orientalism theory, the Chinese images of "Introduction" are considered in the intertextual connection with N. Gogol's "The Diary of a Madman" (1834): the article studies the genre-thematic, stylistic and conceptual relationship between these two texts.

References

1. Dostoevskiy, F.M. (1972–1990) *Polnoe sobranie sochineniy. V 30 t.* [Complete works. In 30 vols]. Leningrad: Nauka.

2. Zakharova, O.V. (2012) Polemic with Dostoevsky on "Demons": the problem of misunderstanding of the novel in the lifetime criticism (1871–1873). *Problemy istoricheskoy poetiki – The Problems of Historical Poetics.* 10. pp. 143–162. (In Russian).

3. Prokhorov, G.S. (2013) The Composition of the Diary of a Writer by F. M. Dostoevsky. Preliminary Report. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Chelyabinsk State University.* 14 (305). pp. 58–60. (In Russian).

4. Fridlender, G.M. (1964) *Realizm Dostoevskogo* [The realism of Dostoevsky]. Moscow; Leningrad: Nauka.
5. Bakhtin, M.M. (1997–2012) *Sobranie sochineniy. V 7 t.* [Works: in 7 vols]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
6. Alekseev, P.V. (2016) [Dostoevsky and China: to the formulation of the imagological problem]. *Dialog kul'tur: poetika lokal'nogo teksta* [Dialogue of cultures: poetics of the local text]. Proceedings of the V international conference. Gorno-Altaysk. 26–29 September 2016. In 2 vols. Vol. 1. Gorno-Altaysk: Gorno-Altaysk State University. pp. 38–52.
7. Lukin, A.V. (2007) *Medved' nablyudaet za drakonom. Obraz Kitaya v Rossii v XVII–XXI vekakh* [The bear is watching the dragon. The image of China in Russia in the 17th–21st centuries]. Moscow: Vostok-Zapad: AST.
8. Alekseev, P.V. (2015) *Kontseptosfera oriental'nogo diskursa v russkoy literature pervoy poloviny XIX v.: ot A.S. Pushkina k F.M. Dostoevskomu* [The conceptual sphere of oriental discourse in the Russian literature of the first half of the 19th century: from A.S. Pushkin to F.M. Dostoevsky]. Tomsk: Tomsk State University.
9. Datsyshen, V.G. (2000) *Istoriya russko-kitayskikh otnosheniy v kontse XIX – nachale XX vv.* [The history of Russian-Chinese relations in the late 19th – early 20th centuries]. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State Pedagogical University.
10. Narochnitskiy, A.L. (1956) *Kolonial'naya politika kapitalisticheskikh derzhav na Dal'nem Vostoke 1860–1896* [Colonial policy of the capitalist powers in the Far East in 1860–1896]. Moscow: USSR AS.
11. Sladkovskiy, M.I. (1975) *Otnosheniya mezhdru Rossiei i Kitaem v seredine XIX veka* [Relations between Russia and China in the middle of the 19th century]. *Novaya i noveyshaya istoriya*. 3. pp. 55–64.
12. Sun Zhijing. (2004) *Russkaya publitsistika o problemakh vneshney politiki Rossii v otnoshenii Kitaya: konets XIX – nachalo XX vv.* [Russian journalism about the problems of Russia's foreign policy towards China: the end of the 19th – early 20th centuries]. History Cand. Diss. Moscow.
13. L'homme qui rit [Minaev, D.D.]. (1871) *Nevinnye zametki* [Innocent notes]. *Delo*. 11. pp. 54–75.
14. Gogol, N.V. (1937–1952) *Polnoe sobranie sochineniy. V 14 t.* [Complete works: in 14 vols]. Moscow; Leningrad: USSR AS.
15. Ipatova, S.A. (2008) “Muraveynik” v sotsial'noy prognostike Platonova i Dostoevskogo [“Muraveynik” in the social prognostics of Platonov and Dostoevsky]. In: Kolesnikova, E.I. (ed.) *Tvorchestvo Andrey Platonova* [Works of Andrey Platonov]. Vol. 4. St. Petersburg: Nauka.
16. Zokhrab, I. (2000) “Evropeyskie gipotezy” i “russkie aksiomy”: Dostoevskiy i Dzhon Styuart Mill' [“European hypotheses” and “Russian axioms”: Dostoevsky and John Stuart Mill]. *Russkaya literatura*. 3. pp. 37–52.
17. Solov'ev, V.S. (1912) *Sobranie sochineniy. V 10 t.* [Works: in 10 vols]. 2nd ed. St. Petersburg: Knigoizdatel'skoe tovarishchestvo “Prosveshchenie”.

УДК 821.161.1-94: 82.091

DOI: 10.17223/19986645/49/8

С.Л. Андреева, М.Л. Бедрикова

ЖАНРОВЫЕ ПРИЗНАКИ АНТИУТОПИИ В ПОВЕСТИ Ю. ДАВЫДОВА «АФРИКАНСКИЙ ВАРИАНТ»

В статье исследуются признаки жанра антиутопии в исторической повести Ю. Давыдова «Африканский вариант» (1970). Произведение показательно с точки зрения механизма объединения жанров. Писатель, используя архивный материал и жанровые особенности повести, акцентирует антиутопические концепты, которые постепенно формируют типичную концептосферу антиутопии и превращают историческую повесть в форму «футурологической диагностики».

Ключевые слова: историческая повесть, антиутопия, синтез жанров, концептосфера, утопия, утопизм, Ю. Давыдов.

М.М. Бахтин в своих философско-эстетических исследованиях проблемы литературного жанра отмечал его *трансформационный потенциал* (способность «осовремениваться», «постоянно обновляться»; динамизм «архаики жанра»), базирующийся на познавательной природе и конструктивном принципе жанра [1. С. 142]. Синтез жанровых форм и историко-литературный аспект развития современной исторической прозы находятся в неразрывной связи.

Проблема синтеза или сближения литературных жанров может иметь ряд направлений исследования:

- 1) в рамках изучения трансформации отдельных жанров и установления их допустимой вариантности;
- 2) в русле теории канона в литературе и культуре;
- 3) в рамках формального направления в теории литературы (деканонизация жанра, антижанровые признаки);
- 4) в рамках прецедентности и интертекстуальности художественных текстов;
- 5) в парадигме когнитивного направления в литературоведении («память жанра»; концепты и концептосфера художественного произведения; когнитивная база произведения);
- 6) в рамках психологии литературы (жанр как инвариант или ориентир восприятия);
- 7) в рамках философско-методологических исследований проблемы жанра и др.

В процессе изучения жанровых образований и трансформаций специалисты разных направлений приходят к выводу о существовании гносеологических и когнитивных факторов жанрообразования: «тематической ориентации на жизнь», «внутреннем тематическом отношении к действительности», концепции человека в его отношении к миру (М.М. Бахтин [1], П.Н. Медведев [2], Ф.З. Канунова [3] и др.).

Жанр понимается как «культурно-исторический тип условности», задающий границы интерпретации текстов: «Идёт постоянная смена условностей, усложнение, синтез жанров. Современные произведения несут в себе качества нескольких жанров, истолкование же ведётся по одному жанровому признаку и потому оказывается обеднённым. <...> Свойство произведений – удовлетворять различные художественные запросы – заставляет говорить о внутренней жанровой многоликости произведений, о различии направлений истолкования и об объективности истолкования, границах его, которые заданы «памятью жанра» и современным состоянием его» [4. С. 4–5].

В настоящей статье мы обращаемся к проблеме синтеза жанра повести и антиутопии. Под синтезом жанра мы понимаем не трансформацию жанра, а *полную реализацию сущностных признаков каждого из объединяющихся жанров*. Однако при интерпретации текста наиболее знакомый, привычный жанр может доминировать. В этом случае мы говорим о *жанровых признаках одного в пределах модели другого жанра*: «Жанр предстаёт в структуре конкретного произведения в основном «в снятом виде», в соотношении с каноном, а также в форме экспресsem – *жанрово-стилевых заострений* в пределах отдельного компонента повествования» [5. С. 3–4].

В нашем случае синтез антиутопии и исторической повести можно оценивать как *синтез не двух, а трех жанровых форм – повести (исторической), антиутопии, утопии*, поскольку жанровая модель последней латентно сохраняется в антиутопиях.

Литературоведение XX столетия глубоко исследовало историю мировых утопий, выявив различные аспекты постижения утопического сознания в художественной литературе. Этому посвящены труды Н.Н. Арсентьевой [6], М. Геллера [7], Х. Гюнтера [8], А.М. Зверева [9], Б.А. Ланина [10], Т.Н. Марковой [11], Г. Морсона (G. Morson) [12], [13], Р. Гальцевой, И. Роднянской [14], В.А. Чаликовой [15], [16], W. Golding [17] и многих других. Представление об *антиутопии* в исследованиях рубежа XX–XXI вв. неоднозначно. Ее относят то к виду утопий (Н. Ковтун [18], Г. Морсон, В. Чаликова [12], В. Шестаков [19]), то оценивают как жанр, претерпевающий эволюцию, имеющий различные жанровые модификации, сформировавшиеся в ходе его развития (Н. Арсентьева [6], А. Зверев [9], Б. Ланин [10]), то видят в антиутопии форму художественного постижения социального идеала, то рассматривают как специфическое художественное сознание и отражение возникшего «рубежного сознания» [11. С. 5]. Но, так или иначе, согласимся здесь с Т.Н. Марковой, антиутопия оказалась «неотъемлемой частью художественного мышления конца XX – начала XXI в.» [11. С. 5].

Жанровые признаки антиутопий, их типология в литературоведении окончательно еще не определены, как нам представляется, из-за различий в подходах к оценке жанра как категории. В квалификации жанра литературного произведения всегда есть опасность признать какой-то внешний признак конституирующим. Так, пародийность часто считают неотъемлемым признаком антиутопий (В. Агеносов [20], Г. Гюнтер [8] и некоторые другие), тем самым неоправданно сужая количество их разновидностей.

Глубинный (когнитивный) подход к категории жанра расширяет представление об антиутопической художественной форме, объясняя потенциал и

пределы ее вариантности. Именно такой не гротескной, не пародийной, но критичной (и по форме, и по содержанию) в отношении к утопии является историческая повесть «Африканский вариант» [21] Ю.В. Давыдова (1924–2017) – русского советского писателя, признанного мастера, автора исторических рассказов, повестей и романов. Мы квалифицируем это произведение как повесть, присоединяясь к предыдущим исследователям, для которых очевидна принадлежность «Африканского варианта» к этому жанру, что признано специалистами по исторической прозе и самим писателем. Наличие жанровых признаков антиутопии (и вообще синтеза жанров) нам только предстоит в этой статье доказать. Произведения Ю. Давыдова относят к исторической *параболической* прозе (по Н. Щедриной, *параболическая* проза предполагает «удаление от данности с тем, чтобы вернуться к ней на уровне философского постижения»). Писатель подчеркивал: «Есть люди, путающие понятия <...> [Вы. – С.А., М.Б.] уходите, дескать, в историю <...> Послушайте, в историю не уходят. К истории приходят. Чтобы поразмыслить. В этом все дело» (цит. по: [22. С. 9]).

Эволюция антиутопического жанра в отечественной литературе, на наш взгляд, не обусловлена, но связана с мощной художественной закономерностью, проявившейся в литературном процессе еще в 1970-е гг., – *актуализацией «интеллектуальной тенденции»*. Проблематика ряда произведений этого периода характеризуется усложненностью: вопрос о внутренних ресурсах личности в катастрофических обстоятельствах, вопрос «о границах» человека и человеческого (по Достоевскому). «Интеллектуальное течение 1970-х гг. имело особую поэтику, которая, по мнению Н. Лейдермана, М. Липовецкого, воплощалась в художественных приемах (например, диспут, дискуссия, психологический эксперимент, детективное расследование, интеллектуальная экстраполяция в произведениях Ю. Домбровского, братьев Стругацких, Ю. Трифонова, А. Крона, А. Битова, В. Тендрякова) [23. С. 134].

Повесть «Африканский вариант» написана в начале *вершинного периода в творчестве писателя*, совпавшего с расцветом советской литературы, исторической прозы в частности. Ю. Давыдов разрабатывал *тему народовольческого движения*: «Судьба Усольцева» (1973), «Глухая пора листопада» (1968), «Соломенная сторожка» (1982, полностью 1986) и др. «Африканский вариант» – это первая часть дилогии, объединенной «сквозным» героем – интеллигентом Н. Усольцевым (вторая часть – это «Вечера в Колмове», лирическая повесть о Г. Успенском, исследующая итоги народовольческого движения) [22. С. 10].

Н. Щедрина формулирует кредо Ю. Давыдова: 1) предостережение о нравственной деградации народовольцев, перешедших к террору; 2) анализ причин распространения в революционной среде «иезуитского принципа цели, которая оправдывает любые средства» [24. С. 40].

В основе повести «Африканский вариант» лежит документально подтвержденный исторический факт авантюрной попытки создания в конце XIX в. Николаем Ивановичем Ашиновым (1856–1902) сообщества «Новая Москва» в сорока верстах от Таджура (побережье Таджурского залива в Эфиопии). Сын царицынского (по другим сведениям, пензенского) мещанина Н.И. Ашинов выдавал себя за атамана «вольных казаков», якобы живших в

приграничных с российским Закавказьем областях Персии и Турции» [25]. В 1888 и 1889 гг. он предпринял две попытки создать русское поселение под названием «Новая Москва» на побережье залива Таджура с мессианской целью укрепления православия на африканском континенте, а фактически с целью колонизации части Эфиопии. Вторая его экспедиция получила уже полуофициальный статус, так как в ней в качестве посланца Русской православной церкви участвовал настоятель Константинопольского подворья афонского Пантелеймоновского монастыря Паисий, специально для исполнения этой миссии посвященный в сан архимандрита. Однако после вооруженного столкновения с французами (район залива Таджура был владением Франции) русские колонисты были насильственно депортированы на родину [25]. История «Новой Москвы» получила широкую и скандальную известность благодаря многочисленным публикациям в русской и иностранной прессе. К этому историческому факту кроме Ю. Давыдова обращался В. Пикуль в рассказе «Вольный казак Ашинов» (1976) [26. Т. 2]. В 1888 г. вольные казаки, которых возглавлял атаман Н.И. Ашинов, а также примкнувшая к ним группа интеллигентов-энтузиастов (в том числе земский врач Н. Усольцев) отправляются на пароходе из Одессы в далекую Абиссинию (Эфиопию), чтобы основать там русскую колонию – общину, землю обетованную – «Новую Москву».

Жанровое новаторство повести Ю. Давыдова в том, что он «развернул» антиутопию в прошлое, хотя она, как правило, направлена на прогнозирование *Будущего*. Анализ прошлого стал формой «футурологической диагностики», характерной для «параболической» прозы – *художественное исследование прошлого с целью прогнозирования будущего*.

Всякая антиутопия, будучи критикой, базируется на *утопии* (проекте будущего) либо *утопизме* – идеологии, при которой, по убеждению В.П. Зинченко, «превращенные формы сознания становятся извращенными, рефлексия утрачивает право голоса, а ее возможный результат – понимание – заменяется автоматизмом, рефлексом, когда человек утрачивает свое Я» [27. С. 221]. «Утопической базой» для Ю. Давыдова послужила не столько фактическая сторона события, сколько идеологическая. В объяснении целесообразности «Новой Москвы» писатель видел манипуляцию сознанием вольнодумцев-почвенников: сначала романтизация извечной мечты о новой земле, представления о счастливом времени или счастливом устройстве жизни предков, а затем оправдание высокой целью кровопролития, которым всегда сопровождался захват земель¹. Обстоятельства организации «Новой Москвы» подсказали Ю. Давыдову художественную форму. Ведя привычную для себя канву исторического повествования он с помощью «жанровостильных заострений» последовательно обозначает канонические концепты утопий и антиутопий. Узнаваемость антиутопических концептов, прежде всего тематическая, не фрагментарность их, не частичность, а целостность построения концептосферы антиутопии (и, соответственно, утопии) позволяет

¹ Любая колонизация со времен крестовых походов проходила и проходит под идеологическим (мировоззренческим) флагом просвещения «неразумных» и «насаждения» на их земле гуманизма.

расценивать данный факт как проявление соответствующих жанровых признаков, как синтез жанров.

Рассмотрим последовательно проявления «жанрово-стилевых заострений» для ввода антиутопических концептов в повести Давыдова.

В утопиях и антиутопиях обязательно излагается главная идея – утопическая программа. Концепция «Новой Москвы» уходит корнями в крестьянские утопии. Герой повести (повествователь) Н.Н. Усольцев отмечает: «...мужик любит правду и справедливость» [21. Т. 1. С. 328]. Беда деревни, по мнению земского доктора, в постоянной «регламентации» и вмешательстве «заботников». Вот почему крестьянин упорно мечтает «ускользнуть от вездесущего «начальства». Утопические настроения подпитываются «разговорами по душам» «на вечные темы»: «...раздел, отрезки, аренда, теснота, нужда – неизменно возникал мотив «белых вод», заповедных краев, обетованной стороны. Разве не здесь духовный смысл и неудержимого потока за Урал, в неизведанные дебри, и устремление к какой-то реке Дарье, и бегства на юг, и переправы за океан, в Аляску? Нет оснований видеть в русском мужике искателя приключений. Он вольности ищет, «волюшки», чтоб уж хоть и работать до седьмого пота, но работать-то на себя» [Там же].

Фольклорное основание утопизма, обозначенное Давыдовым, прослеживается в упомянутом образе белых вод – Беловодья, сохранившегося в нескольких списках «Путешественника» Марка Топозерского («Путеводитель») [28–30]. Беловодье – это легендарно-утопическая страна свободы из русских народных преданий XVII–XIX вв. По мнению старообрядцев, она размещалась где-то на Востоке – в Японии или Индии – и имела реальный прообраз – Бухтарминский край на Алтае [29. С. 11]. Беловодье предстает идеалом вольной, свободной от надзирательства извне жизни крестьянства, раем для трудолюбивых и праведных людей. В наиболее подробной северорусской редакции рассказ ведется от имени свидетеля – некоего Марка, инока Топозерской обители, путешественника, побывавшего в Беловодье с двумя другими иноками. Утопическая благочестивая страна была населена потомками православных христиан, спасшихся от гонений римлян «ассириян», и русскими, не принявшими реформы патриарха Никона: «В восточных странах с великим нашим любопытством и старанием искали древляго благочестия православного священства, которое весьма нужно ко спасению»¹. И хотя климат в Беловодье суровый, но по законам утопий в беловодской земле произрастают злаковые и плодовые деревья и кустарники: «всякие земные плоды бывают, родится виноград и сорочинское пшено». «Злата и серебра, – пишется в «Путешественнике», – в Беловодье несть числа, драгоценного камня и бисера драгого весьма много <...> татьбы и воровства, и прочих противных закону не бывает <...> светского суда не имеют, управляют народы и всех людей духовные власти»².

Осмысление исторического факта в повести Давыдова проходит сквозь своеобразные «световые фильтры» – культурные концепты, которые не только формируют жанровую принадлежность и жанровую узнаваемость анти-

¹ Цит. по: [28. С. 9].

² Цит.: [30. С. 9].

утопий, но и, что обязательно, задают *«вектор» познания действительности*: концепты «порождают культуру и порождаются ею» [31. С. 41]. Жанровые концепты отражают авторский способ, модель, траекторию художественного осмысления реальности, задают ход мысли читателю. Уже упоминалось, что антиутопии проектируются на основе утопических концептов (любому антижанру свойственно повторять ключевые признаки жанра). Такими концептами являются: «Счастье / Благо», «Разум», «Всеобщность», «Мессия / Благотворитель», «Избранный народ / Мы», «Государство / Царство Божие», «Справедливость / Равенство», «Труд», «Норма», «Музыка / Искусство», «Секс», «Образование» и некоторые другие.

Очевидно, что антиутопии по природе своей интертекстуальны, поэтому в них именно к *утопическому набору добавляются* новые собственно антиутопические концепты: «Диссиденты / Еретики», «Революция / Бунт / Война», «Казнь», «Человек / Я», «Свобода», «Страх» и др. Ю. Давыдов намеренно «формализует» жанровые признаки, к примеру, эксплуатирует *дневниковую форму записей очевидца*, участника социального эксперимента, распространенную в утопиях различных эпох и, соответственно, воспринятую антиутопиями. Форму дневника следует считать жанрово-стилистическим признаком антиутопий, поскольку она позволяет писателям:

1) представить рациональные основания данной утопической идеи как целостной модели устройства человеческого общежития, тем самым обозначить и связать все утопические концепты, чтобы потом «развернуть» каждый из них в критическом русле;

2) «ввести» ряд антиутопических концептов, например: «Человек / Я», «Страх», «Любовь» и др.

Дневниковая форма необходима для формирования нескольких уровней текста: сюжетное развитие текста; отражение рефлексии главного героя (повествователя); уровень читательской рефлексии.

Показателен в этом плане анализ цели всего предприятия колонистов «Новой Москвы». В ней повествователем выделяются два аспекта: конкретный (построение свободной общины «мужиков, мастеровых, интеллигентов») и утопический – идеалистический («устройство Царства Божия здесь, на земле») [21. Т. 1. С. 329]. Последнее предполагает «спасение душ *всех людей*, а не только индивидуальное спасение, что и составляет «цель утопии», так как *всеобщность* – ее неперемное условие. Цель ашиновцев совпадает с основной идеей Беловодья: ни злая сила, ни злой дух не могут проникнуть туда, где царит Царство Божие. Сохранился вариант легенды, в соответствии с которым государство Беловодье расположено в море – на острове. Остров же могут найти только *избранные!* Легенда гласит, что Петр I пытался отыскать обетованную землю, но так и не нашел, потому что в сознании старообрядцев царь-реформатор Петр I ассоциируется с сатанинской силой [30. С. 119–120, 136]. «Подкармливание» утопических настроений с помощью древних легенд, историй, ссылок на несбывшиеся ожидания предков является характерным приемом манипуляторов от идеологов утопизма.

В действиях Ашинова по проектированию нового сообщества Ю. Давыдов усматривает черты социальной инженерии, которая известна еще по учению Платона об идеальном государстве. Древний утопист выделял три

сословия: ремесленников, воинов и мудрецов. Отнюдь не все «вольные казаки» – ашиновцы были военными людьми, в основном это простые земледельцы, мастеровые, не способные философствовать. Интеллектуальные задачи в общине призваны были решать интеллигенты, составившие самостоятельную группу – братство идеологов «Новой Москвы», видевшие смысл своей жизни в постоянной работе для народа, для России. Ключевым для характеристики счастливого будущего у идеологов-колонистов становится слово «прекрасный» (вспомним, название произведения Д. Оруэлла «О, прекрасный новый мир» / «О, дивный новый мир»). В «Записках Усольцева» читаем страстные откровения, демонстрирующие «одержимость» участников утопического проекта: «...предстоящее казалось спасительным и прекрасным не только для всех, кто стекался к Н.И. Ашинову, но и лично для него, Н.Н. Усольцева. Ведь нас *всех* – мужиков, мастеровых, интеллигентов – ожидала другая по смыслу работа: во имя великой, святой цели, ради самых заветных, вековых чаяний!» [21. Т. 1. С. 329].

В этом смысле показателен выбор героев в повести «Африканский вариант». С одной стороны, интеллигентное «меньшинство», «транслирующее» народовольческие идеалы. С другой – так называемые «вольные казаки», народная масса. Исторические факты свидетельствуют, что Ашинов продвигал идею «вольного казачества», не будучи сам казаком [32]. И это подчеркивается в повести. Мало того, набирал он себе в «казачью» общину народ тоже «неказачьего» происхождения: «Большинство добровольцев были одесситы. Казаков набралось целых двое (оба терские), десяток осетин, два харьковчанина, три петербуржца. Среди колонистов оказалось немало людей с полезными профессиями – столяры, плотники, кузнецы, слесари, садовники, отставные солдаты. Были и образованные – фельдшер, зубной врач, учителя и недоучившиеся студенты. Наконец, и несколько военных в отставке. Бывший юнкер Мануил Цейль стал адъютантом атамана. Некоторые колонисты ехали с женами и детьми. На свою беду атаман набрал в отряд немало одесских босняков с явно уголовным прошлым» [33. С. 24]. Мы видим, что реальный принцип отбора команды новомосквичей ориентирован не на казачество, а на различные социальные слои. В этой непоследовательности следования идее вольного казачества Давыдов видел явные черты манипуляции, скрывающей истинные цели экспедиции. Зачем Ашинову идея казачества? Искусственная опора на «исторические корни»¹ – это *отсылка к культурной памяти народа*, которая является стандартным приемом манипуляции. В прошлом выбирается общеизвестный факт (или образ), который затем подвергается целенаправленной деформации в соответствии с истинной целью манипулятора.

Романтизация образа казачества обусловлена рядом факторов. Во-первых, любая утопия реализует жанровый концепт «Избранный народ» – в нашем случае избранными «новыми москвичами» являются «казаки» (не по факту, а по транслируемой идее). Историческим основанием в народной памяти становятся русские народные притчи о заселении земель Севера, Сибири, Волги, возникшие в поздние исторические периоды (после XVII в.): рас-

¹ Учет исторического опыта совсем не характерен для утопий, а даже, наоборот, по мнению В.И. Мильдтона, утопиям свойственно полное отрицание истории и прошлого [34].

сказы о крестьянских колониях, казачьих вольницах, старообрядцах, недovolных государственным правлением и совершивших утопический «исход» в новые земли. Во-вторых, романтизация казачьей «вольности» в сочетании с неизвестной и далекой от российских государственных проблем Африкой создавала новый романтический образ свободной и счастливой земли. Казачье сословие, как самоуправляющиеся общины, возникавшие с XV–XVI вв. на Днепре, Дону, Волге, Тереке, Урале главным образом из беглых крестьян, не раз демонстрировало инакомыслие, свободный нрав и такие важные (для идеи «Новой Москвы») качества, как смелость и исторический *опыт в освоении новых земель*. Все это должно было убедить общественность в том, что миссия в Африку – это реализация мечты предков (казаков), которые искали на родине, но не нашли Рая. В результате идея построения «Новой Москвы» в Африке стала расцениваться уже не как авантюра или утопия, а как благородная попытка реализовать извечную мечту предков о счастливой земле и справедливом общественном устройстве. Ключевой, обозначенной в повести, является идея *самостоятельного построения* счастливого государства на основах *разума*. Эта идея обсуждается в повести между героями, на ее фоне раскрываются характеры героев, она узнается читателем как сильная жанровая черта утопий и антиутопий.

«Новая Москва» в повести «Африканский вариант» становится одним из имен концепта «Государство». Название «Африканский вариант» актуализирует такой важнейший компонент, как *«проект»* построения «Светлого будущего», социальный «эксперимент». Эксперимент, выполняющий сюжетообразующую роль, являющийся одним из столпов утопий всех времен и народов, в каждом произведении предстает в неповторимом «обличии». «Национальная оболочка», специфика эксперимента «активируется» *доминантой* жанра, константа же утопии при смене «национальных оболочек» остается неизменной. Не случайно в повести «Африканский вариант» главный герой и повествователь Н. Усольцев между прочим замечает, что «африканский вариант» «мог быть австралийским или новозеландским, *все равно*» [21. Т. 1. С. 331].

Ярким признаком антиутопического жанра в повести «Африканский вариант» является концепт «Диссиденты / Еретики». Образ противников утопической идеи чужд утопиям или рассматривается в них мало и поверхностно, поскольку проектируется именно *абсолютное всеобщее счастье*. В повести Ю. Давыдова ощущается жанровая особенность антиутопических романов первой половины XX в., авторы которых акцентировали самоценность «Я», настаивали на индивидуальности, уникальности каждой личности и защищали право человека на «необщее выражение лица». Ощущая единение с новыми колонистами, рассказчик не сливается с массой вольных казаков в прямом смысле слова. Очевидно, что уже в начале организации «Новой Москвы» «интеллигентное меньшинство» отделилось от массы вольных казаков Ашинова. Кроме летописца Н. Усольцева, в группе интеллигенции состояли: отставной поручик Павел Михолапов, капитан Нестеров, два московских студента с неразличимыми фамилиями (Ананьев и Ананьин), бросившие университет «ради колонии». Всех интеллигентов ашиновцы, вслед за атама-

ном, иронически окрестили «шаткими интеллигентами», «образованными», «тонконогими», принявшимися «не за свое дело» [21. Т. 1. С. 358].

Н. Усольцев – интеллигент (вспомним, у Е. Замятина дневник ведет интеллигент – инженер, создатель Интеграла), врач по профессии, а значит, и хороший психолог. В группе интеллигентов-энтузиастов именно Усольцев запечатлевает события для истории, словно ведет историю болезни. Он ставит своеобразный диагноз молодым энтузиастам, когда дает коллективный психологический портрет своим товарищам: «Обретаясь в России, мы мучились неоплатностью долга перед народом: пот, кровь, труд народа обернулись для меньшинства университетскими познаниями» [Там же]. Любопытно сравнение русских интеллигентов из «Новой Москвы» с первыми христианами. Ставя диагноз людям изучаемого психологического типа, в том числе и себе, врач-рассказчик задается вопросом: «...есть ли во мне настоящая любовь к народу. (И не только *терпеть* лишения, а и *наслаждаться* лишениями. Вот какой мотив еще! Он не патологичен, он как у первых христиан)» [Там же. С. 359].

В романе «Африканский вариант» в массе «колонистов-энтузиастов» интеллигенция представлена меньшинством. Любопытно, что «добровольцы-трудящиеся», в основном из крестьянства и мастеровых, набирались агитаторами в разных областях России. Полагая себя «атаманом вольных казаков», Николай Иванович Ашинов «всех добровольцев называл вольными казаками. Очевидно, для того, чтобы пробудить ассоциацию с удалой казачьей вольницей, с мужиками-витязями, одухотворенными Свободой» [Там же. С. 333].

История казачества свидетельствует, что на южных территориях по течению Дона начиная с XII в. селились беглые люди, наемные военные и др., составлявшие многонациональные, смешанные образования. В слове «казак» уже заложено значение «вольность», в переводе с тюркского «вольный». «Вольница» как раз и возникла в условиях проживания смешанного населения в социальном и национальном смыслах. В конце XIX в. казаки – это профессиональные военные. Казачьи войска, наряду с регулярными войсками и милицией, являлись частью русских сухопутных войск. В повести «интеллигенция» / «русская интеллигенция» является важным концептом, неразрывно связанным с концептом «Империя / Государство». Современные исследователи анализируют глубокие связи между «интеллигенцией» и «Государством» / «Империей» («Интеллигенция» в известной мере виртуальный универсальный концепт (как и большинство понятий / дефиниций в России) [35. С. 285]). Концепт «Интеллигенция» не является основополагающим для утопии, но он появляется в русских социальных утопиях конца XIX – первой трети XX в.¹ В этот период направляющей силой прогресса представлена техническая интеллигенция – инженеры. Концепт «Интеллигенция» следует рассматривать как частное проявление обязательного в утопии концепта «Избранность».

¹ К примеру, литературные утопии А.А. Богданова-Малиновского «Красная звезда» (1908), «Инженер Менни» (1913), научный труд «Тектология» (1913–1922); отсюда в антиутопическом романе Е. Замятина «Мы» главный герой – математик и инженер.

«О сложных, противоречивых, но в высшей степени интересных и поучительных отношениях [с Империей. – С.А., М.Б.] российского «просвещенного сословия» говорят (подчас с диаметральных позиций) творения и политический личный опыт А. Пушкина, Л. Тихомирова, «веховцев», русских большевиков во главе с в Лениным, «евразийцев», И. Солоневича, И. Ильина, Г. Федотова, А. Солженицына...» [35. С. 285]. Каков статус интеллигенции в России конца XIX в.? Социологи отмечают: «Закрепив за собой во второй половине XIX столетия статус духовной элиты, с начала XX в. интеллигенция (не только в лице своей радикальной, революционной, но и либерально-буржуазной части) все активнее добивается доступа к области разработки и принятия государственной политики. При этом в рамках традиционной системы опорных бинарных оппозиций в широких кругах интеллигенции существует одновременно и тезис «презумпции греховности» власти, и практика приобщения к «сладо́сти» сего греха [Там же. С. 288–289]». Именно неудовлетворенность общественным статусом (рядовой земский врач N-ской губернии) порождает утопические мечты интеллигента о *«горных вершинах, откуда открывалась прекрасная, светлая гармоническая даль»* и, в конце концов, приводит Н. Усольцева в колонию «Новая Москва». «Я говорю не об отношении земской администрации к врачу имярек, а об отношении земства ко всему медицинскому делу на деревне» [21. Т. 1. С. 326]. Утопизм Усольцева соседствует с максимализмом в его сознании. Безгранична вера давидовского героя в разум, в науку, в возможность исправления нравов, скорого искоренения зла в человеке и в социуме. Столь же безгранична тяга к идеалу. В образе Н. Усольцева воплощены все специфические черты русского сознания. Исследуя «русскую идею» в литературе XX в., М.М. Голубков анализирует «страшные и разрушительные в отношении к действительности» сочетания утопического сознания и русского максимализма, а также специфику русского утопизма, связанную с мессианством в национальном сознании [36. С. 25–26]. В упоминаемой в записи Усольцева в виде формулы «прекрасной, светлой гармонической дали», в «свернутом виде» представлены основные характеристики типа утопии в русском сознании. В отличие от так называемых «пространственных утопий», это «иной тип, более характерный для русского сознания, связан с локализацией идеала не только в далеком пространстве, но, что важнее, в отдаленной перспективе или ретроспективе» [Там же. С. 22–23].

Реальная основа эпического сюжета не снимает ощущения фантастичности происходящего, т.е. каждый из участников предприятия воспринимает свою деятельность по основанию «Новой Москвы» как воплощение заветной мечты. Невероятное и относительно скорое по времени воплощение *детской мечты* о счастье и мировой гармонии создает особую психологическую атмосферу: общего приподнятого настроения, восприятия событий как особенных, Богом данных. Ставка колонистов-экспериментаторов была сделана на артельную форму новой жизни, общинные отношения, т.е., как казалось колонистам, не государственные.

При чтении антиутопических произведений вскрываются постепенно один за другим интертекстуальные «культурные слои» образной системы. Так, дорога вглубь африканской страны для будущих русских колонистов

была непростой – препятствием стало расстояние (немалое для XIX в.) от Одессы до африканского побережья: добирались на пароходе «Амфитрита»), неприступные скалы побережья Таджурского залива, гористая и лесистая местность. Казалось бы, факт истории, но описание «обетованной земли» и пути к ней совершенно совпадает с архетипическим образом – удаленного места за горами, за лесами, острова и т.п. Детали прибытия вольных казаков наполнены отсылками к утопиям. Так, «Амфитриту» преследует иностранная канонерка, оснащенная мощным фонарем. Кто-то принимает обычный корабельный фонарь за солнце – обязательный атрибут Города Будущего: «...канонерка неотступно следовала за нами, то зажигая свое мертвенное «электрическое солнце», то гася его. Никогда я так не ждал утра: ах, лишь бы оно поскорее наступило, чтобы не было этого проклятого «электрического солнца», когда испытываешь унижительную беспомощность, точно голый» [21. Т. 1. С. 346]. Психологически достоверно описывается момент, когда путешественники впервые ступают на африканский берег, который они воспринимают как обетованную землю: «Полагаю, что причиной моего волнения была не сама по себе Африка... Нет, причина волнения определялась тем, что наконец-то я там, где возникает лучезарное поселение» [Там же. С. 348]. Любопытен комментарий Ю. Давыдова к описанию Таджурского побережья. Если у колонистов африканские виды вызвали неопишуемый восторг (объясняемый чисто психологически – неожиданно скорой визуализацией мечты о рае на земле), то у другого путешественника, польского романиста Генриха Сенкевича, местные красоты в свое время вызвали удручающее впечатление, навеяли мысли не о счастливом берегу, а, скорее, месте ссылки: «Что за такая страна, как бы предназначенная быть местом изгнания? И чего искал здесь пылкий Ашинов?» [Там же].

Как известно, модель социума в антиутопических произведениях строго иерархизирована, время течет иначе («обращается в вечность»), а пространство своеобразно «конструируется»: «Прежде всего здесь был форт, старинное запустелое крепостное строение. Форт назывался *Сагалло*, но вольные казаки тотчас же окрестили его *кремлем*; таким образом, Новая Москва с самого начала располагала своим центром» [Там же. С. 352].

Характерным для антиутопий является представление и сопоставление концептов «Равенство» и «Мессия». Могущество счастливого государства обеспечивают граждане, наделенные равными правами, на поверку не столько равные в правах, сколько одинаковые, лишенные индивидуальности, права быть разными (ср.: нумера и Благодетель в романе Е. Замятина «Мы»). На вершине государственного «здания» находится Мессия, или Благодетель, в роли которого в повести «Африканский вариант» выступает весьма колоритный, харизматичный атаман Николай Ашинов – спаситель русских трудящихся казаков. Это тип русского богатыря. Портрет атамана призван подчеркнуть его особое положение в среде «одинаковых избранных». Усольцев отмечает: «Ашинов был огромен, в окладистой рыжевато-бородой, в черкеске с газырями, смотрел внимательно, чуть щуя глаз. Черт знает почему, но он еще ни слова не молвил, а я уж чувствовал к нему и симпатию, и доверие <...> Во всем облике атамана так и было: добрый русский молодец» [Там же. С. 334].

Поначалу Ашинов интересуется личностью каждого будущего «колониста». Показателен его диалог с Н. Усольцевым, в котором атаман спрашивает о личном мотиве. «Я отвечал, что ишу в Новой Москве не спасения *своей* души, как монастырские послушники, не *своей* лишь духовной свободы, как буддисты <...> надеюсь не только врачевать и обрабатывать свой клочок земли, но и приложить силы, пусть скромные, для достижения дружбы и единства всех и каждого, для достижения гармонии» [21. Т. 1. С. 334–335]. Концепция всеобщего счастья Ашинова в развернутом виде озвучена в интеллектуальных беседах с колонистами: в «Новой Москве» будут жить в братском единстве люди труда, которые «в высшей степени наделены инстинктом справедливости, равенства, добра» [Там же. С. 335]. Фактически утверждается *идея «человека нового типа» и новых ценностей*, обязательных для всех колонистов.

Атаман держался перед членами общины «главой большого крестьянского семейства», т.е. большаком. Этот тип верховенства, подчеркивает автор, при котором человек «не тиранствует, а делает так, как ему велят условия работы и мать-природа» [Там же]. Нет, не молочные реки и кисельные берега обещает большак! Ашинов провозглашает: «А главное, ребята, землицы *вволю, солнышка вволю. Паши, сей, жни*. Только силу не прячь от самого себя» [Там же]. Итак, звучит заветное для крестьянина слово «*воля*», которое является ключевым в концепции общины. Если с интеллигентным Усольцевым диалог состоялся, то разговор с крестьянством выглядит «односторонним». Резкость, категоричность Ашинова, его психологический «напор» подавляют простых казаков. В данном эпизоде из второй главы есть много деталей, которые вызывают ассоциации с подобными сценами в произведении А. Платонова «Чевенгур» (беседы большевиков с крестьянской массой в степных микрокоммунах). «Механизм» претворения в жизнь ашиновской концепции крестьянского счастья не разработан в деталях, но ведь именно из деталей человеческая жизнь и состоит. Подчиненные слушают атамана, но не имеют возможности задать вопросы, жизненно важные для каждого. Приведем пример из текста повести Ю. Давыдова: «“Ослабшие” жадно слушали. Я видел их муку: они хотели верить и почти верили, и страшно было, и сладко, и они мяли шапки, бормоча свое “известно”. Они были бы не прочь “поспросать” еще и еще, нешуточное ведь дело, коренной перелом (крестьянская горемычная осмотрительность), но тут Н.И. Ашинову подали телеграмму» [Там же. С. 336]. Далее автор использует психологическую деталь: «...атаман круто, по-военному повернулся и ушел с видом человека, у которого ни минуты» [Там же]. Вспомним образ «научного человека» из произведения А. Платонова «Усомнившийся Макар», которое так разгневало в свое время И.В. Сталина: на горе стоял «научный человек» и не замечал простого человека, не чувствовал его интересов, переживаний. Детализация в этой сцене выполняет функцию развенчания, снижения роли важной персоны. Есть деталь, которая «взрывает» логику Ашинова, сводит на нет содержание его речи о земле обетованной. В телеграмме, поданной атаману, неизвестный «спонсор» предприятия сообщал: «...везет “первосортный балык”, но “пути нет” – и спрашивал: “Как быть?”» [Там же]. Данная деталь необходима Ю. Давыдову, чтобы заострить парадоксальность происходящих событий, их

непредуманность, отсутствие «механизма» планируемых практических мероприятий, которые должны привести к «всеобщему счастью».

Н. Усольцев – это герой, проходящий по пути исканий от увлечения утопической идеей совершенства человека и общества до разочарования в ней. Без такого развития невозможна утопия. Авторская позиция лишь только преломляется в герое-повествователе, который должен сам пережить и очарование утопической идеей, и разочарование в ней на глазах читателя. Эта эволюция убеждений, происходящая на фоне даже не анализа, а психологического «препарирования» собственных и чужих идей, мыслей, чувств, – необходимый структурный элемент антиутопий и их жанровый признак, который может найти разные художественные решения, но не может отсутствовать в антиутопиях. Между автором и читателем должен быть повествователь.

Эволюция главного героя – обязательная, но далеко не единственная в повести. Благодаря критическому взгляду доктора выстраивается типология героев: простые земледельцы, интеллигенты – правдоискатели (Ананий Сергеевич Басов, крестьянин Орловской губернии), казаки – герои Турецкой и Кавказской военных кампаний (например, казак-рыцарь Н.Н. Ашинов). До похода колонисты были яркими индивидуальностями. Первоначально в общине господствовала атмосфера «просветленности». Усольцев записал: «То была такая близость со всеми, когда не остается ни грамма «я», а есть только «мы»: «мы», сущие...» [21. Т. 1. С. 338]. «Мы» является ключевым понятием для утопического сознания, потому что за ним скрыты нивелирование индивидуальности, невнимание к отдельным судьбам (см. работы Р. Гальцевой, И. Роднянской [14], Д.В. Константинова [37], Ю.В. Тарасенко [38] и др.

Утопическая часть антиутопической концептосферы должна четко просматриваться, узнаваться, поэтому писатель должен воссоздать *«утопический интерьер»*, чтобы у читателя не осталось «подозрений», что «вольным казакам» из «Новой Москвы» помешали быть счастливыми внешние обстоятельства (холод, голод и т.п.). Африканская природа, по мнению Усольцева, была райской, земля «была предназначена для *«счастливого царства»*: «Море плескалось рядом, горы, отступив от берега, открывали пространство, достаточное для земледелия. Прибавьте колодцы с превосходной водою <...> и уже можно заключить, что мать-природа позаботилась о нашем процветании» [21. Т. 1. С. 352]. Усольцеву важно «держать в объективе» лица людей: «Надо было видеть молитвенные лица вольных казаков, когда они наконец добрались до места поселения! *То был миг почти экстаза, великой решимости возвести Дом Счастья, в котором заживешь надолго и который оставишь детям и внукам*» [Там же]. Нахождение в Доме Счастья не предполагает исторического течения событий, ибо цель достигнута, слово «надолго» не имеет сколько-нибудь точного временного содержания.

Рай, как и полагается в утопии, находится в труднодоступном южном районе: «Взглянешь на долину с крыши форта или с гор – видишь возделанные поля и виноградники, бахчи и сады с уже принявшимися апельсиновыми и лимонными деревцами, видишь дома колонистов, поставленные правильным порядком, а посреди – обширную поляну с четою роскошных пальм, поляну, служившую плацем для вольных казаков» [Там же. С. 354]. Без экзо-

тических растений и плодов «рай» был бы «неполным», это часть архетипа утопий и жанровый «мазок» писательской кисти.

Казалось бы, крестьянский рай уже построен, но, в глубинах социума зреет протест граждан «Новой Москвы». Концепты «Бунт / Революция» и «Диссиденты / Еретики» – обязательные конституирующие концепты антиутопий, которые явно не «активируются» с самого начала, а возникают в некой критической точке повествования, когда читатель готов к ним и ожидает «новаторского» решения вопроса с недовольными в Доме Счастья. Однако чуда не происходит. Достаточно интенсивно по сравнению с другими концептами формируются концепты «Страх» и «Казнь / Смерть». Они заполняют повествование, доминируют и шокируют читателя несоизмеримостью наказания и «преступления».

Усольцев пишет: *«Насильственная метода, заключил я, погубила начала альтруизма, что всегда и везде приводило к разложению и гниению; естественный ход вещей непоправимо нарушен; наконец, мастеровые, участвуя в ашиновских сатурналиях, сильно уронили себя в глазах вольных казаков, отныне мужик возненавидел мастерового, а здесь-то и конец единству, солидарности, без которых... Впрочем, сказал я, вдруг чувствуя, как закипает кровь, впрочем, господин атаман, очевидно, вовсе не озабочен единством, ибо принцип, старый как мир принцип “разделяй и властвуй”»* [21. Т. 1. С. 397].

«Колонистам инакомыслящим уготована печальная участь быть наказанными плетью или даже приговоренными к тюремному заключению». Доктор Усольцев, заподозренный Ашиновым в связях с французами, помещен в тюрьму. Это тот, кто воспел свободную «Новую Москву»! Возникает ассоциация с другим антиутопическим произведением 1970-х гг. – романом В. Тендрякова «Покушение на Миражи» (публикация 1988 г.). По сюжету новеллы «Сказание пятое. Прощание с градом осиянным» отец идеи Государства Солнца Томмазо Кампанелла оказывается в городе своей мечты, но в первый же день, по иронии судьбы, попадает в тюрьму. Утописту приходится узнать всю правду о городе всеобщего счастья и радости [39. С. 159–171]. Усольцеву, как и персонажу В. Тендрякова, приходится взглянуть правде в глаза, увидеть обратную сторону «математически выверенного счастья»: *«...наильно навязанное благодеяние – вопиющее самопротиворечие; что оно вообще-то ничем не отличается от «чистого», откровенного насилия»* [21. Т. 1. С. 402]. Если в «Прощании с градом осиянным» с горечью повествуется о казни через повешение тех, «кто не радовался» в Государстве Солнца, то в Новой Москве инакомыслящих судят выборным судом, а дезертиров из колонии вылавливают и предают наказанию в поучение другим (способ исправления нравов). Концепт «Казнь» является стабильным признаком антиутопий, тесно связанным с концептом «Диссиденты». В идеологии утопизма отсутствует интерес к индивидуальным судьбам, «слезинке ребенка» и т.д. Основная задача антиутопий – вскрыть обман и показать читателю, какова будет цена прозрения.

По утопическим воззрениям великодушно настроенного братства интеллигентов Новой Москвы был нанесен сокрушительный удар! Колонисты сами же и вскормили тирана, утверждающего, что «община – важнее едини-

цы!», новый тип «рядчика», регламентатора, от которого теперь страдают. Усольцев восклицает в своих записках: «Автономия личности! Самоценность жизни! Увы, наша доктрина была, очевидно, еще недоступна вольным казакам. Да и когда, где могли они проникнуться ею?» [21. Т. 1. С. 369]. В заточении у доктора Усольцева было много свободного времени, чтобы поразмыслить над вопросами, которые также были поставлены Ф. Достоевским: «*о праве реформатора нарушать право*». Еще недавно, вспоминает Усольцев, беседуя в Обоке (владении Франции) с губернатором мсье Лагардом, доктор испытывал чувство «новомосковского патриотизма», когда ими обсуждались диктаторские методы Ашинова. Так, в разговоре выявилось не менее четырех признаков склонности к насилию: 1) «не совсем идиллическая роль» атамана в среде вольных казаков (он не тот, за кого себя выдает. – С.А., М.Б.); 2) «арест Михолапова есть акт несправедливости»; 3) «институт личной охраны» как «ашиновский бонопартизм»; 4) возможно, «стремление Ашинова к личной наживе», контроль за внешней торговлей – «монополия внешней торговли» [Там же. С. 378–379]. Губернатору Лагарду очевиден механизм возникновения и краха всех известных «коммун» в истории человечества. В идейном споре с доктором звучит мысль: «Неужели вы думаете, неужели полагаете, что тот, кто вчера был в оппозиции к власти, не меняется в самом существе своем, взяв власть?» [Там же. С. 393].

Истина открылась Усольцеву в ее «наготне»: «...я был один на один, лоб в лоб: я и нагая истина – с колонией покончено <...> эксперимент потерпел крах, занавес опускается» [Там же. С. 402]. Подобно миражу, вновь появляется образ солнца, заявленный в начале произведения в сцене погони иностранной канонерки за кораблем «Амфитрита». Усольцев создает развернутую метафору: «Я думал о том, какое несчастье несет истина, похожая на электрическое солнце¹ (вспоминал фонарь канонерки, что гналась за нами в Красном море). Сильный свет, но мертвенный, выхватывает клочок из хаоса, беспощадно отграничивает, но дальше – в самый хаос, во тьму – ни единого лучика. У такой истины нет свойств путеводности» [Там же].

Общей концептуальной точкой утопий и антиутопий является концепт «Любовь», точнее, два концепта «Секс» и «Любовь». Утопии сводят любовь к сексу, решая только вопрос свободы половых отношений. В антиутопических произведениях любовью оценивают личность антиутопического героя, его способность «не быть винтиком», способность ценить другую личность, нести ответственность за жизнь любимого человека. Именно любовь (не секс) оказывается единственным средством, удерживающим в человеке человеческое, рождающим, как в романе «Мы» Замятина, душу и способность критически оценивать происходящее. В «Африканском варианте» прозрение Усольцева связано с тайной любовью к Софье Ивановне, супруге атамана Ашинова. Доктор пишет: «...она словно бы обладает каким-то магическим кристаллом, и вот стоит взглянуть сквозь него, как все определится и установится» [Там же. С. 403].

Софья Ивановна – воплощение лучших черт русской женщины, интелли-

¹ Образ искусственного (электрического) управляемого солнца присутствует в большинстве утопий начиная с середины XIX в.

гентной, умной, деятельной, всесторонне образованной. Это тип жены-соратницы. Софья Ивановна разделяет убеждения Ашинова и следует за ним в далекую Абиссинию, надеясь реализовать мечты о справедливом социальном устройстве человеческой жизни. В «Новой Москве» именно Ашинова была «главной деятельницей просвещения». Обращает на себя внимание *продуманность новой концепции школы для крестьян*: «Признавая грамотность существенным фактором, мы все же, повторяю, видели нашу капитальную задачу не в преподавании азбуки, а в *преподавании примера общего хозяйствования, выгоды которого через какое-то время уразумел бы серый из серых*» [21. Т. 1. С. 365]. Софья Ивановна мечтает «получать газету и книги», «завести обширную новомосковскую библиотеку». Среди занятий для досуга практиковались «коллективные чтения» с обязательным обсуждением «нравственных свойств» героев.

Вопросы пола часто обсуждались интеллигенцией «Новой Москвы». Мнения разделились. Софья Ашинова полагала, что в новой счастливой жизни «временное сожительство» мужчин и женщин недопустимо: «*А потому что у людей, идущих к великой, всепоглощающей цели, этого быть не должно*». Доктор Усольцев, хорошо знавший русскую деревню, констатировал «простоту отношений» мужчин и женщин: полная свобода брачных отношений. К тому же, очевидно, «*...Новая Москва не будет, надо полагать, новым монастырем... поглощенность великой и светлой целью не предполагает неприменного ригоризма...*» [Там же. С. 337]. С точки зрения Усольцева, должна быть возможность «разводных писем», предусмотренных еще в библейские времена» [Там же].

Форма антиутопии проявляется в интертекстуальности как художественном приеме – обязательном напоминании утопических тем и идей. К примеру, еще со времен «Государства» Платона представление о гармоничном счастливом общежитии людей неотделимо от музыки и музыкального воспитания граждан. Гармонию в «Новой Москве» олицетворяет Софья Ивановна, прекрасная музыкантша. Тяжелый быт колонистов-тружеников скрашивает музыка. Есть она и у В. Тендрякова (в «Сказании пятом»). В Городе Солнца «страшный старик фра Томмазо» умирал тяжело в своей монастырской келье «под нежную светскую музыку, не под святые песнопения» [39. Т. 2. С. 159]. В повести «Африканский вариант» Ю. Давыдова русские колонисты «Новой Москвы» погибают под другую «музыку» – под звуки шквалистого огня французской артиллерии с суши, с моря [21. Т. 1. С. 412]. Символичен финал: творение утопического сознания, колония «Новая Москва» гибнет в очистительной стихии огня.

Война – это еще одна тема, мимо которой не проходит антиутопия. С нее может начинаться рассказ об истоках возникновения утопического государства (ср. Двухсотлетняя война в романе «Мы»), но чаще война представлена как закономерный конец утопий или средство избавления от них. Тема войны важна для понимания и психологии отдельного человека, и человеческого сообщества. Особенно ярко представлено это в антиутопиях В. Тендрякова «Чистые воды Китежа», «Покушение на миражи», опубликованных посмертно в конце 1980-х гг. Рефлексирующий герой романа «Покушение на миражи» Георгий Петрович Гребин, наделенный общей биографической чертой с

В. Тендряковым (опыт Великой Отечественной войны), размышляет над «механизмом» социального устройства человеческой цивилизации: «Тревожит душу тривиальная мысль <...> Если стихийные людские системы (например, «гиперобщественная система – вторая мировая война». – С.А., М.Б.) способны заставить гуманнейшего убивать, составителя совершать жестокости и честного кривить душой, то должно быть принципиально возможно и обратное – некие общественные механизмы, принуждающие жестокосердного проявлять сострадание, эгоиста – творить великодушные поступки. Слева направо, слева направо – против настроенного движения не попрешь. Вся суть в том, куда направить движение механизма» [39. Т. 2. С. 158]. Утопические «проекты» «благородных проектировщиков» (Платона, Яна Гуса, Томаса Мора, Кампанеллы) настраивают «механизм» движения человечества в гуманном направлении [Там же]. Автор задает вопрос: почему ни один «проект идеальных общественных устройств» «не принят жизнью. Отвергнуты все»? В. Тендряков пытается ответить на так называемый «проклятый вопрос» всем содержанием антиутопического романа «Покушение на миражи». В четвертой главе Гребин вспоминает о зиме 1941 г., когда он застрелил врага – немецкого солдата. Натуралистические детали в описании тела убитого подчеркивают абсурдность происходящего: несоединимость в сознании молодости и смерти. Но еще более абсурдны комментарии героя: «Ни жалости, ни раскаяния я не испытывал, а гордость – пожалуй. Не странно ли: не мог убить зайца, в жизни не убивал ни курицы, ни даже мыши, а вот человека – со спокойной совестью, безо всякой к нему ненависти в ту минуту...<...> Два с лишним года война была моей профессией» [Там же. С. 157]. Объяснение психологического парадокса содержится в конце этой части: «В юности я стал мельчайшей молекулой грандиознейшей гиперобщественной системы – второй мировой войны» [Там же. С. 158]. Война как средство «передела мира», способ осуществления «проекта» для достижения «благих целей». Каких? Все тех же: в данном случае обеспечение «счастья» избранной нации с помощью уничтожения человеком «себе подобных» («генетически неполноценных») во имя «великой цели»! «Гиперобщественная система второй мировой войны» – это только часть грандиозной системы (модели) обеспечения «идеального» человеческого мироустройства.

В «возвращенных произведениях» конца 1980-х гг. возникает заочный диалог о природе трагических социальных экспериментов в XX в. Речь идет о романе «Покушение на миражи» и романе-эпопее В. Гроссмана «Жизнь и судьба». В. Гроссман говорит о судьбе социальных «проектов», о высокой цене, которую платят народы за умозрительные «благие намерения» великих «гениев» – Гитлера и Сталина. Явно эта проблема обсуждается в «Жизни и судьбе» в сцене допроса в немецком концлагере большевика ленинской гвардии Мостовского штурмбанфюрером Лиссом. Гестаповец говорит о родственной природе тоталитарных режимов: «На земле есть два великих революционера: Сталин и наш вождь. Их воля родила национальный социализм государства. Для меня братство важнее, чем война с вами из-за восточного пространства. Мы строим два дома, они должны стоять рядом... Вы должны поверить мне. Я говорил, а вы молчали, но я знаю, я для вас хирургическое зеркало» [40. Т. 2. С. 298–299]. Национал-социалистический «проповедник»

Лисс в качестве аргумента использует «принцип зеркальности» для относительных этических категорий. Относительность в этике закономерно проявляется в процессе реализации утопических «проектов», какими бы они ни были («гитлеровский» или «сталинский»). Критика конца 1980-х гг. воспринимала исторические события сталинского времени как реализацию социальной утопии. А. Шиндель, размышляя о природе антиутопий, возражает оппонентам, называющим реалии России 1930-х гг. «утопией»: «Если это антиутопия, то вся ваша, сталинская, по меньшей мере, историческая действительность – утопия? В том-то и дело, что *все это и натура, и ее изображение – реальность*» [41. С. 217].

Форма антиутопии оказалась применима не только к построениям будущего, но и к оценкам прошлого. В повести «Африканский вариант мы встречаем не художественное построение *альтернативного пути* развития России в XIX–XX вв., не абстрактное прогнозирование или моделирование возможного будущего, не умозрительный эксперимент, а психологический анализ уже состоявшегося *факта русской истории*. «Матрица» анализа, выбранная Ю. Давыдовым, отражает ключевые признаки жанра антиутопии и позволяет сохранить, по-новому использовать жанровые особенности исторической повести: экстенсивный эпический сюжет, одноаспектность, использование исторического материала, описание быта, психологизм, постепенное раскрытие сущностных характеристик героев и др. [42. С. 7–8]. Безусловно, некоторые особенности повести не модифицировались, но приняли дополнительные функции под воздействием антиутопических задач. Так, конфликтная (или предконфликтная) ситуация, свойственная сюжетам повестей, является необходимой для любой антиутопии. Именно конфликт раскрывает тоталитарную природу утопических построений, без него не реализуются, например, антиутопические концепты «Диссиденты», «Казнь», «Революция». Кроме того, антиутопия предполагает анализ душевного состояния героев, через описание которого и происходит постижение античеловеческой, антииндивидуальной, антидуховной сущности утопизма, что, в свою очередь, позволяет реализовать такой жанровый признак повестей, как психологизм. Для решения задач антиутопического замысла в повести «Африканский вариант» меняется статус рассказчика. Если в повестях (впрочем, как и в утопиях) повествователь не имеет большого значения и используется больше для акцентирования некоторых моментов содержания, то в антиутопиях рассказчик является главным героем и главным транслятором авторской идеи. В его размышлениях постепенно происходит эволюция мировосприятия, переоценка, раскрывается кризис личности (причем не только рассказчика). Концепт «Человек / Я», которого нет в утопиях или он схематичен, является главным в антиутопиях и реализуется в первую очередь именно в позиции повествователя.

«Открытость» повести к взаимодействию с другими жанрами литературы, отмеченная еще В.Г. Белинским, кажется, «размывает» четкие жанровые характеристики, однако, несмотря на соединение с другими жанрами, сохраняет главный конституирующий признак – она остается «*эпизодом из беспредельной поэмы судеб человеческих*» [43].

В поиске новых форм жанр антиутопии способен образовывать разнообразные сплавы благодаря, как нам кажется, главной своей черте – вниманию

к индивидуальности. Однако потенциал жанров, с точки зрения объединения художественных форм, разный. Антиутопия в силу «строгости» своей концептосферы требовательна к темам, сюжетам и образам. Повесть же более «пластична» и практически бесконечна в своем поиске «человеческого» в сложных и простых вопросах человека, народа, нации и государства.

Литература

1. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Сов. писатель, 1963. 364 с.
2. Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении: (Критическое введение в социологическую поэтику). Л.: Прибой, 1928. 232 с.
3. Канунова Ф.З. Проблема личности и жанр: Русская сентиментальная и романтическая повесть // Проблемы литературных жанров: материалы науч. межвуз. конф., посвящ. 50-летию образования СССР, 23–26 мая 1972 г. / ред.: Ф.З. Канунова, Н.Н. Киселев, Н.Б. Реморова. Томск, 1972. С. 3–5.
4. Казаркин А.П. Жанровые границы интерпретации текста // Проблемы литературных жанров: материалы IV науч. межвуз. конф., 28 сентября – 1 октября. 1982 / под ред. Ф.З. Кануновой, Н.Н. Киселева, Н.Б. Реморовой. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1983. С. 4–5.
5. Комина Р.В. Жанр: аксиология, методика // Проблемы литературных жанров: материалы IV науч. межвуз. конф. / под ред. Ф.З. Кануновой, Н.Н. Киселева, Н.Б. Реморовой. Томск, 1983. С. 3–4.
6. Арсентьева Н.Н. Становление антиутопического жанра в русской литературе: в 2 ч. М.: Изд-во МГПИ им. В.И. Ленина, 1993.
7. Геллер М. Магия худших миров: Об утопии, антиутопии, герметизме и Е. Замятине // Филологические записки: Вестн. литературоведения и языкознания. Вып. 3. Воронеж, 1994. С. 51–61.
8. Гюнтер Х. Пути и тупики изучения искусства и литературы сталинской эпохи [Электронный ресурс] // НЛЮ. 2009. № 95. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/95/gu23.html>
9. Зверев А. «Когда пробьет последний час природы...» (Антиутопия. XX век) // Вопр. литературы. 1989. № 1. С. 26–69.
10. Ланин Б.А. Русская антиутопия XX века: учеб. пособие для учащихся. М.: ТОО Онега, 1993.
11. Маркова Т.Н. Антиутопия в русской прозе рубежа XX–XXI веков // Трансформации жанров в литературе и фольклоре: сб. ст. научно-исследовательского центра «Трансформации жанров и стилей в новейшей литературе и фольклоре». Челябинск, 2010. Вып. 3. С. 3–18.
12. Морсон Г. Границы жанра : Антиутопия как пародийный жанр / Г. Морсон, В. Чаликова // Утопия и утопическое мышление : Антология зарубежной литературы. М., 1991. С. 233–251.
13. Morson G.S. The Boundaries of Genre. Dostoevsky's Diary of a Writer and the Traditions of Literary Utopia. University of Texas Press/ Austin. 1981. P. 115–142.
14. Гальцева Р. Помеха-человек: Опыт века в зеркале антиутопий / Р. Гальцева, И. Роднянская // Новый мир. 1988. № 12. С. 217–230.
15. Чаликова В.А. Крик еретика: (Антиутопия Е.Замятина) // Вопр. философии. 1991. № 1. С. 16–27.
16. Чаликова В.А. Утопия и утопическое мышление: Антология зарубежной литературы. М.: Прогресс. 1991. 405 с.
17. Golding W. Utopias and Antiutopias // A Moving Target. N. Y., 1984. P. 180–186.
18. Ковтун Н.В. Русская литературная утопия второй половины XX века. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. 536 с.
19. Шестаков В.П. Эсхатология и утопия: Очерки русской философии и культуры. М.: Владос, 1995. 208 с.
20. Агеносов В.В. Советский философский роман. М.: Прометей, 1989. 466 с.
21. Давыдов Ю.В. Африканский вариант. Записки Усольцева // Собр. соч.: в 5 т. Т. 1: Подколodный Башуцкий. Повести, рассказы. СПб., 2004. С. 319–412.
22. Сидоров А.В. Историческая проза Ю. Давыдова 1960–2000-х гг.: проблематика и поэтика: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Магнитогорск, 2009. 19 с.

23. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: в 3 кн. Кн. 2: Семидесятые годы (1968–1986): учеб. пособие. М.: Эдиториал УРСС. 2001. 288 с.
24. Щедрина Н.М. Русская историческая проза в литературе последней трети XX века: учеб. пособие. Уфа: Изд-во Башкир. ун-та. 1997. 132 с.
25. Бочаров А. «Эта экспедиция делает нам стыд и позор» (Африканская авантюра вольных казаков) // Источник: документы русской истории. 1999. № 5. С. 37–47.
26. Пикуль В. Вольный казак Ашинов // Пикуль В. Исторические миниатюры: в 2 т. М., 1991. Т. 2. С. 261–269.
27. Зинченко В.П. Сознание как предмет и дело психологии // Методология и история психологии. 2006. Т. 1, вып. 1. С. 207–231.
28. Островский А.Б., Чувьуров А.А. Беловодье староверов Алтая [Электронный ресурс] // Вестн. Русской христианской гуманитарной академии. 2011. Т. 12, № 3. С. 8–14. URL: http://elibrary.ru/download/elibrary_17762737_34110543.PDF
29. Рыков Ю.Д. Ярославский список «Путешественника» Марка Топозерского // Книжная культура Ярославского края. Ярославль: Изд. Бюро «ВНД», 2015. С. 11–57.
30. Чистов К.В. Легенда о Беловодье // Тр. Карельского филиала АН СССР. Петрозаводск, 1962. Вып. 35. С. 116–181.
31. Зусман В. Диалог и концепт в литературе. Литература и музыка. Н. Новгород: Деком, 2001. 168 с.
32. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. СПб., 1890–1907.
33. Макеев С. Похождения вольного казака [Электронный ресурс] // Совершенно секретно. 2012. Вып. 4/275,277. URL: <http://www.sovsekretno.ru/articles/id/3076>
34. Мильдон В.И. История и утопия как типы сознания // Вопр. философии. 2006. № 1. С. 15–24.
35. Ванюков Д.А. Имперские проекты / Д.А. Ванюков, И.И. Кузнецов, Д.В. Самсонов. М.: Книжный Клуб Книголек, 2010. 416 с.
36. Голубков М.М. Русская литература XX в.: После раскола: учеб. пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2001. 267 с.
37. Константинов Д.В. Антиутопии: будущее без человека // Вестн. Том. гос. ун-та. 2013. № 366. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/antiutopii-buduschee-bez-cheloveka>
38. Тарасенко Ю.В. Драма-антиутопия в русской литературе начала XX в. // Вестн. Том. гос. ун-та. 2008. № 308. С. 26–29.
39. Тендряков В. Покушение на миражи: Роман, повесть, рассказы. М.: Сов. писатель. 1998. С. 3–218.
40. Гроссман В.С. Жизнь и судьба // Собр. соч.: в 4 т. М., 1998. Т. 2. 656 с.
41. Шиндель А. Свидетель: Заметки об особенностях прозы Андрея Платонова // Знамя. 1989. № 9. С. 207–217.
42. Кузьмин А.И. Повесть как жанр литературы. М.: Знание, 1984. 112 с.
43. Белинский В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя («Арабески» и «Миргород») // Взгляд на русскую литературу [Сборник] / В.Г. Белинский; [вступ. ст. и коммент. А.С. Курилова]. М., 1988 [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0320.shtml

GENRE FEATURES OF DYSTOPIA IN YURI DAVYDOV'S "AFRIKANSKIY VARIANT"

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 49. 113–135. DOI: 10.17223/19986645/49/8

Svetlana L. Andreeva, Maya L. Bedrikova, Nosov Magnitogorsk State Technical University (Magnitogorsk, Russian Federation). E-mail: 216zamsv@mail.ru / mlbedrikova@gmail.com

Keywords: historical novel, dystopia, synthesis of genres, conceptsphere, utopia, utopianism, Yu. Davydov.

The article researches the genre features of dystopia in Yuri Davydov's historical story "Afrikan-skiy variant" [African Option] (1970) which is a representative work in terms of the mechanism of genre integration. The authors of this article explore the cognitive "matrix" of dystopia based on M.M. Bakhtin's and other researchers' ideas about the transformational potential of a literary genre, about epistemological and cognitive factors of genre creation. The matrix is preserved in a number of key cultural concepts which constitute the cognitive basis (conceptsphere) of dystopia and explain the

potential and limits of form variation. Genre is understood as a “cultural and historical type of conditionality” determining borders of text interpretation; synthesis of genres is understood as a full representation of essential features of each of the synthesizing genres. Synthesis of the dystopia and the historical story should be considered as an integration of three genre forms: the story, the dystopia and the utopia, whose genre features are latently present in dystopias. Dystopias are designed on the basis of utopian concepts: “Happiness / Blessing”, “Mind”, “Generality”, “Messiah / Benefactor”, “Chosen People / We”, “State” and others; and actual dystopian concepts: “Dissidents / Heretics”, “Revolution / Riot / War”, “Execution”, “Human / I” and others. “Afrikanskiy variant” is based on a documented historical fact of adventurous attempts of creating a community The New Moscow by Nikolai Ivanovich Ashinov (1856–1902) in Ethiopia. The story of The New Moscow gained wide and scandalous notoriety following numerous publications in Russian and foreign press. This story is artistically interpreted in Yuri Davydov’s story and in V. Pikul’s story “Vol’nyy kazak Ashinov” [Free Cossack Ashinov] (1976). The circumstances of the historical event (attempts to organize the community The New Moscow) became iconic to Yuri Davydov and suggested the artistic form. On the one hand (for the reader), the genre determines and projects cognition of the past, the present or the future with the help of genre concepts; on the other hand (for the researcher), it reflects the author’s way, model, trajectory of artistic comprehension of historical reality. The potential of integration of analyzed art forms is different: the dystopia, according to the authors, is demanding in terms of the material (topics, subjects and images), the story is more open to interaction with other genres of literature due to attention to the individual destiny and the human inner world. Materials of this article will be useful to researchers for general development of theoretical problems connected with to the origin and existence of genres of the utopia and the dystopia; and researchers of Russian historical prose of this period, particularly researchers of Yuri Davydov’s oeuvre.

References

1. Bakhtin, M.M. (1963) *Problemy poetiki Dostoevskogo* [Problems of Dostoevsky’s poetics]. Moscow: Sovetskiy pisatel’.
2. Medvedev, P.N. (1928) *Formal’nyy metod v literaturovedenii (Kriticheskoe vvedenie v sotsiologicheskuyu poetiku)* [Formal method in literary criticism (Critical introduction to sociological poetics)]. Leningrad: Priboy.
3. Kanunova, F.Z. (1972) [Personality problem and genre: Russian sentimental and romantic story]. *Problemy literaturnykh zhanrov* [Problems of literary genres]. Proceedings of the conference. Tomsk. 23–26 May 1972. Tomsk: Tomsk State University. pp. 3–5. (In Russian).
4. Kazarkin, A.P. (1983) [Genre boundaries of the interpretation of the text]. *Problemy literaturnykh zhanrov* [Problems of literary genres]. Proceedings of the IV conference. Tomsk. 28 September – 1 October 1982. Tomsk: Tomsk State University. pp. 4–5. (In Russian).
5. Komina, R.V. (1983) [Genre: axiology, methodology]. *Problemy literaturnykh zhanrov* [Problems of literary genres]. Proceedings of the IV conference. Tomsk. 28 September – 1 October 1982. Tomsk: Tomsk State University. pp. 3–4. (In Russian).
6. Arsent’eva, N.N. (1993) *Stanovlenie antiutopicheskogo zhanra v russkoy literature* [Formation of the dystopia genre in Russian literature]. In 2 parts. Moscow: Moscow State Pedagogical Institute.
7. Geller, M. (1994) *Magiya khudshikh mirov. Ob utopii, antiutopii, germetizme i E.Zamyatine* [Magic of the Worst Worlds. On Utopia, Anti-Utopia, Hermetism and E. Zamyatin]. *Filologicheskie zapiski: Vestnik literaturovedeniya i yazykoznaneya*. 3. pp. 51–61.
8. Gunther, H. (2009) *Puti i tupiki izucheniya iskusstva i literatury stalinskoy epokhi* [Ways and dead ends of the study of art and literature of the Stalin era]. Translated from German by E. Zemskova. *NLO*. 95. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/95/gu23.html>.
9. Zverev, A. (1989) “Kogda prob’et posledniy chas prirody...” (Antiutopiya. XX vek) [“When the last hour of nature breaks . . .” (Dystopia, 20th century)]. *Voprosy literatury*. 1. pp. 26–69.
10. Lanin, B.A. (1993) *Russkaya antiutopiya XX veka* [Russian dystopia of the twentieth century]. Moscow: TOO Onega.
11. Markova, T.N. (2010) *Antiutopiya v russkoy proze rubezha XX–XXI vekov* [Dystopia in the Russian prose of the turn of the twenty-first century]. In: Markova, T.N. (ed.) *Transformatsii zhanrov v literature i fol’klore* [Transformations of genres in literature and folklore]. Vol. 3. Chelyabinsk: Izd-vo OOO “Entsiklopediya”.
12. Morson, G.S. & Chalikova, V.A. (1991) *Granitsy zhanra: Antiutopiya kak parodiynyy zhanr* [Borders of the genre: Dystopia as a parody genre]. In: Chalikova, V.A. (ed.) *Utopiya i utopicheskoe*

myshlenie: Antologiya zarubezhnoy literatury [Utopia and utopian thinking: Anthology of foreign literature]. Moscow: Progress.

13. Morson, G.S. (1981) *The Boundaries of Genre. Dostoevsky's Diary of a Writer and the Traditions of Literary Utopia*. Austin: University of Texas Press. pp. 115–142.

14. Gal'tseva, R. & Rodnyanskay, I. (1988) Pomekha-chelovek: Opyt veka v zerkale antiutopiy [The disturbance man: The experience of the century in the mirror of dystopias]. *Novyy mir*. 12. pp. 217–230.

15. Chalikova, V.A. (1991) Krik eretika (Antiutopiya E. Zamyatina) [Scream of the heretic (Zamyatin's dystopia)]. *Voprosy filosofii*. 1. pp. 16–27.

16. Chalikova, V.A. (ed.) (1991) *Utopiya i utopicheskoe myshlenie: Antologiya zarubezhnoy literatury* [Utopia and utopian thinking: Anthology of foreign literature]. Moscow: Progress.

17. Golding, W. (1984) *A Moving Target*. New York: Farrar Straus & Giroux. pp. 180–186.

18. Kovtun, N.V. (2005) *Russkaya literaturnaya utopiya vtoroy poloviny XX veka* [Russian literary utopia of the second half of the twentieth century]. Tomsk: Tomsk State University.

19. Shestakov, V.P. (1995) *Eskhatologiya i utopiya (Ocherki russkoy filosofii i kul'tury)* [Eschatology and Utopia (Essays on Russian philosophy and culture)]. Moscow: Izd-vo "Vlados".

20. Agenosov, V.V. (1989) *Sovetskiy filosofskiy roman* [Soviet philosophical novel]. Moscow: Prometey.

21. Davydov, Yu.V. (2004) *Sobranie sochineniy v 5 tt.* [Works in 5 vols]. Vol. 1. St. Petersburg: Izdatel'stvo "Propaganda". pp. 319–412.

22. Sidorov, A.V. (2009) *Istoricheskaya proza Yu. Davydova 1960-kh–2000-kh gg.: problematika i poetika* [Historical prose of Yu. Davydov of the 1960s–2000s: problems and poetics]. Abstract of Philology Cand. Diss. Magnitogorsk: Magnitogorsk State University.

23. Leyderman, N.L. & Lipovetskiy, M.N. (2001) *Sovremennaya russkaya literatura: V 3-kh kn.* [Modern Russian Literature: In 3 books]. Book 2. Moscow: Editorial URSS.

24. Shchedrina, N.M. (1997) *Russkaya istoricheskaya proza v literature posledney treti XX veka* [Russian historical prose in the literature of the last third of the twentieth century]. Ufa: Bashkir State University.

25. Bocharov, A. (1999) "Eta ekspeditsiya delaet nam styd i pozor" (Afrikanskaya aventyura vol'nykh kazakov) ["This expedition is shame and disgrace for us" (African adventure of free Cossacks)]. *Istochnik: dokumenty russkoy istorii*. 5. pp. 37–47.

26. Pikul', V. (1991) *Istoricheskie miniatyury. V 2-kh tt.* [Historical miniatures. In 2 vols]. Vol. 2. Moscow: Molodaya gvardiya. pp. 261–269.

27. Zinchenko, V.P. (2006) Soznanie kak predmet i delo psikhologii [Consciousness as an object and matter of psychology]. *Metodologiya i istoriya psikhologii – Methodology and History of Psychologv*. 1:1. pp. 207–231.

28. Ostrovskiy, A.B. & Chuv'yurov, A.A. (2011) Belovodie of the Altai Old-Believers. *Vestnik Russkoy khristianskoy gumanitarnoy akademii*. 12:3. pp. 8–14. (In Russian).

29. Rykov, Yu.D. (2015) Yaroslavskiy spisok "Puteshestvennika" Marka Topozerskogo [Yaroslavl list of "Traveler" Mark Topozerskiy]. In: Abrosimova, N.V. (ed.) *Knizhnaya kul'tura Yaroslavskogo kraya* [Book culture of Yaroslavl region]. Yaroslavl: Izd. Byuro "VND".

30. Chistov, K.V. (1962) Legenda o Belovod'e [The Legend of Belovodie]. *Trudy Karel'skogo filiala AN SSSR*. 35. pp. 116–181.

31. Zusman, V. (2001) *Dialog i kontsept v literature. Literatura i muzyka* [Dialogue and the concept in the literature. Literature and music]. Nizhniy Novgorod: Dekom.

32. Brochaus, F.A. & Efron, I.A. (1890–1907) *Entsiklopedicheskiy slovar' Brokgauza i Efrona: v 86 t.* [Encyclopaedic dictionary of Brockhaus and Efron: in 86 vols]. St. Petersburg: Semenovskaya Tipo-Litografiya I.A. Efrona.

33. Makeev, S. (2012) Pokhzhdeniya vol'nogo kazaka [The adventures of the free Cossack]. *Sovershenno sekretno*. 4/275, 277. [Online] Available from: <http://www.sovsekretno.ru/articles/id/3076>.

34. Mil'don, V.I. (2006) Istoriya i utopiya kak tipy soznaniya [History and utopia as types of consciousness]. *Voprosy filosofii*. 1.

35. Vanyukov, D.A. et al. (2010) *Imperskie proekty* [Imperial projects]. Moscow: Knizhnyy Klub Knigovek.

36. Golubkov, M.M. (2001) *Russkaya literatura XX v.: Posle raskola* [Russian literature of the twentieth century: After the split]. Moscow: Aspekt. Press.

37. Konstantinov, D.V. (2013) Anti-utopias: future without man. *Vestnik Tomskogo*

gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal. 366. pp. 42–48. (In Russian). [Online] Available from: <http://cyberleninka.ru/article/n/antiutopii-budushee-bez-cheloveka>.

38. Tarasenko, Yu.V. (2008) Drama-antiutopiya v russkoy literature nachala XX v. [Drama as dystopia in Russian literature of the beginning of the 20th century]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 308. pp. 26–29.

39. Tendryakov, V. (1998) *Pokushenie na mirazhi. Roman, povest', rasskazy* [Attempt on mirages. A novel, a story, short stories]. Moscow: Sovetskiy pisatel'. pp. 3–218.

40. Grossman, V.S. (1998) *Sobr. soch. V 4-kh tt.* [Works: in 4 vols]. Vol. 2. Moscow: Izd-vo "Agraf", Izd-vo "Vagrius".

41. Shindel', A. (1989) Svidetel': Zametki ob osobennostyakh prozy Andreya Platonova [Witness: Notes on the features of Andrei Platonov's prose]. *Znaniya*. 9. pp. 207–217.

42. Kuz'min, A.I. (1984) *Povest' kak zhanr literatury* [The story as a genre of literature]. Moscow: Znanie.

43. Belinskiy, V.G. (1988) O russkoy povesti i povest'yakh g. Gogolya ("Arabeski" i "Mirgorod") [On the Russian story and novels of Gogol ("Arabesques" and "Mirgorod")]. In: *Vzglyad na russkuyu literaturu* [A glance at the Russian literature] Moscow: Sovremennik. [Online] Available from: http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0320.shtml.

УДК 82-31

DOI: 10.17223/19986645/49/9

Е.Е. Анисимова

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОД В РОМАНЕ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА «ПНИН»

В статье анализируется важный нюанс смысловой кодировки и сюжетной структуры романа В. Набокова «Пнин» – систематические повторы, связанные с образом зубов. Стоматологические коды романа рассматриваются в широком контексте истории русской эмиграции первой волны и отечественной патографической культуры. С помощью приема острашения раскрывается тема утраты корней русскими эмигрантами, судьба которых на языке патографической образности метафоризируется как утрата больных зубов.

Ключевые слова: В. Набоков, В.А. Жуковский, Н.В. Гоголь, эмиграция, сюжет, острашение, двойничество, баллада.

Известно, что когда читатели мгновенно раскупили новый роман Набокова «Пнин» (1957), вышедший после нашумевшей «Лолиты», они были обескуражены. Вместо пикантной «исповеди светлогожего вдовца» перед ними оказалась история удаления зубов пожилого профессора-слависта. До сих пор многие читатели «Пнина» принадлежат к так называемому лагерю теплого чтения (camp of warm reads) в духе «мистера Чипса» [1. Р. 738]. «Лагерь» стал формироваться после выхода фильма «До свиданья, мистер Чипс» (1939), экранизации романа Джеймса Хилтона о добром и неуклюжем учителе. Имя персонажа в англоязычной культуре стало нарицательным, указывая на необходимость сочувственно-смехового восприятия текста и героя. Однако сам Набоков такого подхода к своему творению не разделял. Сохранилось весьма характерное мемуарное свидетельство его корнелльского читателя 1950-х гг.: «На многолюдной вечеринке я вдруг оказался лицом к лицу с [Набоковым]. Чувствуя, что надо же что-то сказать, – хотя мне следовало бы воспротивиться этому позыву, – я сказал ему, что только что прочитал “Пнина” и что он мне очень понравился. Он мог бы просто сказать: “Благодарю”, но вместо того спросил: “Чем же?” Я сказал (что было правдой), что он мне понравился состраданием, которое я там нашел. Он резко отвернулся, словно получил оскорбление» [2]. Что же скрылось в тексте от набоковского читателя, практикующего, судя по всему, описанный и высмеянный самим писателем «тип эмоционального чтения» [3. С. 37]? И почему профессора Пнина так сильно беспокоили его зубы?

Фабула романа представляет собой приготовление персонажа к вырыванию зубов, их полное удаление и, наконец, *vita nova* Тимофея Пнина со съемной вставной челюстью. Вначале следует отметить, что тема больных зубов для Набокова автобиографична. Уже в 11-летнем возрасте будущий писатель отправился с братом в Берлин, где знаменитый американский дантист выправил им зубы, установив на них платиновые проволоки [4. С. 105].

С 1918 г. зубная боль стала его постоянным спутником: сначала зубы разболелись в Крыму в преддверии эмиграции семьи Набоковых, потом при получении французского нансеновского паспорта и затем периодически беспокоили писателя вплоть до их полного удаления. В 1941 г. в Америке писатель удалил сразу восемь зубов и поставил протезы, из-за чего его семья еле свела концы с концами, так как услуги дантистов обходились недешево. Например, чета Зайцевых смогла позволить себе роскошь починить зубы только благодаря помощи Бунина, ставшего после получения Нобелевской премии на краткое время богачом [5. С. 160]. В 1950 г., незадолго до начала работы над «Пниным», Набоков удалил свои последние зубы [6. С. 202]. Но и после этого стоматологическая тема не оставляла его. Например, в 1961 г. писатель рассказывал о своем ночном кошмаре, в котором в отеле начался пожар, и он спас «Веру (жену. – Е.А.) <...> очки, типоскрипт “Ады”, вставные челюсти, паспорт – в этом порядке!» [6. С. 631].

Исследователи, обращая внимание на повторяющиеся в произведениях писателя образы больных зубов [7], обходят молчанием аналогичный сюжет в «Пнине», вероятно, полагая, что больные зубы для немолодого университетского профессора вещь сама собой разумеющаяся. Между тем только здесь стоматологическая тема составляет фабульную основу романа. В «Сборнике литературных произведений русских и зарубежных авторов на тему стоматологии» (2014), изданном Московским государственным медико-стоматологическим университетом им. А.И. Евдокимова в честь года литературы, Набоков отсутствует вовсе, уступив место в разделах «Боль» и «Без зубов» Боккаччо, Чехову, Зощенко и автору анонимного «жестокоего романа» о мстительной дантистке Маруське, вырвавшей зубы изменнику [8]. Стоматологическим сюжетам в советской культуре посвящена специальная статья К.А. Богданова. Он отмечает, что «в самых разных культурах здоровые зубы традиционно выступали символом жизненной силы, телесной крепости и фертильности». Искусственные зубы, напротив, связаны с «медикализацией человеческого тела как тела искусственного» и превращают их обладателей в своего рода людей-роботов, киборгов. Исследователь демонстрирует потенциальную полифункциональность и внутреннюю динамику «зубных сюжетов» в советской культуре: от внимания «к властным функциям медицины и идеологическому контексту социальной медикализации» [9] Зощенко к характерному жанру научной фантастики, где безболезненность советской стоматологии в образе будущего функционально занимала то же место, что и изобретение звездолета или машины времени.

Очевидно, что для культуры русского зарубежья поэтика принудительной медикализации и футуристические картины стоматологического светлого будущего были неактуальны. Напротив, эмигранты с трудом изыскивали возможности для посещения дантиста, а вектор их исторического мышления был направлен, скорее, на осмысление прошлого, нежели на конструирование будущего, ибо очевидно, что будущего у русской интеллигентско-аристократической эмиграции не было никакого. В 1950-е гг., время, когда писался и издавался «Пнин» (на фоне массового ухода эмигрантов первой волны из жизни), в центре дискуссии русского зарубежья находился вопрос о месте художественного наследия эмиграции в контексте большой русской

литературы, в особенности о статусе младшего поколения эмигрантов, так как признание созданного старшим поколением наследия по умолчанию определялось Нобелевской премией Бунина. Еще по наблюдению В. Ходасевича, ключевым приемом для разговора на потенциально травматичную для писателя-эмигранта тему стало остранение: «Жизнь художника и жизнь приема в сознании художника – вот тема Сирина, в той или иной степени вскрываемая едва ли не во всех его писаниях, начиная с “Защиты Лужина”». Однако художник (и, говоря конкретнее, писатель) нигде не показан прямо. <...> Тут мы имеем дело с приемом, впрочем, весьма обычным. Формалисты его зовут остранением. Он заключается в показывании предмета в необычной обстановке, придающей ему новое положение, открывающей в нем новые стороны, заставляющей воспринять его непосредственнее» [10. С. 249–250].

Одними из самых распространенных в середине XX в. стали дендрологические метафоры, позволяющие говорить о *ветвях* русской литературы. Так, «в 1954 г. Глеб Струве писал, что “будущий историк будет, вероятно, рассматривать обе *ветви* (здесь и далее курсив наш. – Е.А.) русской литературы нашего времени в их лучших проявлениях, как неотъемлемую часть единой русской литературы”» [11. С. 164]. В 1959 г. Набоков, резко отреагировав на Нобелевскую премию Б.Л. Пастернака и его одноименное стихотворение, написал: «Но как забавно, что в конце абзаца, / корректору и веку вопреки, / тень русской *ветки* будет колебаться / на мраморе моей руки» [12. С. 227]. Одной из таких метафор стала и фамилия персонажа романа – эмигранта Пнина, так же двупланово соединяющая лингвистический и историко-культурный смысловые планы. С одной стороны, писатель напоминал о практике усечения фамилии (Репнин – Пнин), отделяющей незаконнорожденного потомка от основного родового *древа*. С другой стороны, Набоков на примере Пнина описывал алгоритм существования русской эмиграции как *пня* – дерева, имеющего корни, но не имеющего перспектив роста и развития. Так, сам будучи бездетным, Пнин, приезжает в так называемый «Замок Кука», где собираются раз в два года пожилые русские эмигранты, и замечает, что их юные отпрыски живут совершенно отдельной жизнью и уже не интересуются русской культурой: «Мои близнецы повергают меня в отчаяние, – рассказывает один из персонажей. – Когда я встречаюсь с ними – за обедом или завтраком – и пытаюсь им рассказать об интереснейших, увлекательнейших вещах, скажем, о выборном самоуправлении на русском Крайнем Севере в семнадцатом веке или, к примеру, что-то из истории первых медицинских школ в России, – есть, кстати, превосходная монография Чистовича об этом, изданная в 1883 году, – они попросту разбегаются по своим комнатам и включают там радио» [13. С. 108].

Набоков, профессиональный энтомолог и филолог, считал, что природа и настоящий мастер всегда прячут свои секреты в деталях, и потому тщательно следил, чтобы портрет Тимофея Пнина на первой обложке романа оказался предельно точным. Так, согласно инструкции, которую писатель составил для иллюстраторов, «голова должна быть *совершенно лысой, без какого бы то ни было темного ореола*», «он должен изображать *чисто выбритого* русского мужика» [6. С. 359]. Таким он появляется уже в первых строках романа: «Идеально *лысый*, загорелый и *чисто выбритый* <...> очки в черепаховой

оправе (скрывающие младенческое *отсутствие бровей*)» [13. С. 11]. Напротив, «плохие зубы Пнина не должны быть видны» [6. С. 359], пишет художникам Набоков, вероятно, не теряя надежды на то, что среди иллюстраторов, не читавших роман и неверно нарисовавших Пнина в первый раз, найдется тот, кто изучит текст и отметит эту характерную деталь его образа.

Больными зубами Пнина стоматологические коды романа не исчерпываются. Целостность текста обеспечивается целой системой фоновых образов, не позволяющих читателю забыть о физиологических подтекстах романа. К их числу стоит отнести русского эмигранта Александра Петровича Кукольника, ставшего в Америке Алом Куком. Судьба его однофамильца Джеймса Кука хорошо известна, причем ассоциативная связь со съеденным тихоокеанскими туземцами первооткрывателем усиливается в англоязычном тексте романа омонимичностью фамилии и глагола “cook” – ‘готовить еду’ («Al Cook was a son of Piotr Kukolnikov» [13. С. 106; 14]). Далее образ прикрепляется практически к каждому представителю русской заокеанской диаспоры, которые раз в два года поселяются в так называемом «Доме Кука». Другим сквозным «зубным» образом становится образ *грызуна* – белки, одновременно отсылающий и к поясняемой в тексте лингвистической ошибке при переводе «Золушки», и к сложной системе нарраторов в «Повестях Белкина», и к обладательнице прекрасных зубов экс-супруге героя. Сам Пнин с новой челюстью начинает напоминать персонажа другой известной сказки, когда в одной из сцен орудует «ногастыми» и похожими на человека щипцами для орехов, в оригинале «nutcracker» – ‘Щелкунчик’ [Там же. С. 155; 14].

Образ *челюсти* входит в артикуляционные «лирические отступления» Набокова: «Органами, отвечающими за порождение звуков английской речи, являются: гортань, нёбо, губы, язык (пульчинелла этой труппы) и последнее (по порядку, но не по значению) – нижняя челюсть; на ее-то сверхэнергические и отчасти жевательные движения и полагался главным образом Пнин, переводя на занятиях куски русской грамматики или какое-нибудь стихотворение Пушкина» [Там же. С. 62]. Однако речевой аппарат персонажа не может справиться с английским произношением, постоянно наполняя реальность романа ономастическими персонажами-двойниками. Например, в романе помимо миссис Тейер благодаря произношению Пнина появляется и миссис Файр: «“Mrs. Fire, who is now working at the library part time”. “Yes – Mrs. Thayer, I know. Well, do you want to see that room?”»; «Mrs. Thayer was at the circulation desk. Her mother and Mrs. Clements’ mother had been first cousins. “How are you today, Professor Pnin?” “I am very well, Mrs. Fire”» [Там же. С. 32, 70; 14]. Не меньше сложностей возникает и у самих американцев, которые не могут произнести фамилию Pnin из-за отсутствия сочетания [pn] в английской фонетике (например, pneumatic – [nju:’mætɪk]; pneumonia [nju:’mæniə] и пытаются передать этот непронизносимый антропоним при помощи звукоподражания – звука лопнувшего мячика для пинг-понга. Представляется, что здесь перед нами также далеко не бессмысленная отсылка, которая потенциально может намекать на «пневму», душу героя, заключенную в лишенном побегов «пне»: обыгрывание «пн-» / “pn-” в «пне», «пневме-душе» и «пинг-понге» – один из столь любимых писателем филологических

ребусов¹. Основанная на кумуляции поездок героя фабула романа, открыто отсылающая к любимому Набоковым Гоголю и его «Мертвым душам» (в «Пнинне» даже есть собака по кличке Собакевич), кажется, лишь подкрепляет эту догадку.

Идея эмиграции как двойничества обосновывается Набоковым в его русскоязычной автобиографии «Другие берега» (1954). В пятой главе книги писатель реконструирует приезд французской гувернантки в Россию в жанровых координатах баллады. Подобно героине одноименной баллады Жуковского, Светлане, потерянная иностранка оказывается в России: зимой, под луной, посреди метели, в революционный 1905 г. (вспомним здесь об актуальности балладных кодов в описании революции русскими писателями: Буниным, Блоком, Булгаковым, Пастернаком и др.). Эмоциональное напряжение усиливается языковым барьером – вышедшая на глухой станции уроженка Лозанны знала только одно слово – «где», которое, как сказано в тексте, «превращалось у нее в “гиди-э” и, полнясь магическим смыслом, звуча граем потерявшейся птицы, оно набирало столько вопросительной и заклинательной силы, что удовлетворяло всем ее нуждам» [15. С. 202]. В писавшейся одновременно с «Пнинным» книге мемуаров Набоков раскрывает смысловой потенциал баллады, в основе жанрового архетипа которой лежит сюжет нелегитимного пересечения границы [16. С. 99]. Этот сюжет реализуется в текстах писателя как пересечение языковой и культурной границы эмигрантами, которые функционально оказываются на том же месте, что и вторгающиеся в мир живых мертвецы. Переезд за границу в воспоминаниях Набокова преломляется в балладном ключе: история Mademoiselle – пародийно, собственная – уже серьезно:

Совершенно прелестно, совершенно безлюдно. Но что же я-то тут делаю, посреди стереоскопической феерии? *Как попал я сюда? Точно в дурном сне, удалились сани, оставив стоящего на страшном русском снегу моего двойника в американском пальто на викуньевом меху. Саней нет как нет:* бубенчики их – лишь раковинный звон крови у меня в ушах. Домой – за спасительный океан! Однако двойник медлит. Все тихо, все околдовано светлым диском над русской пустыней моего прошлого. Снег – настоящий на ощупь; и когда наклоняюсь, чтобы набрать его в горсть, полвека жизни рассыпается морозной пылью у меня промеж пальцев [15. С. 204].

Ю.В. Шатин отметил, что в истории баллады существенным жанровым сдвигом становится «присвоение художественного пространства говорящим», благодаря которому она со временем трансформируется в «лирическую исповедь» [17. С. 60]. У Набокова этот вектор деканонизации доводится до логического предела, когда баллада становится органичной частью автобиографического повествования. Автор включает в «Другие берега» прозрачные отсылки к зимней балладе Жуковского, но с характерной сменой

¹ В «Бледном пламени» аналогичный мотив лопнувшего надувного резервуара (таким в романе 1962 г. является автомобильная шина), «привязанного», как и в «Пнинне», к имени героя, дан авторским неологизмом «рпноо», восходящим к исходному французскому названию автопокрышки – «pneumatique».

точки зрения на двоящееся сознание повествователя и его «двойника в американском пальто», иначе говоря, двойника-эмигранта. Сохраняется традиционное для баллады «чередование фрагментов с повествовательной интонацией и фрагментов, организованных как восклицания или риторические вопросы» [17. С. 61], звуковая анафора (*сон, сани, страшный снег* и т.д.), но балладный страх переходит в сферу исторической рефлексии – страшной раздвоенности сознания эмигранта. Эмигрант – центральный тип в системе персонажей Набокова – это всегда личность с проявленной патологией, и беззубость Пнина – одна из версий этой повторяющейся характеристики. Важно, что функциональное замещение балладного мертвеца автобиографическим героем Набокова в «Других берегах» усиливается повторяющимся образом *саней*, традиционным похоронным атрибутом восточных славян, в этом качестве появившихся еще в общеизвестном зачине «Поучения Владимира Мономаха» (см. коммент. Д.С. Лихачева: [18. С. 517]).

В «Пнине» Набоков применяет целую систему литературных приемов, демонстрирующих ложность занимаемого эмигрантами положения: трансформацию жанровой балладной модели, аллюзии на образы гоголевских самозванцев, многочисленные языковые коды, указывающие на нелегитимный, «незаконнорожденный» статус экспатрианта, неизбежное удвоение его вербальной и ментальной реальности. В число таких смысловых кодов входит и удаление зубов как утрата витальной энергии и вырывание культурно-исторических корней. Вскоре после выхода набоковского «Пнина» эта метафора была упрощена и разъяснена в «Челюсти эмигранта» (1957) Василия Яновского, открывающейся сценой сеанса удаления зуба в приемной дантиста:

– А вот, – задавался Шумахер: – челюсть, найденная в Перу: ей тысяча лет! <...> Однако, ученые не знают отчего такое различие в технике, – продолжал делиться любимыми мыслями дантист: – Есть вполне добротные из серебра, есть из бронзы, а рядом совсем рудиментарные, из смеси гипса с глиною. Специалисты написали целые труды об этих пломбах и всё-таки не нашли объяснения...

– Вероятно, это эмигрант, – тихо сказал Богдан: – Бежал с родины, скитался по многим государствам с разным уровнем культуры, и в зубах сохранился след его передвижений [19. С. 8].

Известно, что телесные коды являются одним из самых древних способов миромоделирования. Как следует из широко известных работ О. Матич и К.А. Богданова, Петр I, реформатор, заставивший Россию расстаться со средневековыми «корнями», не только «собственноручно брил бороды» [20. С. 180], но и сам «вырывал зубы и делал это с великою охотою»: в музеях сохранились стоматологические инструменты царя и целая коробка удаленных им лично зубов [21. С. 38]. Первая половина XX в., как и Петровская эпоха, также представляла собой масштабный культурный слом, когда соотечественники Набокова должны были пережить аналогичную болезненную процедуру. Тимофей Пнин «с изумлением обнаружил, как сильно был привязан к своим зубам <...> И когда ему, наконец, установили протезы, получи-

лось что-то вроде черепа неvezучего ископаемого, оснащенного ослабленными челюстями совершенно чужого ему существа» [13. С. 38]. В стилизованном романном идеологическом споре приятели Пнина – профессор философии истории и профессор истории философии (своеобразные Бобчинский и Добчинский на набоковский лад) – полемизируют по поводу реальности подобных «ископаемых»: «“Реальность – это долговременность!” – бухал один из голосов, Болотова; – “Никак нет! – восклицал другой. – Мыльный пузырь так же реален, как зуб ископаемого!”» [Там же. С. 107]. Здесь писатель возвращается к дискуссии первых лет эмиграции, в которой сам когда-то принимал участие. В архивохранилищах сохранилась рукопись доклада Набокова «On Generalities» («Об обобщениях»), прочитанного им в Берлинском литературном кружке в 1926 г. [22], в котором автор также сталкивает две точки зрения на историю. В качестве «мыльного пузыря» тогда выступал советский политический проект: «Что касается революционного душка, то и он, случайно появившись, случайно и пропадет, как уже случалось тысячу раз в истории человечества. В России глуповатый коммунизм сменится чем-нибудь более умным, – и через сто лет о скучнейшем господине Ульянове будут знать только историки». Ему противопоставлялся человеческий и вещный мир, который для последующих поколений станет лелеемым ископаемым: «А пока будем по-язычески, по-божески наслаждаться нашим временем, его восхитительными машинами, огромными гостиницами, развалины которых грядущее будет лелеять, как мы лелеем Парфенон; его удобнейшими кожаными креслами, которых не знали наши предки; его тончайшими научными исследованиями; его мягкой быстротой и незлым юмором; и главным образом тем привкусом вечности, который был и будет во всяком веке» [23].

С годами писатель становится более осторожным в своих исторических прогнозах, предпочитая пропускать свои историософские размышления через сложную сеть литературных приемов в художественной и автобиографической прозе. Так, образ потерявшего зубы Пнина отнюдь не формирует модель исключительно драматической судьбы русской эмиграции. Персонаж оказался настолько доволен своими искусственными, лишенными корней, а значит, не причиняющими боли, зубами, что даже предлагает полное удаление зубов знакомым американцам: «А однажды вечером он подстерег Лоренса Клемента, торопившегося тайком проскочить к себе в кабинет и, издавая бессвязные триумфальные клики, принялся демонстрировать красоту своего приобретения, легкость, с которой оно вынимается и вставляется, а также убеждать удивленного, но отнюдь не враждебного Лоренса завтра же утром первым делом пойти и вырвать все зубы» [13. С. 39]. В геокультурных координатах искусственные «улыбающиеся» челюсти Пнина предстают Америкой, старые, вырванные зубы символизируют Россию. Причем показательно, что понять и описать покинутую родину персонаж оказывается способен только после отказа от «зубной» боли по ней: «Это было откровение, восход солнца, крепкий прикус деловитой, *алебастрово-белой, человеческой Америки*. Ночами он держал свое сокровище в особом стакане с особой жидкостью, там оно улыбалось само себе, розовое и жемчужное, совершенное, словно некий прелестный представитель глубоководной флоры. *Большая работа, посвященная старой России*, дивная греза, смесь фольклора, поэзии, социальной истории и

petite histoire, которую он так любовно обдумывал последние десять, примерно, лет, теперь, когда головные боли ушли, а новый амфитеатр из полупрозрачного пластика как бы таил в себе возможности и сцены, и исполнения, наконец-то казалась осуществимой» [13. С. 38].

В художественной ткани романа зубы и челюсти Пнина соотнесены с образами книги и библиотеки: «С застенчиво таинственным выражением благодетельный Пнин, припасший для деток дивное лакомство, которое когда-то пробовал сам, и уже обнаруживший в невольной улыбке неполный, но пугающий набор *пожелтых зубов*, открывал на кожаной изящной закладке, предусмотрительно им туда вложенной, *потрепанную русскую книгу*. Он открывал ее и немедленно, – случалось это так же часто, как и не случалось, – выражение крайнего смятения искажало его живые черты: приоткрыв рот, он принимался лихорадочно перелистывать книгу во всех направлениях; порой проходили минуты, прежде чем он находил нужную страницу, – или убеждался, наконец, что все же верно ее заложил» [Там же. С. 14–15]. Но если ранее больные зубы Пнина постоянно препятствовали его научной и учебной деятельности, то наконец отказавшись от них, «слегка *пошевеливая зубными протезами, на которые налипла пленочка творога*, Пнин поднялся по *скользящим ступеням библиотеки*». Взяв каталожный ящик, Пнин «несет его, *словно большой орех, в укромный уголок и там тихо вкушает духовную пищу*», впервые за долгие годы и неожиданно для себя обнаруживая незамеченные ранее сходства и связи, необходимые ему для того, чтобы зубами (а как же еще добраться до ядра «ореха»?) раскусить «...“Малую историю” русской культуры, в которой российские несурезицы, обычаи, литературные анекдоты и тому подобное были бы подобраны так, чтобы отразить в миниатюре “Большую историю” – основное сцепление событий» [Там же. С. 69, 72].

Литература

1. Rice J.L. “Why must people be unhappy?” – *Pnin* for Pedagogical Purposes // Word, Music, History: A Festschrift for Caryl Emerson. Stanford, 2005. P. 735–741.
2. Барбятарло Г. Разрешенный диссонанс // Звезда. 2003. № 4. URL: <http://magazines.russ.ru/zvezda/2003/4/bart.html> (дата обращения: 04.05.2017).
3. Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. СПб., 2010.
4. Бойд Б. Владимир Набоков: русские годы: биография. СПб., 2010.
5. Гордиенко Т.В. И.А. Бунин и Б.К. Зайцев в Москве и в эмиграции // И.А. Бунин и его окружение: к 140-летию со дня рождения писателя. М., 2010. С. 148–172.
6. Бойд Б. Владимир Набоков: американские годы: Биография. СПб., 2010.
7. Погорелова Д.А. Врачи-палачи, зубы и дантисты в русской прозе В.В. Набокова // Учен. зап. Харьковского национального пед. ун-та им. Г.С. Сковороды. Литературоведение. 2012. Т. 2, № 1 (69). С. 135–141.
8. Сборник литературных произведений русских и зарубежных авторов на тему стоматологии. Зубы / сост. О.О. Янушевич, Е.Е. Бергер, М.С. Тютурская. М., 2014.
9. Богданов К.А. История сквозь зубы (стоматологические сюжеты в советской культуре) // Новое лит. обозрение. 2013. № 122. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2013/122/18b.html> (дата обращения: 05.05.2017).
10. Ходасевич Вл. О Сирине // В.В. Набоков: pro et contra. СПб., 1997. Т. 1. С. 244–250.
11. Матич О. Диаспора как остраение (русская литература в эмиграции) // Ежеквартальник русской филологии и культуры. СПб., 1996. Т. 2, № 2. С. 158–179.
12. Набоков В.В. Стихотворения. СПб., 2002.
13. Набоков В.В. Собрание сочинений: в 5 т. СПб., 2004. Т. 3.
14. Nabokov V. Pnin. New York: Vintage, 1989.

15. *Набоков В.В.* Русский период // Собр. соч.: в 5 т. СПб., 2008. Т. 5.
16. *Анисимов К.В.* «Грамматика любви» И.А. Бунина: текст, контекст, смысл. Красноярск, 2015.
17. *Шатин Ю.В.* Мотив и жанр: приход ожившего мертвеца за жертвой (от «Леноры» Бюргера до «Революционной казачки» Пригова) // Литература и фольклорная традиция: сб. науч. тр.: К семидесятилетию проф. Д.Н. Медриша. Волгоград, 1997. С. 52–63.
18. Повесть временных лет / подгот. текста, пер., статьи и коммент. Д.С. Лихачева; под ред. В.П. Адриановой-Перетц. СПб., 1999.
19. *Яновский В.С.* Челюсть эмигранта. Нью-Йорк, 1957.
20. *Матич О.* Постскрипtum о великом анатоме: Петр Первый и культурная метафора рассечения трупов // Новое лит. обозрение. 1995. № 11. С. 180–184.
21. *Богданов К.А.* Врачи, пациенты, читатели: Патографические тексты русской культуры XVIII–XIX веков. М., 2005.
22. *Долинин А.* Доклады Владимира Набокова в Берлинском литературном кружке: (Из рукописных материалов двадцатых годов) // Звезда. 1999. № 4. URL: <http://magazines.russ.ru/zvezda/1999/4/dolinin.html> (дата обращения: 12.05.2017).
23. *Набоков В.* On Generalities. Гоголь. Человек и вещи / публ. и примеч. А. Долинина // Звезда. 1999. № 4. URL: <http://magazines.russ.ru/zvezda/1999/4/general.html> (дата обращения: 12.05.2017).

THE DENTAL CODE IN VLADIMIR NABOKOV'S *PNIN*

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 49. 136–146. DOI: 10.17223/19986645/49/9

Evgenia E. Anisimova, Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russian Federation).
E-mail: eval393@mail.ru

Keywords: V. Nabokov, V.A. Zhukovsky, N.V. Gogol, Russian first-wave emigration, plot, defamiliarization, doubleganger, ballad.

The article analyzes an important aspect of the semantic encoding and plot structure of Nabokov's novel *Pnin* – the continual repetition of the images of teeth. This novel's dental codes are considered in the broad context which comprises primarily the author's re-thinking the myth of the Russian emigration with signs and elements of Russian pathographic culture. The research is focused on the technique of defamiliarisation which provides the reader with a metaphor of a person losing his teeth being pulled out, which meant the destiny of "rootless" Russian emigrants to Nabokov in the language of pathographic imagery. The author of the article studies Nabokov's refraction of the philosophy of history and identity attracting a large number of examples referring to the structure of the novel, the imagery of fragmented bodies, duplicity in the plot, allusions to the Russian ballads. *Pnin* is considered in the context of Nabokov's autobiographical prose. Thus, Nabokov's book *The Other Shores* written simultaneously with *Pnin* is involved in the research. In his autobiographical oeuvre Nabokov substantiates the idea of emigrants as doublegangers applying in these representations primarily the archetypes of the ballad genre. The plot of crossing the border by an illegitimate intruder is the core of ballad poetics. In Nabokov's version this topos gives birth to the motifs of crossing the linguistic and cultural boundaries by emigrants who resemble in these situations the ballad dead men invading the world of the living. Thus, the ballad horror is activated in the field of historical reflection and becomes an equivalent of the painful duality of emigrants' consciousness. An emigrant as a crucial figure in Nabokov's system of characters is always a pathological person, and *Pnin*'s toothlessness is one of the versions of this recurring feature. The main character's name is another device appearing as a metaphor of defamiliarisation of the phenomenon of Russian emigration. The two, linguistic and historical, perspectives are combined in *Pnin* as a word. On the one hand, the writer reminds the reader on the Russian practice of truncating the names of bastard sons of a noble ancestry (*Repnin* – *Pnin*), illegal branches on a family trees. On the other hand, accentuating the sense of a "stub" (Rus. *pen'* means "stub"), Nabokov succeeds to describe the sad historical prospect of the Russian emigration as a tree deprived of body and branches. The first half of the 20th century, alike with the epoch of Peter the Great (who himself regularly practiced pulling his subjects' teeth), was a large-scale cultural breakdown which compelled Nabokov's compatriots to endure the same painful procedure of parting with their "roots" as that of the 18th century when Russian elite was involuntarily turning by the czar from traditional "boysars" to the European gentry. The geocultural perspective proves this main idea: on a

symbolic map Pnin associates his artificial smiling jaws with America while his old sick and therefore pulled out teeth become the symbol of Russia lost forever. Moreover, Pnin becomes able to fully apprehend and describe his forsaken homeland only when he is finally free from his “toothache” provoked by pulling his roots out.

References

1. Rice, J.L. (2005) “Why must people be unhappy?” – Pnin for Pedagogical Purposes. In: Fleishmann, L. et al. (eds) *Word, Music, History: A Festschrift for Caryl Emerson*. Stanford: Stanford University.
2. Barabtarlo, G. (2003) Razreshennyi dissonans [The resolved dissonance]. *Zvezda*. 4. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/zvezda/2003/4/bart.html>. (Accessed: 04.05.2017).
3. Nabokov, V.V. (2010) *Leksii po zarubezhnoy literature* [Lectures on foreign literature]. St. Petersburg: Azbuka-klassika.
4. Boyd, B. (2010) *Vladimir Nabokov: russkie gody: Biografiya* [Vladimir Nabokov: Russian years: Biography]. Translated from English. St. Petersburg: Simpozium.
5. Gordienko, T.V. (2010) I.A. Bunin i B.K. Zaitsev v Moskve i v emigratsii [I.A. Bunin and B.K. Zaitsev in Moscow and in emigration]. In: Kolobaeva, L.A. et al. (eds) *I.A. Bunin i ego okruzhenie: k 140-letiyu so dnya rozhdeniya pisatelya* [I.A. Bunin and his circle: to the 140th anniversary of the birth of the writer]. Moscow: Russkiy impul's.
6. Boyd, B. (2010) *Vladimir Nabokov: amerikanskie gody: Biografiya* [Vladimir Nabokov: American years: Biography]. Translated from English. St. Petersburg: Simpozium.
7. Pogorelova, D.A. (2012) Vrachy-palachi, zuby i dantisty v russkoy proze V.V. Nabokova [Doctors-executioners, teeth and dentists in the Russian prose of V.V. Nabokov]. *Uch. zap. Khar'kovskogo natsional'n. ped. un-ta im. G.S. Skovorody. Literaturovedenie*. 2:1(69). pp. 135–141.
8. Yanushevich, O.O., Berger, E.E. & Tutorskaya, M.S. (2014) *Sbornik literaturnykh proizvedeniy russkikh i zarubezhnykh avtorov na temu stomatologii. Zuby* [Collection of literary works of Russian and foreign authors on the theme of dentistry. Teeth]. Moscow: [s.n.].
9. Bogdanov, K.A. (2013) Istoriya skvoz' zuby (stomatologicheskie syuzhety v sovetskoy kul'ture) [History through the teeth (dental plots in Soviet culture)]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 122. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/nlo/2013/122/18b.html>. (Accessed: 05.05.2017).
10. Khodasevich, V.I. (1997) O Sirine [About Sirin]. In: Dolinin, A. et al. (eds) *V.V. Nabokov: pro et contra*. Vol. 1. St. Petersburg: RKhGi.
11. Matich, O. (1996) Diaspora kak ostranenie (russkaya literatura v emigratsii) [Diaspora as defamiliarization (Russian literature in emigration)]. *Ezhekvartal'nik russkoy filologii i kul'tury*. II:2. pp. 158–179.
12. Nabokov, V.V. (2002) *Stikhotvoreniya* [Poems]. St. Petersburg: Akademicheskii proekt.
13. Nabokov, V.V. (2004) *Sobr. soch.: v 5 t.* [Works: in 5 vols]. Vol. 3. St. Petersburg: Simpozium.
14. Nabokov, V. (1989) *Pnin*. New-York: Vintage.
15. Nabokov, V.V. (2008) *Russkiy period. Sobr. soch.: v 5 t.* [Russian period. Works: in 5 vols]. Vol. 5. St. Petersburg: Simpozium.
16. Anisimov, K.V. (2015) “Grammatika lyubvi” I.A. Bunina: tekst, kontekst, smysl [“Grammar of Love” by I.A. Bunin: text, context, meaning]. Krasnoyarsk: Siberian Federal University.
17. Shatin, Yu.V. (1997) Motiv i zhanr: prikhod ozhivshogo mertvetsa za zhertvoy (ot “Lenory” Byurgera do “Revol'yutsionnoy kazachki” Prigova) [Motive and genre: the arrival of the revived dead person after the victim (from “The Lenore” by Burger to the “Revolutionary She-Cossack” by Prigov)]. In: *Literatura i fol'klornaya traditsiya: sb. nauch. tr.: k semidesyatiletiyu prof. D.N. Medrisha* [Literature and folklore tradition: research works: to the seventieth birthday of Prof. D.N. Medrisha]. Volgograd: Peremena.
18. Adrianova-Peretts, V.P. (ed.) (1999) *Povest' vremennykh let* [The Tale of Bygone Years]. St. Petersburg: Nauka.
19. Yanovskiy, V.S. (1957) *Chelyust' emigranta* [Jaw of the emigrant]. New York: [Dialog].
20. Matich, O. (1995) Postskriptum o velikom anatome: Petr Pervyy i kul'turnaya metafora rassecheniya trupov [Post-Scriptum on the great anatomist: Peter the First and the cultural metaphor of dissection of corpses]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 11. pp. 180–184.
21. Bogdanov, K.A. (2005) *Vрачи, пациенты, читатели: Патологические тексты русской культуры XVIII–XIX веков* [Doctors, patients, readers: Pathological texts of Russian culture of the 18th–19th centuries]. Moscow: OGI.

22. Dolinin, A. (1999) Doklady Vladimira Nabokova v Berlinskom literaturnom kruzhke (Iz rukopisnykh materialov dvadtsatykh godov) [Reports of Vladimir Nabokov in the Berlin literary circle (From the hand-written materials of the twenties)]. *Zvezda*. 4. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/zvezda/1999/4/dolinin.html>. (Accessed: 12.05.2017).

23. Nabokov, V. (1999) On Generalities. Gogol'. Chelovek i veshchi [On Generalities. Gogol. Man and things]. *Zvezda*. 4. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/zvezda/1999/4/general.html>. (Accessed: 12.05.2017).

УДК 3.09-821.161.1

DOI: 10.17223/19986645/49/10

В.Ю. Баль

ОБРАЗ ЧИЧИКОВА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЕ

В статье рассматривается рецепция образа Чичикова, героя гоголевской поэмы «Мертвые души», в современной русской прозе конца XX – начала XXI в. Привлекаются произведения, в которых важная смыслообразующая роль принадлежит сюжетно-мотивным и тематическим комплексам, сопутствующим образу Чичикова. Определяются социокультурные причины обращения современных писателей к образу Чичикова. Предлагается рецептивная модель гоголевского чичиковского сюжета в современной прозе, в которой ядро организовано оппозицией образов пророк – трикстер, их архетипическими и современными характеристиками.

Ключевые слова: Н.В. Гоголь, поэма «Мертвые души», образ Чичикова, рецептивная эстетика, трикстер.

Имя Чичикова уже давно стало нарицательным и узнаваемым широкой аудиторией. Исследования языка современной прессы, активно использующей прецедентные феномены из русской классики, показывают, что Чичиков имеет наибольшую популярность среди остальных гоголевских персонажей [1. С. 115]. Традиционно образ Чичикова, выступающий символом мошенничества, лживости, лести, лицемерия, используется как средство для отрицательной оценки деятельности современных политиков и предпринимателей. Но подобная интерпретация не исчерпывает всех возможностей семантического поля образа героя гоголевской поэмы в современной русской литературе рубежа XX–XXI вв.

Первым условием для рассмотрения рецептивной модели образа Чичикова, организующего чичиковский сюжет, является определение исходной точки, связанной непосредственно с гоголевским текстом. Оознавательными маркерами сюжета, помимо образа Чичикова как «приобретателя» нового типа, стали связанные с ним топос дороги и образы-символы возницы, брички, птицы-тройки, шкатулки, живой и мертвой души. Также важна особенность чичиковского сюжета – его сопряженность в поэме с емкой композиционной структурой, дающей возможность совмещения повествовательно-сатирических и лирических начал, социально-аналитических и метафизических смыслов.

Главным содержанием образа Чичикова как героя, связанного со всеми уровнями поэтики поэмы, является его представление как национального сверхтипа. С одной стороны, образ Чичикова имеет архетипические корни. Исследователи С.А. Гончаров [2], А.Х. Гольденберг [3], М. Вайскопф [4] подчеркивают, что мифологическая основа образа героя восходит к архетипической фигуре трикстера. Ген трикстера определяет амбивалентную сущность гоголевского героя. Как отмечает А.Х. Гольденберг, сюжет антихриста, имитирующего деяния апостола, оттеняет заложенный в образе Чичикова морально-философский пласт смыслов, связанный с темой апостольских по-

сланий Павла. Наряду с этим обе мифологические ипостаси в образе героя часто представлены окруженными шлейфом «травестийных ассоциаций» [3. С. 131]. А.Х. Гольденберг подчеркивает, что присутствующий в образе Чичикова мотив мессии, избавителя от смерти, лишь к концу поэмы переходит на высокий символично-метафорический уровень, редуцировав комический модус. Общим местом в гоголеведении являются также наблюдения Д.С. Мережковского [5], В. Набокова [6], которые инфернальное начало в образе Чичикова связывают с темой дегероизации мирового зла. По наблюдениям же М. Вайскопфа [4] и М.Е. Мелетинского [7], тема деградации мирового зла у Гоголя сведена до темы деградации национальной жизни. Иными словами, дьявольское начало в лице Чичикова искушает, играя не на амбициозных притязаниях человека на бессмертие, не на стремлении к бунту в масштабах всего мироздания, а на прагматичных амбициях не упустить свою выгоду в ситуации сбой работы аппарата государственно-административного управления.

С другой стороны, Чичиков воплощает черты героя Нового времени, который являет определенный социально-исторический тип и отражает гоголевские эстетические размышления о герое времени в «переходной» литературной ситуации 1830–1840-х гг. Не только образ Чичикова, но и персонаж второй части поэмы – Костанжогло открывают в русской литературе галерею «деловых людей» как новый социально-психологический тип, идущий на смену «лишним» и «маленьким» людям. Именно Гоголь, обратившись к новому типу личности, был первым в русской литературе, кто обозначил необходимость соотнесения её мировоззренческих основ как с общечеловеческими ценностями, так и с национальными традициями. Эта гоголевская установка органично коррелировала с общими историко-литературными, социально-историческими и экономическими тенденциями эпохи в «период самоидентификации русской нации, когда Россия начинает осознавать свою значимость, вырабатывать собственную систему ценностей, осознавать своеобразие характерных для нее форм общежития» [8. С. 126]. В.А. Бондаренко, проанализировав корпус художественных произведений классиков и писателей беллетристов, отмечает, что «Гоголь один из первых в русской литературе разграничил понятия "делец" (герой авантюрист, создающий капитал нечестным путем) и "деловой человек", активный персонаж, заботящийся о благе других, наделенный совестью» [9. С. 8], а гоголевский Чичиков – это одна из самых первых попыток создания образа «делового человека» в русской литературе, которая успехом не увенчалась, так как была обозначена принципиальная несводимость качеств «дельца» и «делового человека».

Таким образом, в образе Чичикова осуществляется переход от типизации к символизации, который определяет национально-миссионерский пафос поэмы. Пафос, который существует в зазоре между образами дельца-предпринимателя и праведника, темами духовной деградации нации и духовного возрождения, определяет смысловое содержание чичиковского сюжета в поэме «Мертвые души».

Вторым условием для выявления рецептивных моделей образа Чичикова и чичиковского сюжета в современной русской прозе является определение корпуса текстов, репрезентативных и продуктивных для данной исследова-

тельской цели. В рамках данной статьи в исследовательский оборот были включены обнаруженные нами тексты, которые содержат очевидный «гоголевский текст» поэмы «Мертвые души». Все выявленные тексты можно разделить на три группы. **Первая группа** – это публицистические тексты (Б. Парамонов. «Возвращение Чичикова» (1991), А. Латынина. «"Патент на благородство": выдаст ли его литература капиталу?» (1993), В. Пьецух. «Русаки» (2007), В. Елистратов «Чичиков и ипотечное кредитование: к метафизике финансового кризиса» (2009), которые сосредоточены на осмыслении проблемы востребованности чичиковского типа в новой российской социально-экономической реальности. **Вторая группа** – это художественные тексты первого постперестроечного десятилетия (Б. Кенжеев. «Иван Безуглов. Мещанский роман» (1993) и А. Уткин. «Самоучки» (1998), являющие первые попытки осмысления «настоящего» времени и его героя. Они представляют интерес для нашего исследования, так как содержат аллюзии на образ Чичикова и чичиковский сюжет. **Третья группа** – это художественные тексты первой трети XXI в., которых объединяет, с одной стороны, проблема «героя времени» в ситуации непрекращающегося духовного, исторического, социального и экономического кризиса современной российской жизни, с другой стороны, значимость текста гоголевской поэмы в их смысловом пространстве (О. Славникова. «Бессмертный» (2001), Я. Вееров. «Господин Чичиков» (2012), А. Иванов. «Блуда и МУДО» (2011), В. Шаров. «Возвращение в Египет» (2013).

Разговор о рецепции образа Чичикова в русской прозе рубежа XX–XXI вв. следует начать с указания факта его триумфального возвращения в общественное российское сознание, который нашел отражение в публицистике. Б.М. Парамонов в статье «Возвращение Чичикова» (1991) в «Независимой газете» подчеркнул, что это не столько возвращение, сколько «реабилитация»: «...бессмертие Чичикова в том, что он в России все еще остается перспективным героем, до сих пор не реализовался как следует <...> Павел Иванович действительно нужный России человек; мы наконец-то подошли к краю такого понимания <...>» [10. С. 8]. Плутводство героя и связанная с ним предприимчивость рассматриваются публицистом как положительное качество, почти граничащее с добродетелью: «Капитализм – это деньги, а деньги – это знаки, требующие умения играть с ними. Человек же, как известно, – существо, выдумывающее знаки, это его родовая характеристика; если угодно, это характеристика культуры как таковой. <...> И это уже прекрасная тайна человека – как он умеет из знаков создавать реальность, из биржевых индексов – хорошую жизнь. Этой тайной владеет математика – и Павел Иванович Чичиков. Мы с ним не пропадем. Он умеет жить и дает жить другим» [10. С. 8]. Эта иронично-подстрекательская статья Б.М. Парамонова во многом предвосхитила общее настроение передовой российской прессы, которая настойчиво чествовала последователей Чичикова, новых миллионщиков эпохи 90-х. Более того, подобный взгляд на фигуру Чичикова не потерял своей актуальности спустя два десятилетия, но и получил расширенное толкование с учетом новых культурно-экономических реалий. В. Пьецух в статье «Русаки», в части «Возвращение Чичикова», иронично отмечает, что опять оказался востребован «чисто русский феномен Чичикова, то есть симпатичного жу-

лика, расчетливого пройдохи, впрочем, патристически настроенного и не без души, который умеет делать деньги из ничего» [11]. Также яркий пример являет статья В. Елистратова, опубликованная в год гоголевского 200-летнего юбилея, в которой говорится, что Чичиков – это «человек той эпохи, которую мы зовем пост- (может быть, вернее: постпост-) индустриальной. <...> Павел Иванович, так сказать, чистый, "онтологический" брокер конца XX – начала XXI века. Некий протоброкер (он же – протодилер, проториелтор и т.д.) <...> Ему не нужна схема "деньги – товар – деньги", не нужна та самая прибавочная стоимость, из-за которой впоследствии, в XX веке, было пролито столько крови, ему не нужно никого эксплуатировать, его не интересует товар: он перекачивает пустоту» [12].

В начале 90-х также разгорелась болезненная дискуссия на тему упущенного героя русской литературы, в которой не последнее место занимала фигура «отрицательного» Чичикова. Одним из ярких свидетельств этой полемики является статья критика и публициста Ю. Латыниной «"Патент на благородство": выдаст ли его литература капиталу?» [13]. Эта статья – ответ на обрушившийся шквал упреков со стороны прессы в адрес русской литературы в её антибуржуазном, антинакопительском и антимещанском пафосе, который оболгал «предпринимателя, промышленника, человека дела – единственную силу, способную вывести страну на путь европейского развития» [13]. Одним из выводов статьи является утверждение о невозможности изменения вектора русской литературы даже в новых социально-экономических условиях: «...литература не откликнется на раздающиеся тут и там призывы исправить вековую ошибку русской классики, а также искупить грех соцреализма и изобразить наконец во всей его привлекательности подлинного радателя прогресса – предпринимателя и бизнесмена» [Там же].

Таким образом, в публицистике рецепция образа Чичикова была связана со следующими направлениями. С одной стороны, это размышления о наступлении новой чичиковской действительности в России, с её меняющейся в 90-е гг. экономикой и возникающим новым типом «приобретателя», процветающего на стезе экономического мошенничества. С другой стороны, дискуссия о роли литературы в постперестроечный период, которая испытывала беспомощность при выполнении своей традиционной задачи являть «антропологические типы» в совершенно новой реальности.

Несмотря на актуализацию в первое постперестроечное десятилетие темы новых «хозяев жизни», сюжет «праведного накопления богатства» не стал магистральным в современной русской литературе. Но в то же самое время «новые миллионщики» и новые политики, занявшие видные позиции на арене экономической и социально-политической жизни страны, наводнили массовую литературу рубежа XX–XXI вв., авторы которой пытались зафиксировать коллективный портрет постперестроечной эпохи. Как отмечает О. Славникова, «...грубое сырьё сегодняшнего дня брала в работу только принципиально тленная коммерческая литература» [14], так как лихое состояние постперестроечного пространства и время «...плохо поддавалось художественному обобщению серьезных мастеров» [Там же]. И совершенно очевидно, что герои массовых жанров, криминальных триллеров и детективов не восходят генетически к образу героя гоголевской поэмы, и в произведениях массового

жанра оказались не востребованы сюжетные звенья чичиковского сюжета. Но отстоят от этого массового бульварного чтива романы Б. Кенжеева «Иван Безуглов. Мещанский роман» (1993) и А. Уткина «Самоучки» (1998), изображающие современного предпринимателя с аллюзиями на гоголевский текст поэмы «Мертвые души».

Образы главных героев в обоих произведениях, Иван Безуглов в романе Кенжеева и Павел Разуваев в романе Уткина, являющие вариацию на тему предпринимателя в новой социально-экономической российской реальности, лишены метафизических и архетипических смыслов. Авторская ирония в романе «Иван Безуглов. Мещанский роман» определяет принципы изображения идеального образа российского предпринимателя, который занят «превращением его несчастной, разоренной коммунистами страны в процветающую державу» [15. С. 63]. Ирония вместе с жанровой традицией мещанского романа позволяет представить слащавую версию «героя времени», который должен «вселить надежды на водворение благополучия, воплотить мечту о личностях, вполне свободных экономически и морально» [16]. Герой романа А. Уткина, Павел Разуваев, «типичный новый русский», который «нажился случайно, как это тогда произошло со многими» [18]. Павел Разуваев – это представитель поколения «самоучек», которое наивно пытается в лихое российское десятилетие обрести четкие ориентиры для существования в культуре.

Обоим героям сопутствуют такие элементы чичиковского сюжета, как образ дороги и возницы. Но пространственное перемещение обоих героев в основном связано с Москвой. В произведениях нет выхода на обширные национальные просторы, которые могли бы дать панорамный охват национального мира. У Кенжеева герой «предпочитает прямо у крыльца особняка садиться в свой черный лайковый "Кадилак", едва ли не единственный в Москве, в котором и приходилось ему колесить по всей огромной, неряшливо застроенной столице России» [15. С. 62]. Ироничную «подсветку» имеет номинация сопровождающих кенжеевского героя персонажей. У телохранителей апостольские имена – Андрей и Павел, а водитель – Василий Андреевич Жуковский, который примыкает к ряду преданных соратников, имеющих также литературные имена: вице-президент фирмы – Федор Иванович Тютчев, главный бухгалтер – Евгений Абрамович Боратынский, юрист компании – Михаил Юрьевич Лермонтов. Важной деталью в произведении Кенжеева является музыкальный фон образа дороги, который также содержит элемент иронии над национальным «сверхтопосом». Герой колесит по Москве в своем «Кадилаке» под «божественные звуки первой симфонии Чайковского» [Там же. С. 63]. Музыкальная аллюзия на симфонию, отразившую впечатления композитора от необъятности национальных просторов, дорог, пытающихся их пересечь, картин праздничных национальных гуляний, выступает ироничным контрастом к дорожным московским маршрутам героя, претендующего на роль спасителя своей «державы». Во многом эта пространственная замкнутость выявляет ограниченность национального кругозора героя Кенжеева. Герой, определяющий себя как «безнадежно русский», демонстрирует крайне поверхностное представление о своей стране и ее жителях, а его лирические признания полны наивных штампов.

Герой романа «Самоучки» А. Уткина тоже колесит только по Москве в своей машине с водителем Чапой и другом-историком, который просвещает его, пересказывая русскую классику. Мир Павла Разуваева – это мир криминальных разборок. Имя водителя, этимологически связанное с жаргонным словом «чапать» – ходить, верный знак трагического финала жизни Павла Разуваева, погибающего от рук бандитов. Криминальная предопределённость судьбы героя заложена также в его фамилии, которая по одной из версий восходит к слову разувай – загородный кабак, где грабят [18]. Восприятие классики в пересказе происходит по закону «наивного реализма», что и определяет её несостоятельность дать герою ответы на мучительные вопросы о смысле своего существования в новой исторической реальности. «Неначитанный» Павел Разуваев дает положительную характеристику только двум героям, Чичикову и Лопахину, определяя их как «нормальных» [Там же], в отличие от остальных – «психованных» [Там же]. А отзыв, данный Чичикову, во многом вторит дискуссии в публицистике, которая была освещена ранее в нашей статье. Гоголевский Чичиков представляется Разуваеву совершенно реальным лицом. Он узнает в нём «сибирского кореша», бизнес которого был связан с покупкой прогоревших банков. Подобная рецепция становится верным свидетельством бессмертия чичиковского предпринимательского духа и нового этапа его «развития» в постперестроечной России.

Таким образом, обнаруженные нами единичные примеры произведений в последнее десятилетие XX в., являющие попытки осмысления дельцов нового времени, не свидетельствуют об антропологических открытиях. Жанровая ориентация Кенжеева на мещанский роман определяет художественные принципы безликого и поверхностного изображения идеального предпринимателя и обнажает отсутствие веры в национальное возрождение на момент общественно-политических реформ в постперестроечную эпоху. Обращение автора к жанровому канону мещанского романа, лишённого воздуха, – верное свидетельство невозможности написать «поэму о России» на современном материале. Сентиментальный финал романа Кенжеева, в котором удается спасти фирму Ивана Безуглова от краха и переименовать её в «Иван Безуглов и сыновья», реализует только мещанско-обывательскую мечту Чичикова о передаче своего дела детям, лишённую национально-метафизических смыслов. Уткин, в свою очередь, диагноз эпохе с её новым героем ставит через сюжетное обнажение несостоятельности всей русской классики, расшатывая литературоцентричную модель отечественной реальности.

Более насыщенная рецептивная модель образа Чичикова и чичиковского сюжета представлена в третьей группе выделенных нами произведений. Обратимся к первому яркому примеру – повести О. Славниковой «Бессмертный» (2001), в которой автор пытается художественно осмыслить российские реалии начала 1990-х гг. – от удручающей бытовой повседневности в сложной экономической ситуации до бурной политической жизнью, символом которой стали шумные предвыборные кампании. В повести Славниковой находит отражение случившееся изменение в политическом поле страны в постперестроечный период, когда «коридоры власти заполнились чиновниками на час, циничными дельцами и авантюристами, ориентированными на собственную выгоду и карьеру» [19. С. 13]. Славникова попыталась изобра-

зить не просто хищника в погоне за миллионами, а именно трикстера, нарушителя табу, который своими действиями профанирует «святыни» и тем самым оказывается близок к архетипической природе Чичикова. Сразу следует отметить, что, сосредоточиваясь на образе Чичикова, Славникова не привлекает в свое повествование такие элементы чичиковского сюжета, как образы дороги, возницы, птицы-тройки, но использует такие образы, как мертвая и живая душа, шкатулка и списки.

Двойную художественную оптику Славникова привлекает для изображения бизнесменов-политиков: через узнаваемые социальные типы просвечивает их архетипический и литературный генезис. Шишков, мучительно размышляя о возможных путях решения проблемы «неблагоприятного расклада избирательных симпатий» [20. С. 64], в стратегическую ночь раздумий сидит простуженный в промозглом штабе, и нос его «трубит» в «трепещущий платок» [Там же. С. 68]. Эта деталь отсылает нас к аналогичной в образе Чичикова: «...в приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко <...> нос его звучал, как труба» [21. С. 128]. Фамилия Кругаля, этимологически восходящая к слову «круг», которое могло выступать основой для прозвища пышнотелого человека маленького роста, коррелирует с мотивом круглоты, присутствовавшим в описании внешности Чичикова. Архетипическое начало в образе современных политиков схоже с чичиковским: оно имеет inferнальные корни. Шишков, фамилия которого восходит как к слову «шишко», обозначающему беса, черта, нечистую силу, так и к слову «шиш» в значении «разбойник, грабитель», «бродяга, лихой человек» [22], действует с откровенным хищным цинизмом, предлагая 50 рублей за голос избирателя. В этой вариации политического сюжета в повести Славниковой уже не столько обнажается нечестный способ проведения предвыборной кампании, сколько иронично переворачивается сюжет о продаже души. Не искуситель, измывавшийся и опошлившийся, охотится за душами, эквивалентом которых в современном мире стали голоса избирателей, а, наоборот, избиратели стоят к нему длинной очередью.

Если обозначенные выше Шишков и Кругаль являют пример банальной рецептивной модели Чичикова, связанной с изображением нечистоплотного политика, скупающего голоса избирателей и имеющего inferнальный ген, то вторая группа выделенных нами в повести персонажей – пример чичиковской подсветки для осмысления новой формы поведения трикстера в современном обществе. Современный подход к феномену трикстера, формам его проявления в социальных практиках XX и XXI вв., связан с философским осмыслением проблемы трансгрессии в работах Ж. Батая, М. Фуко, Ж. Бодрийера и др. В рассуждениях мыслителей «трансгрессивное начало, актуализирующееся в нарушении запрета смерти, есть не собственно влечение именно к смерти, но, наоборот, преодоление смерти навстречу жизни без ограничений» [23. С. 80]. Трансгрессия, качественно отличающаяся от трансцендирования, в своем стремлении приобрести суверенный внутренний опыт через обращение к пределу остается замкнутой на самой себе, выявляя лишь онтологическую пустоту. Иными словами, осуществляется лишь мнимый выход к сакрально-божественному порядку. В современных исследованиях встречаются наблюдения, определяющие Чичикова как героя трансгрессивного типа,

так как за его предприятием с мертвыми душами «скрываются сложные экспликации подлинно онтологического характера» [24. С. 131], направленные на продление своего пребывания в мире за пределами «собственной телесной смертности» [Там же. С. 131]. Деяние Чичикова в этом направлении «становится онтологической угрозой – агрессивное "я" проникает в границы "других" и осуществляет скрытые манипуляции ими, т.е. ломает сущностную границу, позволяющую функционировать многим системам социального и концептуального порядка» [Там же. С. 132]. Близким к этой чичиковской сущности в повести оказывается, прежде всего, Апофеозов. Апофеозов, фамилия которого этимологически связана с древнегреческим словом, обозначающим обожествление и причисление к лику святых, – харизматичный идол современности, «играющий» уже не на стремлении к моментальному материальному обогащению людей, а на жажде телесного бессмертия, которое он обещает в обмен на голос избирателя. Герой становится возмутителем спокойствия, порождая хаос, который взрывает все устоявшиеся ценностные нормы относительно телесного и духовного, материального и идеального в человеке. Апофеозов, как и Чичиков, представляет ложную форму проявления человеческого духа, выражаемую в повести с помощью ольфакторных мотивов. Одеколон, упоминания о котором включены в структуру образа Чичикова, – это «обонятельное выражение внешней обстоятельности героя (приятности) и в то же время «симулякр» духа, стремления быть» [25. С. 205]. Следом незримого вездесущего присутствия Апофеозова тоже становится запах:

Апофеозов так часто возникал в эфире, что буквально насытил собой воздух, сделавшийся при вдыхании странно щекотным и терпким. Дух Апофеозова витал повсюду, точно сам он умер [20. С. 19].

Оба героя становятся рупором особой жизненной философии. Но если Чичиков молчаливо и бережливо лелеял внутри себя идею мещанского счастья, в основание которого должен был лечь ловким образом приобретенный капитал, то Апофеозов, наоборот, с присущим ему магнетизмом заражает всех своей «жаждой жизни», в которой есть «несокрушимая воля есть, пить, строить похожий на людоедский замок из сказки загородный особняк, открывать в Швейцарии секретные счета» [19. С. 68]. Чичиков, покупая мертвые души, действует с предельной осторожностью, а Апофеозов же в своем стремлении «продать» бессмертие работает публично и открыто. На основании этого сравнения проявляются, с одной стороны, столкновение мещанства «старого» и «нового» типа, с другой стороны, изменение отношения к материальному благосостоянию как единственной цели в жизни. «Фантастической» силы «витальность» Апофеозова позволяет ему спекулировать на ложных духовных потребностях избирателей, жаждущих суррогатных форм бессмертной жизни, полной материального благополучия. Иными словами, единственный чичиковский пример мечты о бессмертии в онтологическом смысле вместе с мещанским счастьем сменяется массовым гипнозом возможного скорейшего материального обогащения, выступающим гарантией счастливой и бесконечной жизни.

Финал гоголевской поэмы коррелировал с традиционным исходом деяний трикстера, которые должны стать предпосылкой к утверждению истинных ценностей после их кощунственного отрицания. В поэме произошло не просто выявление греховного бездуховного состояния мира и человека, но открылась острая необходимость «вдохнуть в них душу», оживить. Стоит также подчеркнуть, что открытый финал поэмы содержал перспективу не только для возрождения Чичикова, но и всего национального мира, «социофизическая реальность» которого была представлена как «особый организм, единый гротескно-метонимический образ телесной души России» [2. С. 182–183]. Неоднозначно Славниковой представлена в повести ответная реакция на трикстерные деяния Апофеозова. С одной стороны, с помощью фольклорных мотивов очередь обманутых избирателей показана оживающей: «...крупной глянцевої вороне, которую поднял с ветки человеческий гвалт, было видно с высоты, как черные ошметки, похожие на какие-то расклеванные остатки потрохов, собираются снова в черное тело, которого становится больше, – и тело оживает, будто сбрызнутое мертвой и живой водой» [19. С. 228].

Но в данном случае ворона – это сниженный вариант Ворона, типичного трикстерного персонажа [25. С. 191], посредника между жизнью и смертью, который в русском фольклоре добывал живую и мертвую воду, оживлявшую былинного героя.

Но даже уподобление очереди коллективному телу, слитность которого обусловлена особым качеством связью, не дает оснований для восстановления истинных границ между духовным и материальным. Представленное в этом эпизоде приобретение обманутыми вкладчиками «бессмертной связи» «между собственными душами» не становится торжеством истинной духовной жизни, а наоборот, выявляет очередную суррогатную форму существования – псевдонародного единства. Ожившее «черное тело» толпы лишено истинной души, внутри него симулякр духа – пустота. Вслед за итальянским режиссером Коммичини, создавшим фильм «Большая пробка», В. Сорокиным, написавшим роман «Очередь», О. Славникова использует «очередь» как одну из метафор времени, лишенного истинных смыслов существования. Удручающая картина псевдонародного единства становится знаком мнимого исторического бессмертия в современной действительности. В повести Славниковой эта формула бессобытийного времени, лишенного подлинного смысла, противостоит формуле исторического бессмертия, символом которой является ветеран Алексей Афанасьевич, «единственной основой для существования которого» [19. С. 36] была победа в Великой Отечественной войне. На этом фоне свойственного Гоголю противопоставления героического прошлого и пошло-прозаического настоящего в повести разворачивается сюжет Алексея Афанасьевича, который ведет борьбу за подлинное бессмертие, желая вырваться из плена консервации в брежневской эпохе.

Сюжет парализованного ветерана неразрывно связан с сюжетными линиями Марины и Клумбы. Марина в отличие от Чичикова не стремится к получению суррогатной формы бессмертия с помощью финансового плутовства, а наоборот, мошенничает, уже имея суррогатную форму бессмертия. Желая продлить жизнь отчима, Марина мыслит не в русле христианской системы ценностей, в которой важное место занимает идея воскрешения, а одер-

жима позитивистским желанием изменить онтологический закон неизбежности смерти. Это устремление Марины проявляется не только в том, что она «обессмертила» отца, но и в ситуации возвращения из мира мертвых других. Например, она успешно скрывает от семьи смерть пьяницы-племянника, создавая иллюзию его «псевдожизни», в которой он излечился от своего недуга и шлет денежные переводы, возвращая свои пьяные долги родственникам. Решение Марины «содержать призраков» [19. С. 90] отрицательно сказывается на содержимом её «шкатулки», в которой она пытается хранить и преумножать свои сбережения «в новой товарно-денежной действительности» [Там же. С. 14]. Шкатулка Марины, как и шкатулка Чичикова, становится метонимическим образом, передающим духовную пустоту современного человека. Она символ позитивистско-экономической формы сохранения и преумножения жизни в пространстве онтологической пустоты.

Второй вариант бытового проявления чичиковского сюжета, лишенного политических и предпринимательских амбиций, но не отказавшегося от онтологических притязаний, связан с работницей собеса, Клумбой, которая «ведет себя, будто свихнувшийся Чичиков, скупающий мертвые души не ради заклада, а ради вечного владения сонмом мертвецов» [Там же. С. 165]. Именно в ее случае оказывается востребованным образ списка, который сформирован инвалидами – «полудохлым населением восемнадцатого участка» [Там же]. Онтологические границы героиня разрушает весьма своеобразным способом. Цена, которую платит Клумба за желаемый «суррогат бессмертия», определяется в её трансгрессивных практиках, направленных не столько к приближению к порогу смерти, сколько к порогу допустимо-переносимой физической боли:

Должно быть, механизм сочувствия был у Клумбы устроен иначе, чем у большинства людей: чужая боль, совершенно минуя душу, действовала на Клумбу физиологически, то есть сразу попадала из чужого больного органа в ее здоровый [Там же. С. 222].

Таким образом, в повести Ольги Славниковой чичиковскую аллюзивную подпитку получили размышления, с одной стороны, о нечистоплотных политиках, которые охотятся за душами современников, измельчавшими до голоса избирателя, с другой стороны, о героях, являющих черты трикстерного поведения современного типа, выражающегося в онтологических притязаниях на установление новых границ между жизнью и смертью. Осмысление феномена трикстера современного типа обуславливает привлечение таких элементов чичиковского сюжета, как мертвая душа, шкатулка и списки. В повести Славниковой эти образы-символы становятся выразителями манипуляции суррогатными формами жизни и бессмертия, которые определяют суть существования современного человека, «добровольно избравшего симулятивное бытие, отодвинувшего от себя онтологию и антропологию, как в позитивном, так и негативном её проявлении» [27. С. 69].

Не теряет своей значимости трикстерный ген Чичикова в образах главных героев в современных произведениях Я. Верова¹ «Господин Чичиков» (2005) и А. Иванова «Блуда и МУДО» (2009). Герой Верова – это бессмертный дух дохристианского происхождения, близкий языческому черту, который в мифологических верованиях отождествлялся с трикстером. Герой Иванова – это версия «трикстера 2.0», порожденного современной ситуацией, но сохранившего верность комизму, лиминальности и приверженности трюкам [28. С. 98]. Оба героя в романах циничны, как и положено трикстеру, но истоки их цинизма различны. Чичиков Верова, побывавший за свою длинную жизнь в различных эпохах и наблюдавший падение человеческих нравов от века к веку, не церемонится в своих суждениях о далеко не идеальной человеческой природе. Истоки цинизма Моржова связаны с кризисом «рационалистического утопизма» [Там же]. Как отмечает С.А. Березовская, «...подобный цинизм, с одной стороны, продиктован разочарованием в идеях Просвещения, а с другой – является специфическим средством выживания в изменчивой, энигматической современности» [Там же. С. 103]: «...логика причинно-следственных связей не объясняла сполна, как же получается совсем не то, что было запланировано, если всё сделано по правилам?» [29. С. 177]. Но в обоих случаях цинизм героев подобен «самодостаточной игре, заслоняющей прагматику, конкретную выгоду» [30]. В этой циничной игре героев есть место и персонажному поведению [28. С. 110], которое является частью образа современного трикстера, имеющего склонность к театрализации [Там же. С. 103].

Основой «сценария» публичных действий обоих героев является гоголевская поэма. Герой романа Верова, Сергей Павлович Чичиков, скупающий мертвые души у «отцов города», жонглирует цитатами из гоголевской поэмы. Моржов в романе Иванова, по примеру Чичикова проводя аферу с сертификатами для Дома детского творчества, активно использует для называния своих действий собственный глагол «чичить». Ни у одного из авторов тема предпринимательства с вытекающим из неё сюжетом накопления капитала не представлена. Герои лишены жажды материального обогащения. У Верова герой, облаченный в плоть и соответствующую атрибутику нового русского, успешного предпринимателя 90-х гг., себя именует «ассенизатором» [31. С. 162]: он очищает мир от «мертвяков» и этим спасает души их владельцев, новых «хозяев жизни». Совершенное Моржовым избавление от закрытия Дома детского творчества, несмотря на преследуемую им цель заручиться этой победой для создания новой семейно-социальной общности «фамильяна», делает его своеобразным спасителем душ детей в условиях тотальной деградации современного общества.

Таким образом, в обоих романах образ трикстера представлен в амбивалентном ключе, с одной стороны, он циник, а с другой – спаситель. У обоих авторов сквозь сюжет предпринимательской аферы проступает сюжет, связанный со спасительной ролью героя, которая представляет трагедию на мотив мессии в образе гоголевского Чичикова, связанного с темой апостольских деяний. Актуализация Веровым этой грани чичиковского образа обуслови-

¹ Ярослав Веров – коллективный псевдоним донецких писателей-фантастов Глеба Владимировича Гусакова и Александра Вячеславовича Христова.

ваает присутствие в его произведении таких элементов чичиковского сюжета как образов-символов живой и мертвой души. В романе «Господин Чичиков», как и в гоголевской поэме, образ-символ мертвой души, с одной стороны, это разговор о штатной единице, с другой – это души самих «отцов города». В целом в сатирико-фантастическом романе Вєрова не столько проверяется возможность праведной жизни бизнесменов, сколько обнажается их готовность к еще большему погружению в бездуховные предпринимательские бездны. Особенно наглядно это можно наблюдать в сюжетном столкновении Чичикова и одного из «отцов города», Паляницы, где происходит инверсия ролей в архетипическом мотиве продажи души дьяволу. Паляница, открывший для себя возможность бессмертия благодаря вечному служению нечистой силе, предлагает свои особые услуги Чичикову. Завершающая эту сделку неисполнимость планов Паляницы иронично подчеркивает «мельчание» и «испорченность» товара «особого свойства» в современной русской действительности, непривлекательность его для темных сил. А сам образ Чичикова, с его пограничным статусом между темными и светлыми силами, определенный как «ассенизатор», – ироничное свидетельство незаинтересованности в душах «отцов города» ни дьявола, ни Бога.

Актуализация в романе образа дороги, сопряженного с кольцевой композицией, начало романа – въезд героя в «губернский города N» и конец – выезд, дает возможность не только представить панораму провинциальных криминальных нравов, но и выявить результаты последствий трикстерных деяний героя. Средство передвижения героя – «трехсотый мерседес» и сопровождающий его водитель Бычок, имя которого имеет криминально-жаргонный генезис, становятся, с одной стороны, маркерами социального мира, а с другой – знаками едкой иронии в отношении возможных форм нарушения спокойствия криминального мира. Сатиру на экзистенциальные переживания о пути национального развития через образы средств передвижения содержит финал романа, описывающий достижения Артема в построении «города добра». По сути, финальный пассаж – это гротескно-утопичное травестирование гоголевской идеи о граде божьем, которая получила особое звучание в «постпоэмных» размышлениях в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Фантастическая канва романа позволяет изобразить сюжет добровольного и осознанного выбора в пользу добра чиновников и предпринимателей – ироничный парафраз на заключительный пассаж гоголевской поэмы об исключительном пути национального развития России:

И кружится в эти минуты его голова, и кажется, что ничего невозможно нет. И посторонятся тогда соседние народы и страны. И удивятся невиданному размаху. И воцарится на Земле такой мир и покой, что, честно сказать, ничего большего и желать будет нечего. Но несется Земля, кружит в космическом мраке и холоде. И нет ей дела до человеческого счастья или горя. Куда-то она, окаянная карусель, нас вынесет? [30. С. 337–338].

Вполне очевидно, что в этом пассаже содержание образов-символов дороги и птицы-тройки идейно снижено и семантически трансформировано.

В романе Верова лирическое начало, содержащееся в гоголевском претексте, полностью замещено сатирическим.

В романе Иванова миссионерский сюжет представлен без актуализации мотива живой и мертвой души, так как он связан с иными формами проявления апостольского потенциала героя. Как уже было отмечено выше, в романе Иванова «Блуда и МУДО» спасителем герой становится «почти» случайно. В определенные моменты он даже подчеркивает свою непричастность к великой цели спасения мира: «А я и не мессия, чтобы мне верить» [29. С. 409]. В то же время он определяет себя «первым апостолом» Щёкина, героя, который является его двойником и озвучивает его мучительные размышления о несовершенстве окружающей действительности. Оксюморонное начало в образе Моржова, циничный спаситель, определяется его трикстерным свойством, которое можно обозначить, используя термины, взятые М. Липовецким из работ Хайда и Митчела. Моржова можно назвать не просто обманщиком или плутом, а «креативным идиотом» (используя выражение Л. Хайда) [30], объединяющим в себе свойства таких на первый взгляд далеких друг от друга персонажей, как «жестокий клоун» и «культурный герой», чья «подрывная деятельность» парадоксальным образом обладает и «культуростроительным» эффектом [Там же]. «Идиотизм» современного «трикстерства» у Моржова проявляется, прежде всего, в том, что внешне он ведет себя крайне неприязнательно, начиная от манеры одеваться (потертые джинсы, майка и выдавшие виды кроссовки) и заканчивая уходом от серьезных ответов с ничего не понимающим лицом якобы по причине врожденной глупости. При этом он обладает предельной степенью самостоятельности как в суждениях, так и поступках. На это вполне очевидно указывает средство его передвижения – велосипед, на котором он колесит по Ковязину, «проворачивая» свои чичиковские аферы. Внешне велосипедная форма передвижения – это символ неприязнательности героя, что опять же подчеркивает его клоунскую сущность в мире успешных людей. Но внутреннее содержание этой детали связано с предельной индивидуализацией Моржова, имеющего притязание на приобретение своей формулы равновесия в реальности, далекой от идеала. Его спасительная миссия для мира выражается в двух поступках, каждый из которых он совершает с разным пафосом. В операции спасения МУДО с максимальной полнотой проявляется его способность цинично обыгрывать социальную систему, внешне сохраняя верность её установкам и принципам существования. Вся спасительная клоунада героя связана с использованием сценария из гоголевского текста, начиная с собирания сертификатов методами Чичикова и заканчивая сценой проверки работы летнего лагеря, полной намеков на гоголевскую комедию «Ревизор» [32. С. 26]. Иного рода тактику поведения выбирает Моржов, когда пытается восстановить справедливость после гибели проститутки Аленушки. Победа внутри социальной системы, спасение МУДО, могла быть одержана при творческом исполнении роли комического двойника демиурга – трикстера. А деяние в нравственно-этической системе потребовало взять на себя ответственность через исполнение роли истинного культурного героя. В сюжете самосуда, имеющего своей целью проведение именно нравственной ревизии общества, герой «берет на себя миссию Бога» [33].

Таким образом, в рассмотренной нами паре произведений, безусловно разных по своей поэтике, обнажается востребованность чичиковского трикстерного гена. В случае с Веровым можно говорить об архетипической модели трикстерного поведения, уходящего корнями к дохристианскому черту. Но выбранный автором жанр фантастической сатиры подчеркивает беспомощность и безрезультатность деяний чичиковского трикстерства в современной российской действительности, живущей по законам постперестроечной эпохи. Более того, полностью дискредитирован национально-спасительный потенциал трикстерного героя через ироничное снижение содержания таких элементов чичиковского сюжета, как образы-символы мертвой и живой души и птицы-тройки. Роман Иванова, актуализировавший модерный образ трикстера, который во многом связан с поисками новых форм самоидентификации культурного героя, оказывается созвучен поиску «героя времени» и описанию форм его взаимодействия с социальными и нравственно-этическими контекстами реальности. Но поиск «героя времени» лишен национально-миссионерского пафоса. Поэтому у Иванова ключевые элементы чичиковского сюжета оказались не востребованы. Подобную изоляцию героя от комплекса идей национального возрождения во многом можно объяснить тем, что кризис духовности, именуемый в романе кризисом вербальности, осмысливается в глобальном аспекте.

Обозначенное в романе Иванова противопоставление трикстер – пророк получает новое осмысление в романе В. Шарова «Возвращение в Египет» (2013). Этот роман, являющийся откровенно «гоголевским», поднимает проблему истинного и ложного пророка, привлекая для этого как биографический, так и творческий гоголевский контекст. Положенная с основу романа мистифицированная семейная переписка потомков классика являет мучительный поток размышлений о трагических поворотах российской истории в XX в. вместе с допущением об ином ходе национальной истории, если бы была дописана поэма «Мертвые души». Отсюда сам факт остановки работы Гоголя над поэмой мыслится потомками как роковой и судьбоносный момент для национальной истории. В логике этих рассуждений гоголевских потомков выстраивается неожиданный образ классика с опорой на оппозицию пророк – трикстер. Потомками классика, во-первых, осуждается его пафос творчества, с наибольшей полнотой проявившийся в поэме. Недописанная поэма, обещавшая дать спасительный рецепт для национальной истории, определила появление пустого места в русской словесности, которое пытались занять произведения с ярко выраженными утопическими и идеологическими настроениями: «...далее, начиная со снов Веры Павловны, бесконечной чередой идут пророки, которые говорят, что знают дорогу в Светлое царство и какое оно на деле» [34. С. 229–230].

Во-вторых, потомки не принимают разрушительную силу таланта классика, присущий ему «духовный вывих», который определил его сосредоточенность на изображении вечного противостояния между добром и злом. В рассуждениях о юморе классика участники переписки подчеркивают его связь с лукавством писателя, который заслонил смехом истинное зло в художественном откровении:

Гоголь играл словами, святая святых, на алтаре мешал Божественное с тварным, оттого все и посыпалось <...> как с этим жить, никто не знал. Чтобы отделить чистое от нечистого, заново освятить жертвенник, ушло много лет и много крови [34. С. 96].

В-третьих, потомки, называя классика «пересмешником», подвергают критике его несостоявшуюся роль спасителя. Ведущие активную переписку герои говорят о чрезмерной театральности последнего жизненного этапа писателя, подчеркивая его недобросовестность исполнения выбранной роли, которая была подобна злой шутке над теми, кто возлагал на него надежды. Иногда даже в рассуждениях об этой особенности есть намеки на самозванство Гоголя:

Мы всегда пугались его совершенно театральной изменчивости <...> То он глумился над Россией, как раньше не смел никто; читая его, мы болели, затем начинали принимать, что в том, что он пишет, много правды, уже готовы засучить рукава, чтобы исправить неприглядное, постыдное, привести отечество, так сказать в божеский вид, – и тут он вдруг объявлял, что речь в «Ревизоре», что в «Мертвых душах» идет не о России, а о его собственной измученной, мятущейся душе <...> [34. С. 110].

В целом в переписке героев предстает крайне противоречивая творческая натура классика, который не смог в полной мере реализовать своё пророческое призвание. Но парадоксальным образом при всех обвинениях Гоголю бесспорным остается факт его исключительной роли в русском общественном сознании. В переписке потомков классика оформляется мысль о совершенно изощренной богооставленности Гоголя, а вслед за ним и России, которая хотела видеть в нем пророка.

Помимо осмысления жизненных фактов творческой биографии Гоголя потомки в свой рецептивный оборот берут также два ключевых произведения: комедию «Ревизор» и поэму «Мертвые души». Рецептивное поле комедии связано с воспоминаниями о семейных постановках, в которых была актуализирована тема ложного пророка в лице Хлестакова [35. С. 17–18]. Осмысление поэмы связано с попытками ее дописывания. Замысел поэмы у потомка Гоголя эволюционирует: сохраняя центральную сюжетную роль за Чичиковым, он изменяет идейно-концептуальный пафос произведения. От «колхозной» утопии на советском материале, на котором планировалось реализовать мечту Гоголя о процветающей аграрной стране, где «бал правит умный распорядительный помещик» [34. С. 87], Николай Гоголь Второй переходит к жизнеописанию духовно переродившегося Чичикова, озадаченного идеей построения Небесного Иерусалима. Писательская установка Шарова на прочтение русской истории через призму Священной истории обуславливает изображение Чичикова пророком, подобным Моисею. В новой версии жизненного пути Чичикова смыкается религиозное и общественное начало, что подчеркивается его общением с революционной элитой в лице Герцена, Бакунина, Чернышевского, Плеханова и др.

Подобная эволюция творческого замысла потомка является своеобразным эхом творческих поисков самого Гоголя, который во время работы над вторым и третьим томом поэмы был на перепутье между экономической доктриной и миссионерской проповедью. Все экономические амбиции, представленные в сохранившихся фрагментах продолжения поэмы, получили резко отрицательную оценку у литературоведа Гвидо Капри, который отметил, что «тотальный отказ от современности характеризует идеологию Гоголя, и регрессия к архаической утопии все теснее сочетается с неприятием развитых форм экономики и с апологией крепостного права» [36]. Повторенный в творческом поиске Николаем Гоголем Вторым вслед за великим классиком уход от экономической доктрины для развития аграрного потенциала страны в направлении религиозно-миссионерских и социальных идей обусловлен логикой развития национальной истории в XX в. Вполне очевидно, что для Шарова фигура Гоголя оказалась привлекательной как пример предтечи «пророков XX в.», поманивших идеей «социального рая». Выявленная потомками особенность Гоголя, чуткость к механизмам организации хаоса национальной жизни, требующей в определенные моменты пророка, который укрепит веру в национальную исключительность и укажет путь национального развития, стала ключевой для Шарова. Именно поэтому герой Шарова изображает Чичикова принимающим идею построения Небесного Иерусалима, который «будет возводить человек сам, своими руками, потом и кровью» [34. С. 312].

Заслуживает внимания также смысловое наполнение образа дороги, сопутствующего образу Чичикова, который вступил в секту бегунов, отрицавших любые формы оседлости и только в вечном движении находивших силы для борьбы со злыми кознями антихриста. Сюжет вечного движения, перетекающий в сюжет вечного возвращения через смысловую оппозицию «исход из Египта – возвращение в Египет», выражает комплекс историософских взглядов Шарова, в которых центральное место принадлежит идее цикличности русской истории.

Таким образом, в романе В. Шарова через оппозицию трикстер – пророк на гоголевском материале решаются историко-философские вопросы, ориентированные на осмысление травматического опыта русской истории XX в.

Подводя итог, можно сказать, что востребованным в современной прозе оказался пограничный характер образа Чичикова, существующего между функциями спасителя и искусителя, пророка и трикстера. Несмотря на соблазн, современная проза не сделала русского предпринимателя постперестроечной эпохи ключевым литературным героем. Современная проза, отказавшись от развития этой рецептивной модели образа Чичикова, так как неизбежно оказалась бы в ловушке того обстоятельства, что «наше общество и наше государство издревле устроено таким образом, что не захочешь, а украдешь» [11], сосредоточилась на осмыслении онтологических (О. Славникова), социальных и нравственно-этических (Я. Веров, А. Иванов), историософских (В. Шаров) слоев образа Чичикова. Очевидно, что современные авторы оказались весьма избирательны относительно элементов чичиковского сюжета. Ни одно из рассмотренных нами произведений совершенно не претендует на создание текста, подобного поэме «Мертвые души», в которой классику

«мечталось» явить путь национального возрождения. Образ Чичикова взят в «очищенном» от поэзных струй авторского миссионерского пафоса виде, за исключением романа В. Шарова. Но шаровская мистификация с «дописыванием» поэмы – это, скорее, развенчание мифов о состоятельности писателей и их возможных героев быть пророками. В целом во всех рассмотренных нами текстах, созданных на материале современной российской действительности, представлена попытка «вглядеться» в лицо «героев времени» и их окружение. Это попытка «разглядывания» «героев времени» через призму гоголевского текста сопряжена с размышлениями о судьбе универсалии «культурный герой» в ситуации релятивизации онтологических, гносеологических, этических и многих других установок.

Литература

1. Боярских О.В. Прецедентные феномены со сферой-источником «Литература» в дискурсе российских печатных СМИ (2004–2007 гг.): дис. ... канд. филол. наук. Нижний Тагил, 2008. 230 с.
2. Гончаров С.А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. СПб., 1997. 338 с.
3. Вайскопф М. Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2002. 689 с.
4. Гольденберг А.Х. Архетипы в поэтике Н.В. Гоголя. Волгоград: Перемена, 2007. 261 с.
5. Мережковский Д.С. В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет. М.: Сов. писатель, 1991. 489 с.
6. Набоков Вл. Лекции по русской литературе. СПб.: Азбука классика, 2010. С. 43–101.
7. Мелетинский М.Е. О литературных архетипах. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1994. 136 с.
8. Николаев Н.И., Швецова Т.В. Русская литература 30–40-х гг. XIX в.: «Ожидание героя» // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2014. №3 (29). С. 125–142.
9. Бондаренко В.А. Тип «делового человека» и проблема социальной вины в русской литературе 1840–1890-х гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2012. 19 с.
10. Парамонов Б.М. Возвращение Чичикова // Независимая газета. 1991. № 106. 10 сент.
11. Пьецух В. Русяки // Октябрь. 2007 № 11. URL: <http://magazines.russ.ru/october/2007/11/p4.html> (дата обращения: 17.04.2017).
12. Елистратов В. Чичиков и ипотечное кредитование: к метафизике финансового кризиса // Знамя. 2009. № 7. URL: <http://magazines.russ.ru/znamia/2009/7/el18.html> (дата обращения: 17.04.2017).
13. Латынина Ю. «Патент на благородство»: выдаст ли его литература капиталу?» // Новый мир. 1993. № 11. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1993/11/latin.html (дата обращения: 17.04.2017).
14. Славникова О. Проигравшее время // Дружба народов. 2000. № 1. URL: <http://magazines.russ.ru/druzhba/2000/1/slavnik-pr.html> (дата обращения: 17.04.2017).
15. Кенжеев Бахыт. Иван Безуглов. Мещанский роман // Знамя. 1993. № 1, 2. С. 62–109, С. 79–129.
16. Сапченко Л.А. Постмодернистская трансформация гоголевских мотивов в мещанском романе Бахыта Кенжеева «Иван Безуглов». URL: <http://domgogolya.ru/science/researches/1530/> (дата обращения: 17.04.2017).
17. Этимологический словарь Фасмера. URL: <https://vasmer.lexicography.online/> /пазуваев (дата обращения: 17.04.2017).
18. Уткин А. Самоучки // Новый мир. 1998. № 12. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1998/12/utkin.html (дата обращения: 17.04.2017).

19. Левада Ю.А. Социальные типы переходного периода: попытка характеристики // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 1997. № 2. С. 9–15.
20. Славникова О. Бессмертный. М.: Вагриус, 2004. 270 с.
21. Гоголь Н.В. Мертвые души // Полн. собр. соч.: в 14 т. М., 1951. Т. 6. 624 с.
22. Этимологический словарь Фасмера. URL: <https://vasmer.lexicography.online/> /ш/шиш (дата обращения: 17.04.2017).
23. Каишанова С.М. Трансгрессия как социально-философское понятие: дис. ... канд. филос. наук. СПб., 2016. 203 с.
24. Третьяков Е.О. Образ Чичикова как онтологическая загадка: феномен энигматического характера танатологии «Мертвых душ» Н.В. Гоголя // Имагология и компаративистика. 2016. № 1 (3). С. 127–142.
25. Хомук Н.В. Ольфакторные мотивы в художественной прозе Н.В. Гоголя // Н.В. Гоголь и славянский мир (русская и украинская рецепция). Томск, 2007. Вып. 1. С. 187–213.
26. Леви-Стросс К. Структура мифов // Структурная антропология. М., 1985. С. 183–208.
27. Полева Е.А. Человек иллюзий и настоящий человек в обществе потребления: к проблематике повести О.А. Славниковой «Бессмертный» // Филологический класс 2016. № 2 (44). С. 65–69.
28. Березовская С.С. Культурный герой как универсалия культуры: опыт типизации: дис. ... канд. филос. наук. Томск, 2016. 130 с.
29. Иванов В. Блуда и МУДО. СПб.: Азбука, 2011. 408 с.
30. Липовецкий М. Трикстер и закрытое общество // Новое лит. обозрение. 2009. № 100. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/li19.html> (дата обращения: 17.04.2017).
31. Веров Я. Господин Чичиков. М.: Снежный КоМ, 2012. 340 с.
32. Баль В.Ю. Гоголевская традиция и тема героя времени в романе А. Иванова «Блуда и МУДО» // Вестн. Том. гос. ун-та. 2015. № 391. С. 21–29.
33. Плеханова И.И. Переконструкция, или Игра как базовый принцип позитивной эпистемологии // Современность в зеркале рефлексии: язык – культура – образование: матер. Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Иркут. гос. ун-та и ф-та филологии и журналистики, Иркутск, 6–9 октября 2008 г. Иркутск, 2009. С. 389–401. URL: <http://ellib.library.isu.ru/showdoc.php?id=6697> (дата обращения: 17.04.2017).
34. Шаров В.А. Возвращение в Египет. М.: АСТ, 2013. 759 с.
35. Баль В.Ю. Гоголевская традиция в контексте ветхозаветного сюжета «исхода» в романе В. Шарова «Возвращение в Египет» // Вестн. Том. гос. ун-та. 2014. № 383. С. 13–21.
36. Канпи Г. Гоголь – экономист. Второй том «Мертвых душ» // Вопр. литературы. 2009. № 3. URL: <http://magazines.russ.ru/voplit/2009/3/ka14.html> (дата обращения: 17.04.2017).

THE IMAGE OF CHICHIKOV IN MODERN RUSSIAN PROSE

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 49. 147–167. DOI: 10.17223/19986645/49/10

Vera Yu. Bal, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: balverbal@gmail.com

Keywords: N.V. Gogol, *Dead Souls*, image of Chichikov, receptive aesthetics, trickster.

The article considers the reception of Chichikov's image in modern Russian prose of the end of the 20th century and the beginning of the 21st century.

The reception of Chichikov's image is considered in the complex of all the elements of the Chichikov plot: the topos of the road and the images-symbols of the "voznitsa", the "brichka", "ptitsa troyka", the caskets, the alive and dead soul.

Three groups of texts are taken for analysis. The first group is journalistic texts (B. Paramonov's "Vozvrashchenie Chichikova" [The Return of Chichikov] (1991), A. Latynina's "Patent na blagorodstvo": vydata li ego literatura kapitalu? [Patent for nobility: will literature give it to the capital?] (1993), V. Pyetsukh's "Russaki" [Russians] (2007), V. Elistratov's "Chichikov i ipotechnoe kredi-

tovanie: k metafizike finansovogo krizisa” [Chichikov and mortgage lending: on metaphysics of financial crisis] (2009)) which concentrate on the comprehension of the problem of demand of the Chichikov type in new Russian social and economic reality. In these texts, the reception of the image of Chichikov is connected with reflections about the coming of a new Chichikov reality in Russia, with its economy changing in the 1990s and with the arising new type of the “purchaser-swindler”.

The second group is the artistic texts of the first post-perestroika decade (B. Kenzheyev’s *Ivan Bezuglov, Meshchansky roman* [Ivan Bezuglov. A Philistine Novel] (1993) and A. Utkin’s *Samouchki* [A Self-Learners] (1998)) which are the first attempts to understand the “real” time and its hero. In the context of these works, the author makes an attempt to comprehend businessmen of the modern era based on the allusions of Gogol’s character.

The third group is the artistic texts of the first third of the 21st century, which are united, on the one hand, by the problem of the “hero of the time”, and by the significance of the text of Gogol’s poem in their semantic space, on the other hand (O. Slavnikova’s *Bessmertnyy* [The Immortal] (2001), Ya. Verov’s *Gospodin Chichikov* [Mr. Chichikov] (2012), A. Ivanov’s *Bluda and MUDO* (2011), V. Sharov’s *Return to Egypt* (2013)). These works are characterized by a general receptive model of Gogol’s character, which is related to the image of the trickster, its archetypal and modern characteristics. In the works of modern authors, the trickster gene in the image of Chichikov serves as the starting point for thinking about the heroes of the time through the opposition of a true and false prophet, a savior and tempter. Each of the modern authors actualizes their own levels of meanings in this opposition: ontological (O. Slavnikova), social and moral-ethical (Ya. Verov, A. Ivanov), historiosophical (V. Sharov).

In general, the examined texts, based on the material of contemporary Russian reality, present an attempt to “peer” into the face of the “heroes of the time” and their entourage. This circumstance is due to the fact that Gogol’s character is important as a starting point in reflections about the cultural hero, the situation of the relativization of ontological, epistemological, ethical and many other orientations, not the need for moral-utopian projects for the nation.

References

1. Boyarskikh, O.V. (2008) *Pretsedentnye fenomeny so sferoy-istochnikom “Literatura” v diskurse rossiyskikh pechatnykh SMI (2004–2007 gg.)* [Precedent phenomena with the source sphere “Literature” in the discourse of Russian print media (2004–2007)]. Philology Cand. Diss. Nizhny Tagil.
2. Goncharov, S.A. (1997) *Tvorchestvo Gogolya v religiozno-misticheskom kontekste* [Gogol’s works in a religious-mystical context]. St. Petersburg: RSPU.
3. Weisskopf, M. (2002) *Syuzhet Gogolya: Morfologiya. Ideologiya. Kontekst* [Gogol’s plot: Morphology. Ideology. Context]. Moscow: RSUH.
4. Gol’denberg, A.Kh. (2007) *Arkhetipy v poetike N. V. Gogolya* [Archetypes in the poetics of N.V. Gogol]. Volgograd: Peremena.
5. Merezkovskiy, D.S. (1991) *V tikhom omute; Stat’i i issledovaniya raznykh let* [In still waters; Articles and studies of different years]. Moscow: Sovetskiy pisatel’.
6. Nabokov, V. (2010) *Lektsii po russkoy literature* [Lectures on Russian Literature]. St. Petersburg: Azbuka klassika. pp. 43–101.
7. Meletinskiy, M.E. (1994) *O literaturnykh arkhetipakh* [About literary archetypes]. Moscow: RSUH.
8. Nikolaev, N.I. & Shvetsova, T.V. (2014) Russian literature of the 1830-1840s. “Awaiting a hero”. *Vestn. Tom. gos. un-ta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 3 (29). pp. 125–142. (In Russian).
9. Bondarenko, V.A. (2012) *Tip “delovogo cheloveka” i problema sotsial’noy viny v russkoy literature 1840-kh - 1890-kh gg.* [The type of “business man” and the problem of social guilt in Russian literature of the 1840s–1890s]. Abstract of Philology Cand. Diss. Voronezh.
10. Paramonov, B.M. (1991) *Vozvrashchenie Chichikova* [The Return of Chichikov]. *Nezavisimaya gazeta*. 106. 10 September.
11. P’etsukh, V. (2007) Russaki [Russians]. *Oktyabr’*. 11. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/october/2007/11/p4.html>. (Accessed: 17.04.2017).

12. Elistratov, V. (2009) Chichikov i ipotechnoe kreditovanie: k metafizike finansovogo krizisa Chichikov and mortgage lending: on metaphysics of financial crisis]. *Znamya*. 7. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/znamia/2009/7/el18.html>. (Accessed: 17.04.2017).
13. Latynina, Yu. (1993) "Patent na blagorodstvo": vydat li ego literatura kapitalu? [Patent for nobility: will literature give it to the capital?]. *Novyy mir*. 11. [Online] Available from: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1993/11/latin.html. (Accessed: 17.04.2017).
14. Slavnikova, O. (2000) Proigravshee vremya [The Lost Time]. *Druzhba narodov*. 1. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/druzhba/2000/1/slavnik-pr.html>. (Accessed: 17.04.2017).
15. Kenzheyev, B. (1993) Ivan Bezuglov. Meshchanskiy roman [Ivan Bezuglov. A Philistine Novel]. *Znamya*. 1, 2. pp. 62–109, pp. 79–129.
16. Sapchenko, L.A. (2006) Postmodernistskaya transformatsiya gogolevskikh motivov v meshchanskom romane Bakhyta Kenzheeva "Ivan Bezuglov" [Postmodern transformation of Gogol's motifs in Bakhyt Kenzheyev's philistine novel "Ivan Bezuglov"]. [Online] Available from: <http://domgogolya.ru/science/researches/1530/>. (Accessed: 17.04.2017).
17. Vasmer, M. (2006) *Etimologicheskii onlain-slovar' russkogo yazyka Fasmera* [Vasmer's etymological online dictionary of Russian]. [Online] Available from: <https://vasmer.lexicography.online>. (Accessed: 17.04.2017).
18. Utkin, A. (1998) Samouchki [Self-Learners]. *Novyy mir*. 12. [Online] Available from: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1998/12/utkin.html. (Accessed: 17.04.2017).
19. Levada, Yu.A. (1997) Sotsial'nye tipy perekhodnogo perioda: popytka kharakteristiki [Social types of the transition period: an attempt to characterize]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny*. 2. pp. 9–15.
20. Slavnikova, O. (2004) *Bessmertnyy* [The Immortal]. Moscow: Vagrius.
21. Gogol, N.V. (1951) Mertvye dushi [Dead Souls]. In: *Poln. sobr. soch.: v 14 t.* [Complete works: in 14 vols]. Vol. 6. Moscow.
22. Vasmer, M. (2006) *Etimologicheskii onlain-slovar' russkogo yazyka Fasmera* [Vasmer's etymological online dictionary of Russian]. [Online] Available from: <https://vasmer.lexicography.online/%D1%88/%D1%88%D0%B8%D1%88>. (Accessed: 17.04.2017).
23. Kashtanova, S.M. (2016) *Transgressiya kak sotsial'no-filosofskoe ponyatie* [Transgression as a socio-philosophical concept]. Philosophy Cand. Diss. St. Petersburg.
24. Tret'yakov, E.O. (2015) The image of Chichikov as an ontological mystery: the phenomenon of enigmatic character of the thanatology of Dead Souls by N.V. Gogol. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 1 (3). pp. 127–142. (In Russian). DOI: 10.17223/24099554/3/8
25. Khomuk, N.V. (2007) Ol'faktornye motivy v khudozhestvennoy proze N.V. Gogolya [Olfactory motifs in the artistic prose of N.V. Gogol]. In: Khomuk, N.V. (ed.) *N.V. Gogol' i slavyanskiy mir (russkaya i ukrainskaya retseptsiya)* [N.V. Gogol and the Slavic world (Russian and Ukrainian reception)]. Vol. 1. Tomsk: Tomsk State University.
26. Levi-Strauss, C. (1985) *Strukturnaya antropologiya* [Structural anthropology]. Translated from French by V.V. Ivanov. Moscow: Eksmo-Press. pp. 183–208.
27. Poleva, E.A. (2016) A person of illusion and a person of reality in the consumer society: about the problematics of the novella by O.A. Slavnikova "Immortal" [Bessmertniy]. *Filologicheskii klass*. 2 (44). pp. 65–69. (In Russian).
28. Berezovskaya, S.S. (2016) *Kul'turnyy geroy kak universal'nyy kul'tury: opyt tipizatsii* [The cultural hero as a culture universal: the experience of typification]. Philosophy Cand. Diss. Tomsk.
29. Ivanov, V. (2011) *Bluda i MUDO* [Bluda and MUDO]. St. Petersburg: Azbuka.
30. Lipovetskiy, M. (2009) Triksy i zakrytoe obshchestvo [Trickster and the closed society]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 100. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/li19.html>. (Accessed: 17.04.2017).
31. Verov, Ya. (2012) *Gospodin Chichikov* [Mr. Chichikov]. Moscow: Snezhnyy KoM.
32. Bal, V.Yu. (2015) Gogol tradition and the theme of the hero of time in A. Ivanov's novel *Bluda i Mudo*. *Vestn. Tom. gos. un-ta – Tomsk State University Journal*. 391. pp. 21–29. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/391/3
33. Plekhanova, I.I. (2009) [Reconstruction, or play as a basic principle of positive epistemology]. *Sovremennost' v zerkale refleksii: yazyk – kul'tura – obrazovanie* [Modernity in the reflection mirror: Language – Culture – Education]. Proceedings of the conference. Irkutsk. 6–9 October 2008. Irkutsk. pp. 389–401. [Online] Available from: <http://ellib.library.isu.ru/showdoc.php?id=6697>. (Accessed: 17.04.2017). (In Russian).

34. Sharov, V.A. (2013) *Vozvrashchenie v Egipet* [Return to Egypt]. Moscow: AST.
35. Bal, V.Yu. (2014) Gogol tradition in the context of the Old Testament story of the Exodus in the novel Return to Egypt by V. Sharov. *Vestn. Tom. gos. un-ta – Tomsk State University Journal*. 383. pp. 13–20. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/383/2
36. Capri, G. (2009) Gogol' – ekonomist. Vtoroy tom "Mertvykh dush" [Gogol the economist. The second volume of Dead Souls]. *Voprosy literatury*. 3 [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/voplit/2009/3/ka14.html>. (Accessed: 17.04.2017).

УДК 821.161.1

DOI: 10.17223/19986645/49/11

С.С. Жданов

ОБРАЗ ГЕРМАНИИ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРАВЕЛОГАХ РУБЕЖА XVIII–XIX вв.: ПРИРОДНОЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВА (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

Статья посвящена анализу образа Германии как варианта образа Чужого, представленного в русских травелогах конца XVIII – начала XIX в., а именно Д.И. Фонвизина, В.Н. Зиновьева, Н.М. Карамзина и Ф.П. Лубяновского. Автором демонстрируются стилистические, содержательные и идейные различия, касающиеся репрезентации образов немецкого пространства в несентименталистских и сентименталистских текстах. В частности, акцент делается на особенностях изображения природных и антропных локусов, которые в произведениях Н.М. Карамзина и Ф.П. Лубяновского приобретают идиллические черты.

Ключевые слова: травелог, образ Чужого, сентиментализм, идиллия, Германия, немцы, В.Н. Зиновьев, Д.И. Фонвизин, Н.М. Карамзин, Ф.П. Лубяновский.

Вопросы, касающиеся диалога культур, межкультурной коммуникации и национальной самоидентификации, представляют собой предмет оживленного обсуждения в современной гуманитаристике. При этом закономерно затрагивается имагологический аспект исследований: какое место занимают образы Чужого в родной культуре, какую роль они играют и как формируются. Кроме того, до сих пор не теряет своей актуальности проблема самоидентификации отечественной культуры в ее отношении к условному Западу. Здесь особый интерес представляют XVIII–XIX столетия, и в частности эпоха Просвещения, когда шло активное формирование представлений русских о Западе как Другом. Это связано, в том числе и с участвовавшими в то время поездками наших соотечественников в другие страны, о чем подробнее будет сказано далее. Именно «феномен русского путешествия за границу... необходимо включал в себя и потребность в самоидентификации» [1. С. 6].

В начале XVIII в. Петр I стал инициатором резкой интенсификации связей между Россией и Западной Европой. Этот курс, как бы сейчас сказали, вестернизации страны был в той или иной степени продолжен последующими монархами, породив множество его оценок (как положительных, так и отрицательных). Споры о последствиях петровских начинаний ведутся до сих пор. Несомненным, однако, является факт, что преобразования, происходившие в стране в XVIII в., вызвали количественные и качественные изменения в сфере межкультурных коммуникаций, став своеобразным культурным шоком для русского общества и по-новому актуализировав проблему понимания Чужого в культуре.

Поле смыслового напряжения между Своим и Чужим, или Другим, лежит в основе любой культуры. Таково свойство человеческого сознания, что для него «...совершенно естественно сопротивляться воздействию неведомого и чужого, а потому все культуры склонны существенным образом трансформи-

ровать другие культуры, воспринимая их не такими, какие они есть, но такими, какими они должны быть...» [2. С. 106]. Таким образом, восприятие чужой культуры традиционно сориентировано на культуру собственную, которая «выполняет роль центрального члена и основной ступени» [3]. Более того, как утверждает Ж. Делез, «...другой не есть ни объект в поле моего восприятия, ни субъект, меня воспринимающий, – это прежде всего структура поля восприятия, без которой поле это в целом не функционировало бы так, как оно это делает» [4]. Применительно к нашей теме это значит, что «авто-нарратив» культуры возникает путем сопоставления Своего с Другим, поскольку «...коллективные идентичности конституируются не только воображаемым материалом, из которого они состоят, но также и материалом, лежащим вне их, – материалом, с которым они имплицитно сравниваются. Коллективные идентичности имеют внешние составляющие: эти идентичности определяются целыми напластованиями "Других"» [5. С. 14]. В ходе данного процесса бинарным оппозициям приписываются «культурные значения, основанные на выделяемых сходствах и различиях, а также на представлениях о верховенстве и иерархии» [6. С. 517].

Чужое при этом может пониматься двояко. Во-первых, оно рассматривается в качестве некоего «интенционального сбоя», когда носитель культуры, воспринимающей как Свое, сталкивается с ситуацией «отказа обжитого мира быть "пригодным для..."» [7. С. 27]. С подобным «сбоем» имели дело люди, следовавшие за Петром с разной степенью добровольности и вынужденные приспосабливаться к новым требованиям, отказываясь от давних традиций. Русские контактировали со все большим количеством иностранцев в различных сферах общественной жизни, а также сами отправлялись за границу. Первоначально, согласно Г.А. Тиме, данные поездки носили преимущественно вынужденный характер и были отмечены коммуникационными разрывами, связанными с незнанием языка и неумением / нежеланием принять чужую культуру, однако данная ситуация начинает меняться «...в эпоху Просвещения, особенно при Екатерине Второй, когда на Запад, и особенно в Европу, устремились потоки молодых людей для обучения в университетах» [1. С. 4]. Со временем же «...высокая просветительская традиция путешествий... уже в XVIII веке осложняется разнообразными производными, бытовыми функциями: путешествовать на Запад начинают с лечебными целями, просто в видах приятного препровождения времени и т. д.» [8]. В целом путешествия русских людей за границу делились на две группы: «В первую входят путешествия частных лиц («Grand Tour», образовательные турне), а во вторую – поездки, совершаемые по инициативе государства (научные экспедиции, стажировки русских офицеров в армиях европейских государств, пенсионерство, поездки с дипломатическими и разведывательными целями)» [9. С. 134]. Также со временем у русских «туристов» начинает меняться восприятие Чужого: «...во второй половине восемнадцатого столетия у русских путешественников, благодаря ослаблению профессиональной и культурной связанности с Россией... и некоторому пониманию западных нравов, идей и языков, стали проявляться не только разнообразие интересов, но и способность к разным типам восприятия, начиная с острой аналитической критики, и вплоть до экстатического эстетизма» [10. С. 7].

Данная ситуация порождает потребность осмыслить феномен Чужого, ввести его в той или иной роли в культурное пространство Своего. Эти попытки осмысления Запада носителями русской культуры XVIII в. приводят нас ко второму определению Чужого как культурного образа, который «...пробивает привычную ткань бытия... но человек возвращается в истолкованное пространство, преодолевая собой истолкованием» [7. С. 27]. В результате Чужое в определенном смысле «растворяется» в Своем и предстает как вариант истолкования «на своем, непременно понятном для нас языке, независимо от того, насколько «свой» и «чужой» языки совместимы» [11. С. 12]. Соответственно, говоря в дальнейшем о Чужом, мы будем иметь дело именно с образом Чужого в русской культуре. Сходным образом рассуждает в рамках семиотического подхода Ю.М. Лотман, рассматривая взаимодействие «своей» и «чужой» культур на границах семиосферы. Среди прочего такие контакты порождают в культуре потребность в интериоризации Чужого путем «введения внешних культурных структур во внутренний мир данной культуры», трансформации чужих текстов и создания «общего языка» [12. С. 117]. Интериоризированный образ по своей сути является амбивалентным, поскольку от него требуется, с одной стороны, быть «переводимым на внутренний язык культуры» (не быть «чужим»), а с другой – быть «чужим», т.е. не быть «переводимым на внутренний язык культуры», что «...порождает коллизии большой сложности, а порой и отмеченные печатью трагизма» [Там же].

В частности, задачу интериоризации инокультурного материала взяла на себя русская словесность в виде различных травелогов. Их авторы, создавая всевозможные дневниковые, эпистолярные, а также беллетризованные тексты, способствовали и формированию образа Чужого в рамках отечественной культуры. Этот процесс с начала XVIII в. шел в России по нарастающей и к концу столетия породил, например, такое знаковое для русской литературы произведение, как «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина.

К основным направлениям этого сложившегося в XVIII в. русского травелога можно отнести Германию, Англию, Францию и Италию. Причем за каждой из стран была закреплена определенная репутация: «...в Германию путешествуют в первую очередь за «плодами учености»...; во Францию... для ознакомления с литературными новинками, с достижениями либеральной философско-политической мысли и т. д.; Англия вызывает особый интерес общественными институтами; Италия привлекает... художников» [8]. В рамках данной работы мы ограничимся рассмотрением образа Германии в русской словесности рубежа XVIII–XIX вв. Наш выбор обусловлен той значимостью, которую имели культурные контакты между немецкими землями и Российской империей в данный период, поэтому важной составляющей образа Чужого в русской культуре выступает немецкий элемент. Материалом исследования служат «Журнал путешествия по Германии, Италии, Франции и Англии (1784–1785)» В.Н. Зиновьева, письма Д.И. Фонвизина, адресованные его родным и П.И. Панину и рассказывающие о ряде путешествий автора

по Европе¹, а также «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина, созданные в промежутке с 1789 по 1801 г. [13. С. 241], и «Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии в 1800, 1801 и 1802 годах» Ф.П. Лубяновского. Попутно заметим, что наименование *Германия* здесь берется не в строгом историко-политическом смысле ввиду раздробленности немецких земель в рассматриваемый период. К анализу в основном привлекаются описания северо-немецких земель, в частности Саксонии и Пруссии. За рамки исследования выведены условно «швейцарское» и «австрийское» пространства (в том числе венский локус).

Здесь также следует оговорить элемент новизны исследования. Количество работ, посвященных отечественным травелогам и образам путешественников, все растет, что свидетельствует об актуальности темы и одновременно наличии не разработанного еще материала. Наряду с исследованиями упоминавшихся ранее С.А. Козлова (например, [14]), А. Шенле [10], можно назвать сборники статей «Беглые взгляды: Новое прочтение русских травелогов первой трети XX века» [15] и «Феноменология, история и антропология путешествия» [16] или коллективную монографию «Русский травелог XVIII–XX веков: маршруты, топосы, жанры и нарративы» [17]. Однако в данных работах образы Германии зачастую не составляют отдельного предмета исследования. С другой стороны, существуют работы, целиком посвященные немецкой теме в рамках русской литературы и культуры. Это, в частности, исследования О.Б. Лебедевой и А.С. Янушкевича [18], С.В. Оболенской [19], многочисленные публикации Г.А. Тиме (например, [20]). Но и в упомянутых работах отсутствует заявленный в рамках данной статьи сравнительно-сопоставительный анализ образа Германии в травелогах В.Н. Зиновьева, Д.И. Фонвизина, Н.М. Карамзина и Ф.П. Лубяновского. Кроме того, следует отметить, что творчество Ф.П. Лубяновского еще не вполне отражено в научных исследованиях. Так, хотя в работе С.В. Оболенской рассматривается его произведение, речь идет о более позднем травелоге – «Заметки за границей в 1840 и 1843 годах Ф.П. Лубяновского». Неслучаен, наконец, и выбор аспекта, в рамках которого сопоставляются сентименталистские и несентименталистские сочинения. Природоописание как прием психологической характеристики – это именно то завоевание сентиментализма, которое расширило антропологическое поле русской литературы, «вводя дополнительный аспект психологизации повествования и расширяя его антропологическое поле параллелизмом жизни души и жизни природы» [21. С. 380]. В этом плане своего рода Рубиконом выступает творчество Н.М. Карамзина, которому «...принадлежит заслуга органического введения пейзажа в художественную прозу», ставшего частью «художественной конструкции, реализующей общий замысел произведения» [22. С. 118]. Следовательно, разговор о природных образах Германии в русской литературе невозможен вне контекста «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина.

Анализируемые в работе источники различаются по объему, подробности и стилю изложения. Сообщения В.Н. Зиновьева и Д.И. Фонвизина о немец-

¹ Второе заграничное путешествие Д.И. Фонвизина датируется 1777–1778 гг., третье – 1784–1785 гг.

ком этапе их путешествий зачастую довольно лаконичны. Так, В.Н. Зиновьев, не вдаваясь в подробности, пишет, что в Берлине находятся «многие прекрасные дома» [23. С. 336]. Д.И. Фонвизин, посещая Лейпциг, замечает, что осмотрел «картинные кабинеты», в которых «много наилучших пьес славных мастеров» [24. С. 509], но при этом не называет даже имен этих мастеров¹. Напротив, в сочинениях Н.М. Карамзина и Ф.П. Лубяновского встречаются пространные экфрасисы, занимающие порой несколько страниц, или подчеркнута эмоциональные описания красот природы. В этом плане докарамзинский и посткарамзинский травелоги существенно отличаются друг от друга, и «Письма русского путешественника», как пишет О.Б. Лебедева, выступают здесь «своего рода поворотным пунктом истории русской повествовательной прозы» [25. С. 5]. Так, по мнению Н.Г. Морозовой, если Д.И. Фонвизин в письмах предпринимает «еще довольно слабую» попытку «вербально зафиксировать глубокое переживание прекрасного», то произведение Н.М. Карамзина представляет собой по-настоящему «первый опыт духовно-эстетического наслаждения изящным» [26. С. 163].

Соответственно, произведения Ф.П. Лубяновского и Н.М. Карамзина отличается установка на литературность, пусть и замаскированную под документальную эпистолярно-дневниковую форму. Текст Д.И. Фонвизина имеет конкретных адресатов², представляя собой частную переписку. Журнал В.Н. Зиновьева также имел формального адресата, графа С.Р. Воронцова, к которому автор обращается со страниц рукописи. Более того, он с самого начала вводит фактор случайности, ненамеренности своих записок, замечая, что вести журнал его подвигла встреча с неким французским генералом и по происхождению саксонцем Шенбергом: «...так как он в одном со мной трактире жил, то, быв у него, увидел писанную бумагу и узнал от него, что это журнал и что он только примечания достойные вещи тут вписывает... Сие мне весьма понравилось, и взяв с него пример, и сам сие делать вздумал. ...Через непредвиденный случай будем иметь я и ты большое удовольствие, когда мы увидимся и вместе сие читать будем» [23. С. 335]. В то же время «Письма русского путешественника» становятся, как пишет А.А. Куликова, «первым значимым произведением» эпохи сентиментализма, в рамках которой «...жанр литературного путешествия приобретает черты беллетристического стиля» [13. С. 241]. Н.М. Карамзин целенаправленно трансформирует свои дорожные впечатления и накопленные знания в литературный травелог, имеющий не конкретного адресата, а превращающийся, по выражению К. Штэдтке, «в предмет для чтения чувствительной публики» [27. С. 381]. В результате писа-

¹ Впрочем, Д.И. Фонвизин объясняет свое немногословие интересами адресатов, т.е. родных, которым, по его мнению, будет интереснее читать про саксонских горбунов: «В журнале, который я веду для себя собственно, делаю описание картин лейпцигских; но как из вас никто не охотник до живописи, то я эту часть здесь пропускаю...» [24. С. 510]. Такой отбор материала составляет резкий контраст с произведением Н.М. Карамзина.

² Ср. с мнением А. Шенле, акцентирующего момент непонимания авторами докарамзинских травелогов того, «...что аналитические наблюдения и эмоциональные впечатления могут быть интересны широкой читающей публике. Воронцов, Фонвизин, Дашкова и подобные им писали прежде всего для себя, или же имея в виду какого-то определенного читателя – родственника или покровителя» [10. С. 7].

телю удастся создать¹, согласно Ю.М. Лотману и Б.А. Успенскому, «устойчивый культурный образ «русского путешественника» за границей» [28. С. 531], который будет влиять как на последующих авторов (например, на того же Ф.П. Лубяновского), так и на читателей русской литературы в течение долгого времени.

Различаются авторы рассматриваемых текстов и высказываемым отношением к немецкому как Чужому. В.Н. Зиновьев, привыкший к роскоши российского двора, позволяет себе ироничные высказывания о простоте нравов во владениях немецких князей и даже пересказывает не вполне приличные анекдоты из жизни августейших особ. Впрочем, у автора журнала встречаются также пассажи объединяющего свойства. В частности, В.Н. Зиновьев показывает равенство русских и немцев, а также других европейских народов в их галломании: «Живут здесь так же, как и у нас, и как я себе воображаю, и везде. Франция, как флигельман, начинает. А мы, то есть европейские народы вообще, как рядовые, все слепо и с крайним подобострастием перенимаем» [23. С. 337].

Ф.П. Лубяновский старается сохранять объективность изложения, лишь иногда иронизируя в отношении немецких филистеров и гелертеров. Он по возможности воздерживается от национальных обобщений-стереотипов, в самом начале своих заметок акцентируя всеобщность человечества: «Везде одни люди и везде одни страсти. ...Если не совсем невозможно, то по крайней мере трудно определить общий нрав и точно обозначить оттенки, по которым отличается народ от народа, если еще они есть в самом деле. Различные ж обычаи составили бы только забавные картины»² [30. С. 6–7]; «Не займу я тебя долго описанием жителей Саксонской Столицы. Жители больших городов, кажется, согласились походить одни на других, под какими бы они законами ни были» [Там же. С. 16].

Иное дело Д.И. Фонвизин, который зачастую не стесняется в выражениях по поводу заграницы. Вот как он характеризует, например, прусскую и саксонскую почтовую службу: «...почтовые учреждения его прусского величества гроша не стоят. <...> В Саксонии... также довольно плохо» [24. С. 502]. Более того, Д.И. Фонвизин выступает как яркий приверженец русского в противовес иностранному, о котором, по его мнению, у русских людей сложилось преувеличенно положительное представление. Ряд пассажей в его письмах посвящен «разоблачению» этих, говоря современным языком, симулякров. Вот как, например, Д.И. Фонвизин высказывается о Франции: «Я думал сперва, что Франция, по рассказам, земной рай, но ошибся жестоко. Все люди, и славны бубны за горами!» [Там же. С. 423]. Автор писем еще резче, чем В.Н. Зиновьев, высказывается о галломании, т.е. о растворении Своего в Чужом, и подчеркивает пользу путешествий как встречу с этим Чужим в том, что она утверждает самостоятельность русских в общеевропейской семье народов: «...не могут мне импозировать наши Jean de France. <...> Научился

¹ Более того, как подчеркивает Ю.М. Лотман, Н.М. Карамзин создает «не только произведение, но и читателя», ту самую чувствительную публику, в качестве «культурно значимой категории» [29. С. 221].

² Здесь и далее орфография и пунктуация цитируемого текста издания 1805 г. по возможности приведена в соответствие с современными нормами русского литературного языка.

я быть снисходительнее к тем недостаткам, которые оскорбляли меня в моем отечестве. Я увидел, что во всякой земле худого гораздо больше, нежели доброго, что люди везде люди, что умные люди везде редки, что дураков везде изобильно и, словом, что наша нация не хуже ни которой...» [24. С. 449].

Впрочем, просветительский мотив всеобщности человеческого рода, как видим, встречается у всех авторов. Не чужд он и Н.М. Карамзину, который в своих «Письмах», по Ю.М. Лотману и Б.А. Успенскому, описывает мир, где Россия не противостоит Европе, но является ею, становясь «обыкновенной, понятной, своей, а не чужой» [28. С. 565]. Писатель, убежденный «в единстве пути развития человечества» [Там же], здесь выступает как представитель оптимистически настроенного Просвещения. Вспомним хотя бы чувствительную сцену братания в Королевском обществе как провозвестие эпохи мира и торжества разума вопреки сиюминутной вражде между государствами: «...был я в Королевском обществе. Г. Пар... ввел меня в это славное учное собрание. С нами пришел еще молодой Шведской Барон Сил... Входя в залу собрания, он взял меня за руку и сказал с улыбкою: "здесь мы друзья... храм Наук есть храм мира". Я засмеялся, и мы обнялись по-братски; а Г. Пар закричал: "браво! браво!"» [31. С. 346]. При этом позиция Н.Г. Карамзина как автора-посредника между культурными сферами предполагает элемент амбивалентности. С одной стороны, взгляды писателя следует отличать от высказываний его героя как «литературной позы», которая, в свою очередь, двойится в зависимости от аудитории: если «в России, перед русским читателем, Карамзин предстал в утрированной роли «европейца», то среди европейцев он «...играл подчеркнутую роль «русского», резко отзываясь о тех своих соплеменниках, которые за границей стремятся походить на иностранцев»¹ [28. С. 527]. Синтез этого мирового раздвоения осуществляется писателем через объединение миров на основании культурной общности. Новое зримое пространство, как пишет Д.Л. Чавчанидзе, приобретает для Н.М. Карамзина «значение пространства культурного» [32. С. 59], в котором устраняются межнациональные границы. При этом осваивание Чужого происходит не только за счет осматривания новых мест и различных культурных артефактов, но в том числе и через встречи с известными иностранцами как представителями единого духовного братства. В частности, «приобщение к культурному миру Европы» Н.М. Карамзин переживает в Германии, «в стране "бурных гениев"» [Там же. С. 60].

Еще одной чертой, объединяющей тексты четырех авторов конца XVIII в., являются (наряду с вольно или невольно всплывающей темой освоения Чужого) жанровые особенности рассматриваемых сочинений. Все они, сочетая в себе черты как записок о путешествии, так и эпистолярная, в той или иной степени «...выстраивают резко индивидуализированный образ действительности, пропущенный сквозь призму восприятия персонифицированного субъекта повествования, которое окрашивает в тона субъективной мысли или эмоции любой факт реальности, превращая его из самоцельного

¹ Ср. с характеристикой русского консула в Кенигсберге: «...хотя уже давно живет в Немецком городе, и весьма хорошо говорит по-Немецки, однако же ни мало не обгерманился, и сохранил в целости Руской характер» [31. С. 22].

объекта в факт отдельной частной жизни, подчиненный логике самораскрытия и самопознания души» [25. С. 6].

От этих соображений общего плана перейдем наконец к рассмотрению образа самой Германии в заявленных текстах. При этом для структурирования материала мы будем руководствоваться в первую очередь «географическим» членением описываемого пространства. Данный подход, с одной стороны, обусловлен раздробленностью Германии в рассматриваемый период, о чем уже говорилось выше, в результате чего отдельные города и княжества приобрели ряд уникальных черт в глазах путешественников. С другой стороны, мы опираемся на сложившуюся в рамках травелога устойчивую традицию, выделяющую ключевые точки описания немецких земель. Среди этих значимых локусов, входивших в своего рода германский мини-Grand Tour, можно выделить Дрезден, привлекавший русских путешественников, ценителей прекрасного, своей картинной галереей; Берлин как столицу Прусского королевства; Нюрнберг, город для «интересующихся творчеством А. Дюрера» [26. С. 163]; Лейпциг, знаменитый своим университетом.

Вообще, ни В.Н. Зиновьева, ни Д.И. Фонвизина (авторов несентименталистских текстов) природные локусы по большей части не интересуют. Их писательское внимание сосредоточено на урбанистических пейзажах. Поэтому мы не встретим в зиновьевском «Журнале» и фонвизинских письмах пространных описаний переездов с описаниями природных ландшафтов. Сообщая о переездах, Д.И. Фонвизин ограничивается упоминанием легкости или трудности дороги да жалобами на медлительность немецких «почталионов». Дорога для него – это бессюжетное, ничем не примечательное пространство. Она представляет собой испытание, которое необходимо перетерпеть с напряжением душевных и физических сил: «Из Кенигсберга... были мы в дороге до Лейпцига одиннадцать дней, то есть по скверной прусской почте, ехав почти всегда день и ночь...» [24. С. 501]; «...разозлился я на скотов почталионов и заплатил за свой гнев головною болью. ...Надобно быть ангелу, чтоб сносить терпеливо их скотскую грубость» [Там же. С. 502]. Если Д.И. Фонвизин и упоминает поле, то это бывшее поле битвы, напоминающее об ужасах войны: «...ехали мы чрез поле, на котором в 1760 году была страшная баталия между пруссаками и австрийцами. Тут погребено несколько тысяч людей и лошадей. Смотря на сие несчастное место, ощущали мы жалость и ужас» [Там же. С. 507]. В единственном эпизоде, где повествование касается сельского пейзажа не в отрицательном ключе, речь идет об утилитарном (гастрономическом) изобилии края, а не его эстетической ценности: «...прескучная медленность почталионов награждалась прекрасною погодою и изобилием плодов земных. Во всей западной Пруссии нашли мы множество абрикосов, груш и вишен» [Там же. С. 502]. Время в дорожном хронотопе отмечено ретардацией, бессобытийностью (и потому скукою); оно течет мучительно медленно. Образ скучной, бессобытийной дороги имеется и в тексте Н.М. Карамзина: «...поехали... в Потсдам. Ничего нет скучнее этой дороги: везде глубокой песок, и никаких занимательных предметов в глаза не попадается» [31. С. 41]; «Дорога от Готы была для меня очень скучна. Почти на каждой станции надлежало мне ночевать... или по крайней мере стоять по несколько часов. Дороги везде прескверныя, так что надобно ехать все ша-

гом, и даже самая улицы в маленьких городках и местечках так дурны, что с трудом проехать можно» [Там же. С. 82]. Тот же мотив медлительности мы встречаем у куда более сдержанного в выражении чувств В.Н. Зинovieва, который лишь замечает, что по дороге между Кенигсбергом и Берлином его «...терпению... весьма великий опыт был: неописательная медленность, как в езде, так и в отправке, в лошадях» [23. С. 336]. Еще один образ, связанный у Д.И. Фонвизина с немецкой провинцией, – грязные дороги, которые опять-таки чреваты ретардацией, помехами в пути, временными и денежными потерями: «Дороги часто находил немощеные, но везде платил дорого за мостовую; и... по вытащении меня из грязи, требовали с меня денег за мостовую...» [24. С. 455].

К этому стоит прибавить и образ медлительных почталионов, выступающий в фонвизинских письмах своего рода лейтмотивом путешествия по Пруссии и Саксонии: «Двадцать русских верст везет восемь часов, всеминутно останавливается, бросает карету и бежит по корчмам пить пиво, курить табак и заедать маслом. Из корчмы не вытащить его до тех пор, пока сам изволит выйти»; «На почтах его (прусского короля. – С.Ж.) скажут гораздо тише, нежели наши ходоки пешком ходят» [Там же. С. 502]; «Я отроду прусским и саксонским почталионам не кричал: тише! – потому что тише ехать невозможно...; разве стоять на одном месте» [Там же. С. 506]. Немецким противопоставляется доставляющий до места гораздо скорее русский «добрый извозчик» [Там же. С. 501] или даже пешеход. Образ медлительного прусского постиллиона имеется и у Н.М. Карамзина: «Путешественники говорят всегда с великим неудовольствием о грубости Пруссских постиллионов. <...> Нахальство сих последних было несносно. У всякой корчмы они останавливались пить пиво, и несчастные путешественники должны были терпеть, или выманивать их деньгами» [31. С. 29]; «Саксонские постиллионы... также жалеют своих лошадей, также любят пить в корчмах и также грубы» [Там же. С. 50].

Кроме того, в письмах Д.И. Фонвизина встречается мотив inferнальности немецкого пространства. При этом в текст вводится, с одной стороны, смеховая сниженная трактовка образа Чужого немца-черта, представленная в русской народной культуре. Это осуществляется путем передачи точки зрения кучера Калинина (крестьянина Л.А. Нарышкина): «По его мнению, русских создал Бог, а немцев черт. Он считает... что, раздавив немца, Бога прогневить нельзя» [24. С. 510]. С другой стороны, в варианте «высокой» культуры «адские» характеристики присутствуют в описаниях как дорог («Дороги адские...» [Там же. С. 508]), так и, в наибольшей степени, ночной переправы по мосту через Эльбу: «Предлинный и превысокий крытый мост... чрез который мы ехали при ночной темноте, так страшен, что годился б чрезмерно хорошо к принятию в масоны¹. Мы думали, что нас везут в жилище адских духов» [Там же]. С другой стороны, пройдя эту символическую инициацию, претерпев лишения и страдания, можно наконец попасть в «настоящую» Ев-

¹ Мотив «масонской» Германии встречается и у В.Н. Зинovieва, принятого в Берлине в ложу «с произведением в мастера» [23. С. 338], и «неявно, подспудно» [8] у близкого одно время к масонским кругам Н.М. Карамзина.

ропу как некий благой локус. Сравните с описанием Саксонии у Ф.П. Лубяновского: «Шлезия мне показалась обетованною землею после Польши...» [30. С. 10].

Притом следует учитывать, что в дальнейшем Д.И. Фонвизин разрушает и эту мифопоэтическую схему, показывая, что и «истинная» Европа вовсе не земля обетованная. «Настоящая» Европа начинается для автора писем только с посещения Лейпцига, а немецкие земли до этого представляют собой лишь чреватую опасностями и неприятностями границу между двумя мирами – Россией и Европой: «...проехав из Петербурга две тысячи верст, дотащились мы, можно сказать, только до ворот Европы. Лейпциг есть первый город, который заслуживает примечание» [Там же]. Впрочем, ожидание «истинной» Европы, т.е. совпадения реальности с идеализированными представлениями о ней в русском обществе, каждый раз откладывается и тем самым редуцируется. Тот же Лейпциг оказывается не вполне европейским. Встреча с Европой откладывается в очередной раз до Нюрнберга: «...от самого Лейпцига до здешнего города было нам очень тяжко. <...> ...От Петербурга до Ниренберга баланс со стороны нашего отечества перетягивает сильно. Здесь во всем генерально хуже нашего: люди, лошади, земля, изобилие в нужных припасах – словом, у нас все лучше, и мы больше люди, нежели немцы» [Там же]. Как видим, по большей части в своих письмах Д.И. Фонвизин выступает с позиций культурной центрации, где своеобразным центром системы координат выступают Петербург¹ и русские земли, с которыми постоянно сравнивается пространство Чужого. В каком-то смысле путешествие Д.И. Фонвизина напоминает секуляризованный вариант хождений за правдой в Святую землю, оборачивающийся десакрализацией европейских стран, которые в восприятии автора в чем-то хуже, в чем-то лучше родного отечества, но в целом являются такими же землями, как многие прочие. В этом плане путешествие героя Н.М. Карамзина больше напоминает паломничество по святым местам, что, Впрочем, не отменяет наличия иронического «завора» между героем как литературной позой и позицией самого автора. Этот зазор ощущается, например, в сцене, где чувствительный герой описывает свое разочарование от того, что «реальный» Франкфурт отличается от светлой солнечной картины, нарисованной в воображении путешественника: «...такой ли погоды ожидал я в здешнем кротком климате? <...> Там, где течет Маин и Рейн, думал я, там небо чисто, дни красны, и одни Зефиры струят воздух; там цветущая Природа ликует в ярком свете лучей солнечных. Но – приезжаю, и нахожу пасмурную осень середи лета» [31. С. 84].

Как видно уже из приведенного фрагмента, природные локусы играют значительно большую роль в сентименталистском дискурсе. Соответственно, в отличие от сочинений В.Н. Зиновьева и Д.И. Фонвизина, описания немецких земель у Ф.П. Лубяновского и Н.М. Карамзина (у последнего в особенности) изобилуют пространными пейзажными зарисовками. Природный и сельский ландшафты, перетекая друг в друга, образуют единое пространство ес-

¹ Петербург здесь не только государственный центр, но и средоточие «своего» пространства, воплощение русскости. Ср. с пассажем у Ф.П. Лубяновского: «...иностранец (т.е. в данном случае русский за границей. – С.Ж.) нигде не найдет другой Москвы и Петербурга» [30. С. 17].

тественности в духе Ж.-Ж. Руссо и непременно попадают в поле зрения созерцательно-чувствительного путешественника, становясь источниками положительных эмоций и сладких грез. Карамзинский герой открыто наслаждается этими сенсуалистскими зрелищами: «...даю волю глазам своим бродить по лугам и полям...»; «Места... очень приятны. То обширные поля с прекрасным хлебом, то зеленые луга, то маленькие рощицы и кусты, как будто бы в искусственной симметрии расположенные, представлялись глазам нашим. Маленькие деревеньки вдаль составляли также приятный вид» [31. С. 14]; «На обеих сторонах дороги расстилались богатые луга; воздух был свеж и чист; многочисленная стада блеянием и ревом своим праздновали захождение солнца» [Там же. С. 26]. По сути, с эстетической точки зрения на мир сентиментального путешественника нет разницы между произведением искусства и творением природы: «Прекрасный лужок, прекрасная рощица, прекрасная женщина... все прекрасное меня радует, где бы и в каком бы виде ни находил его. Образ милой Саксонки остался в моих мыслях, к украшению картинной галереи моего воображения» [Там же. С. 51]. Таким образом, описание любого эстетически оцениваемого пространства можно представить в произведении Н.М. Карамзина как некий «экфрасис» галереи выставленных картин.

Сходной «изобразительной» позиции придерживается рассказчик и в произведении Ф.П. Лубяновского, восклицая: «Жаль, что я не живописец: тогда снявши дрезденския местоположения, украсил бы я дом твой самыми приятными картинами» [30. С. 15], он наслаждается «местами картинными» [Там же. С. 23]. Вообще, описания Н.М. Карамзина и Ф.П. Лубяновского порой весьма сходны. В качестве примера приведем изображение окрестностей Дрездена у обоих авторов: «...вдруг открылся мне Дрезден, на большой долине, по которой течет кроткая Эльба. Зеленые холмы на одной стороне реки, и величественный город, и обширная плодоносная долина, составляют великолепный вид» [31. С. 15]; «С одной стороны цепь гор, идущих полукружием, покрытых мызами и виноградными садами, защищает город. У подошвы их Эльба течет по плодоносной долине и излучинами своими делает прелестныя виды» [30. С. 15]¹. Для усиления визуального контакта с природным локусом чувствительный герой готов даже покинуть карету и пройтись пешком, что немыслимо в зиновьевском и фонвизинском текстах: «...сказав... что буду дожидаться коляски на дороге, пошел я из Дрездена пешком <...> Скорыми шагами вышел я из города; но вышедши, почти на каждом шагу останавливался и любовался прекрасною Натурою и плодами трудолюбия» [31. С. 56]. В отличие от фонвизинских впечатлений, дорожная ретардация здесь оценивается положительно, поскольку она обусловлена эстетическими потребностями. Еще сильнее мотив прогулки без утилитарной цели усилен у Ф.П. Лубяновского: «...здешняя сторона мне столько нравится, что я часто один дня по два хожу пешком из деревни в деревню» [30. С. 28].

В целом можно сказать, что Саксония изображается Ф.П. Лубяновским

¹ Ср. с несентименталистским описанием той же местности у В.Н. Зиновьева, в котором нет столь экспрессивных эпитетов: «...положение его (Дрездена. – С.Ж.) чрезвычайно приятное; окружен со всех сторон горами; имеет реку чрезвычайно быструю и довольно широкую» [23. С. 338].

как воплощение упорядоченной просвещенной монархии¹, вобравшей в себя как достижения Разума, так и патриархально-идиллические черты с опорой на общее благо: «Образ правления нашего предоставляет нам самим право делать все те учреждения, кои по общему согласию могут быть признаны полезными в том или другом отношении» [30. С. 26]. Лейтмотивами описания этого государства являются порядок и умеренность². Так, государство регламентировано в социальном плане: «Между высоким и средним Дворянством, равно как и между всеми состояниями, проведена здесь черта, за которую никто не выходит: все в своем круге» [Там же. С. 17–18]. Упорядочена налоговая сфера: «Правительство... не упустило из виду ни одного предмета, который может умножить его доходы» [Там же. С. 40], причем из-за разумного устройства налоги не тяготят подданных: «...постоянный и твердый во всем порядок, уверенность в употреблении сих сборов на общее благо, непоколебимое трудолюбие, трезвость и умеренность делают их (налоги. – С.Ж.) для всякого сносными» [Там же]. Тот же порядок царит в управлении хозяйством: «...часть хозяйственная... в великом здесь устройстве» [Там же. С. 36]; «...земледелие здесь в цветущем состоянии» [Там же]. Это пространство торжествующей рациональности эпохи Разума: «Здесь без расчета никто ни полшага; все взвешенно и все измерено» [Там же. С. 16]. Все благие перемены происходят, по мнению путешественника, благодаря просвещенному курсу правления: «Правительство сделало... для крестьян то, что только может быть полезнее для сего состояния: распространило... между ними просвещение. Прямое для крестьянина просвещение то, когда он пробужден будет от той дремоты, в коей все для него равно...» [Там же. С. 38]; «Сие самое пробуждение основало тут фабрики и рукоделья, умножило и улучшило овцеводство, исправило рудоплавильные заводы, распространило все ветви хозяйства, оживило торговлю» [Там же. С. 39].

Саксония изображается Ф.П. Лубяновским территорией мира (непременная черта идиллии) как во внешнеполитическом («...война опустошала Германию и всю Италию, до спокойной Саксонии не доходили и звуки оружия» [Там же. С. 24]), так и внутривнутриполитическом плане. Сословия почитают своего монарха: «...крестьяне мне говорят, что они счастливы... и только боятся потерять своего государя» [Там же]; «...Дворянство пошло вслед за своим Государем» [Там же. С. 36]; крестьяне, как было сказано выше, не бунтуют против помещиков. Причем социальный мир в Саксонии обусловлен соображениями выгоды: «...взаимные соотношения всегда поддерживают связь между помещиками и земледельцами, оставляя последних в совершенной свободе и принося первым верные выгоды» [Там же. С. 30]. По расчету и любовь населения к правителю, поскольку оно имело достаточно примеров разрушительности неограниченного властолюбия и самоуправства как со стороны соседних государств (здесь Ф.П. Лубяновский последовательно сопоставляет немецкие земли с Польшей: «Шлезия мне показалась обетованною землею

¹ Ф.П. Лубяновский в своих описаниях гораздо больше внимания, по сравнению с прочими авторами, уделяет хозяйственной жизни германских государств.

² Даже такой природный фактор, как погода, маркируется умеренностью: «В Саксонии климат постояннее; зима там столь была умерена, что я в одном сюртуке всякий день ходил гулять загород» [30. С. 123].

после Польши, где прежнее самовластие оставило надолго глубокие следы неустройства» [Там же. С. 12]; «Можно быть пораженным очевидным преимуществом, отличающим всегда свободного земледельца, когда в Шлезию въедешь из польских Провинций» [Там же. С. 31]), так и в собственной истории («Виды властолюбия... давно сошли во гроб вместе с Королями...» [Там же. С. 24]). В сельской среде фактически нет преступлений и уважается право собственности: «Право собственности тут священно. <...> ни один сад не имеет ограды; без стражи все всегда цело...» [Там же. С. 32–33].

Саксонский курфюрст¹ изображается как просвещенный монарх, «добрый и миролюбивый Государь» [Там же. С. 25–26], соблюдающий права своих подданных: «Курфирст у нас блюстителъ только законов: они столь же для него священны, сколько и для последнего из его подданных...» [Там же. С. 26]. Кроме того, он набожен и в то же время интересуется науками, а не войнами или дворцовыми приемами: «...он столько единообразен в своей жизни, что сегодня я могу смело сказать, какое платье наденет он в сей самый день следующего года; в обществе он ни полслова ни с одним Офицером; с иностранными поверенными в делах говорит только один раз в году...» [Там же. С. 25]; «В жизни спокойной и тихой он любит науки; в них находит свое удовольствие и успокоение. Любимые науки его Металлургия и Ботаника» [Там же. С. 27]. Также подчеркиваются саксонские элементы самоуправления (ведь курфюрст, напомним, только законоблюстителъ): «Каждые шесть лет мы имеем для сего Ландтаги. Тут соображаются все предметы, относящиеся до Государства, учреждаются налоги, составляются законы» [Там же. С. 26]. Следует, однако, иметь в виду, что этот панегирик правителю Ф.П. Лубяновский вкладывает в уста верноподданного старика-саксонца, с которым не раз беседует герой. Так, личные впечатления В.Н. Зиновьева несколько отличаются от нарисованной выше картины. В частности, он замечает, что сборы «Landesstädte» «всякие шесть лет» «...сперва весьма много значили; но теперь здешний курфюрст делает, что изволит, и, не нося имени самодержавного, оным пользуется» [23. С. 339].

Впрочем, общая характеристика В.Н. Зиновьева, данная саксонскому правителю, положительна: «Курфирст – государь весьма хороший и Саксония весьма счастлива иметь такого... да сверх того и великая нужда состоит, чтобы он таков был: земля еще не могла так скоро оправиться после правления двух королей, которые роскошью и глупой пышностью все, кажется, употребили, чтобы землю свою истощить; к сему же его величество король прусский всевозможные способы употребил в Семилетнюю войну, чтобы сию несчастную землю изнурить» [Там же. С. 26]. Как и у Ф.П. Лубяновского, в зиновьевском изображении правления Августа III присутствуют мотивы счастливых подданных, расточительности прежних монархов и умеренности нынешнего², а также Семилетней войны, которая изменила жизнь княжества.

¹ Имеется в виду Фридрих Август III, курфюрст саксонский, получивший прозвище Справедливый.

² Ср. также весьма сходный по смыслу фрагмент у Ф.П. Лубяновского: «Если обратиться к прошедшему времени, когда... роскошь, снедая свои богатства... блеск свой поддерживала чужим имуществом; когда властолюбие навлекало... на Саксонию удар за ударом, то нельзя не отдать справед-

Сравните с пассажем из «Путешествия...» о «великом уроке умеренности» из-за бедствий, «навлеченных семилетнею войною» [30. С. 24]. Все усилия саксонцев направлены во внутреннее пространство, на «внутреннее благоустройство и обогащение Государства». Даже курфюрст, напомним, не только не ведет завоевательную политику, но с представителями иностранных держав (т.е. внешнего мира) встречается раз в году и даже не ходит пешком, ведя максимально закрытую, непубличную, «внутреннюю» жизнь.

Из-за этого привыкший к пышности русского (и прусского) двора В.Н. Зиновьев, отдав должное бережливости саксонцев, сетует на скуку здешней жизни как обратную сторону умеренности: «Дворцовые, как и все прочие собрания, довольно скучны, и с берлинскими сравнения не имеют...» [23. С. 340]. Путешественник видит лишь остатки бывшего «великолепия двора», «...который под царством двух королей так отличался» [Там же]. Ф.П. Лубяновский также замечает, что по сравнению с другими столицами в Дрездене «...роскошь не в вышней степени» [30. С. 16]. При этом немецкая добродетель умеренности противопоставляется русской расточительности: «Осторожная бережливость отъемлет ли у здешних жителей охоту к ея блеску и удовольствиям...» [Там же]; «С умеренными доходами они... довольны. Точность во всем и порядок доставляют им сию выгоду, а воздержание дает им еще способы сохранить и блеск наружный. Мы часто у себя видели, как... не весьма достаточные люди, желая сколь можно ближе подойти к другим, кому богатство дает более способов к роскоши, нечувствительно себя разоряют...» [Там же. С. 17]; «Не удавалось мне тут видеть ни весьма богатых, ни весьма бедных людей» [Там же. С. 32]; «Мало я по деревням находил нищих¹...» [Там же. С. 33]; «Умеренность заступила место роскоши; Дворянство пошло вслед за своим Государем» [Там же. С. 36].

В изображении Ф.П. Лубяновского жизнь саксонца (как простолюдина, так и дворянина) заполнена постоянным трудом по благоустройству пространства и приумножению благосостояния: «Простолюдины в непрерывных трудах и работе. <...> Тут столько все любят трудиться, что женщины даже в театр с работою ходят» [Там же. С. 18]; «Воспитание жителей, нрав их и самая нужда заставляет работать» [Там же. С. 33]; «...здешнее Дворянство... само занимается своими поместьями, само приводит в действие хозяйственные свои знания» [Там же. С. 37]. При этом в очередной раз показывается рациональность деятельности саксонцев в том числе и в труде: «Саксонец не механически прилежен, но в работах смысл его действует. Он изобретет средства сделать труд свой удобнеем и землю свою лучшею» [Там же. С. 32].

Немецкое (саксонское) сельское пространство в сочинении Ф.П. Лубяновского представляется, таким образом, очеловеченным, тем, что Ф. Ной-

ливости здешнего Правительства, которое... решилось отречься от прежних правил и взять... ход, совсем им противоположный» [30. С. 36].

¹ Д.И. Фонвизин, путешествовавший по Саксонии в 1784, т.е. чуть менее двадцати лет до Ф.П. Лубяновского, свидетельствует: «Нищих в Саксонии пропасть, и самые безотвязные. <...> Страждущих от всякия скорби, гнева и нужды в такой землишке, какова Саксония... больше, нежели во всей России» [24. С. 510]. Судя по этому, мирное правление курфюрста и в самом деле оказалось благотворным для его подданных.

манн определил как «das von menschlicher Hand Gestaltete», т.е. в буквальном переводе «оформленное человеческой рукой» [33. С. 120]: «Не встречал я тут ни одного ручья, на коем не было бы мельницы; но это бы меня отнюдь не занимало, если бы я не видел маленьких каналов, часто весьма искусно туда проведенных» [30. С. 32]. «Рукотворный», т.е. возникший в результате человеческого вмешательства, образ Саксонии подчеркивается автором также в сопоставлении с образом Богемии: «Богемия... едва ли еще может равняться с Саксониею. Здесь... природа все сама более делает» [Там же. С. 106]. Сравните также с описанием у Н.М. Карамзина: «...кажется, земля в Пруссии еще лучше обработана, нежели в Курляндии...» [31. С. 14].

Тенденция к миниатюризации при изображении Германии в большой степени выражена у Д.И. Фонвизина. В описании он прибегает к уменьшительным и уменьшительно-пренебрежительным суффиксам: землишка Саксония [24. С. 511], деревнишки Саркау и Rossitten [Там же. С. 505], театришка в Нюрнберге [Там же. С. 513]; местечки Либерозе и Ауме [Там же. С. 507, 511], городки Прусская Голландия, Фридланд, Лукау и Шлейц [Там же. С. 506, 507, 511] и даже «большой городок» Мариенвердер [Там же. С. 506]. В последнем случае примечательна амбивалентная пространственная характеристика, где первое слово «большой» противоречит по смыслу второму. Вероятно, это связано с двойственным восприятием автором немецкого пространства как чего-то мелкого по сравнению с российскими просторами. Карликовость лоскутной Германии акцентируется также в следующем описании: «Из Франкфурта ехал я по немецким княжествам: что ни шаг, то государство. Я видел Ганау, Майнц, Фульду, Саксен-Готу, Эйзенах и несколько княжеств мелких принцев» [Там же. С. 455]. Как видим, маленький размер пространств метонимически маркирует их правителей (мелкие принцы). Миниатюрность немецких локусов у карамзинского героя, в отличие от Д.И. Фонвизина, вызывает не насмешку, а умиление. На страницах «Писем...» мы встречаем «маленькия рощицы и кусты», «маленькия деревеньки» [31. С. 14], «маленькой городок» Гейлигенбейль [Там же. С. 24], «маленькое местечко» Фрауенберг [Там же. С. 25], «два маленькие городка» Кеслин и Керлин [Там же. С. 30], маленькие городки и местечки [Там же. С. 82], «маленькая беседка», «маленький лесок» [Там же. С. 85], «уединенный домик с садиком», «узенькую тропинку» [Там же. С. 86]. В этом внимании к миниатюрному проявляется любовь сентименталистов к изящному. У Ф.П. Лубяновского упоминаются «маленькие каналы», ведущие к мельницам [30. С. 32]. Наконец, у последнего автора небольшие размеры пространства становятся не только знаком идиллического локуса, но и условием его реализации. «Недостаток земли» побуждает немцев к ургии, к целенаправленным усилиям, чтобы «лучше возделать свое поле, осушить болото, превратить песок в плодоносную землю» [Там же. С. 37]. Именно в ограниченном пространстве Саксонии, по мысли Ф.П. Лубяновского, легче, чем в большом государстве, добиться гармонии и порядка: вспомним описание идиллического маленького Дессауского княжества, превращенного в своего рода усадьбу. Кроме того, «...в такой области, которой значащую часть можешь глазами измерить сверху высокой башни, легко удержать во всем порядок и постоянным надзором отвратить несчастные происшествия» [Там же. С. 43].

Итак, рассмотрение двух пар травелогов – В.Н. Зиновьева и Д.И. Фонвизина, Н.М. Карамзина и Ф.П. Лубяновского – позволяет судить о значительных изменениях, которые происходят в отечественной литературе путешествий на рубеже XVIII–XIX столетий. Эти изменения касаются как стиля описания и его объема, так и читательской публики, к которой обращены данные произведения. Фонвизинские письма и зиновьевский журнал имеют частных адресатов, Н.М. Карамзин же, превращая травелог в беллетризованную литературу, создает новую «чувствительную» относительно широкую читательскую аудиторию, к которой впоследствии обращается и Ф.П. Лубяновский. Кроме того, эволюция литературы путешествий проявляется в отборе объекта описания. Сосредоточенность просветительского травелога на социально-антропологическом аспекте приводит к тому, что описания Германии в сочинениях Д.И. Фонвизина и В.Н. Зиновьева затрагивают лишь городское «очеловеченное» пространство. В сентименталистском же травелоге основное внимание сосредоточено на тех объектах, которые вызывают определенную эмоцию – неважно, позитивную или негативную, и тем самым дают возможность углубиться в жизнь чувствительной души. Отсюда в повествованиях Н.М. Карамзина и Ф.П. Лубяновского обилие пейзажных зарисовок, придающих описанию Германии черты идиллии. Наконец, следует отметить и различное отношение к Чужому в рассматриваемых текстах. В докарамзинских сочинениях акцентирован сравнительный аспект оппозиции «свое – чужое», и конечной целью описания является не столько познание Чужого, сколько соотнесение его со Своим с целью самоидентификации, что представляет собой своего рода рационалистическое «картографирование» внешних культурно-географических объектов и явлений. В сентименталистских же текстах немецкое как Чужое становится предметом не только рационального понимания содержания этих внешних объектов и явлений, но также их эмоционального освоения через введение во внутреннюю, душевную жизнь русского путешественника.

Литература

1. Тиме Г.А. О феномене русского путешествия в Европу: Генезис и литературный жанр // Русская литература. 2007. № 3. С. 3–18.
2. Саид Э. Ориентализм: Западные концепции Востока / пер. с англ. А.В. Говорунова. СПб.: Русский мир, 2006. 638 с.
3. Вальденфельс Б. Своя культура и чужая культура. Парадокс науки о «Чужом» / пер. О. Кубановой // Логос. 1994. № 6. С. 77–94 [Электронный ресурс]. URL: <http://anthropology.rinet.ru/old/6/wald.htm>
4. Делез Ж. Мишель Турнье и мир без Другого / пер. с фр. В. Лапицкого. URL: <http://anthropology.ru/ru/text/delyoz-zh/mishel-turne-i-mir-bez-drugogo>
5. Ноймани И. Использование «Другого»: образы Востока в формировании европейских идентичностей / пер. с англ. В.Б. Литвинова, И.А. Пильщикова. М.: Нов. изд-во, 2004. 335 с.
6. Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения / пер. с англ. И. Федюкина. М.: Новое лит. обозрение, 2003. 549 с.
7. Довгополова О.А. Амбивалентность как характеристика образа чужого // Международный журнал исследований культуры. 2011. № 1(2): Свое и Чужое в культуре. С. 26–31.
8. Гуминский В.М. Путь на Запад: русская литература путешествий в послепетровскую эпоху // Новая книга России. 2016. № 3. С. 17–25. URL: <http://www.voskres.ru/literature/library/guminskiy1.htm>
9. Козлов С.А. Русские путешественники Нового времени: имперский взгляд или воспри-

ятие космополита? // *Beyond the Empire: Images of Russia in the Eurasian Cultural Context* / ed. M. Tetsuo. Sapporo, 2008. С. 133–147.

10. Шенле А. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий: 1790–1840 / пер. с англ. Д. Соловьева. СПб.: Академический проект, 2004. 272 с.

11. Шукуров Р.М. Введение, или Предварительные замечания о Чуждости в истории // Чужое: опыты преодоления: Очерки из истории культуры Средиземноморья. М., 1999. С. 9–30.

12. Лотман Ю.М. К построению теории взаимодействия культур (семиотический аспект) // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Таллин, 1992. Т. 1. С. 110–120.

13. Куликова А.А. Путевая проза в русской литературе конца XVIII начала XIX века // Учен. зап. Рос. гос. соц. ун-та. 2008. № 4 (60). С. 241–243.

14. Козлов С.А. Русский путешественник эпохи Просвещения: в 3 т. Т. 1. СПб.: Историческая иллюстрация, 2003. 496 с.

15. Беглые взгляды: Новое прочтение русских травелогов первой трети XX века: сб. ст. / пер. с нем. Г.А. Тиме. М.: Новое лит. обозрение, 2010. 400 с.

16. *Phänomenologie, Geschichte und Anthropologie des Reisens* / Hrsg. von L. Polubojarinova, M. Kobelt-Groch, O. Kulishkina. Kiel: Solivagus, 2015. 584 S.

17. Русский травелог XVIII–XX веков: маршруты, топосы, жанры и нарративы / под ред. Т.И. Печерской, Н.В. Константиновой. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2016. 462 с.

18. Lebedeva O.B., Januškevič A.S. Deutschland im Spiegel der russischen Schriftkultur des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2000. 276 S.

19. Оболенская С.В. Германия и немцы глазами русских (XIX в.). М.: ИВИ РАН, 2000. 210 с.

20. Тиме Г.А. Путешествие Москва – Берлин – Москва: Русский взгляд Другого (1919–1939) / отв. ред. Р.Ю. Данилевский. М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2011. 158 с.

21. Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII века: учеб. для вузов по филол. специальности. М.: Высш. шк., 2003. 415 с.

22. Топоров В.Н. «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения: К двухсотлетию со дня выхода в свет. М.: Изд. центр РГГУ, 1995. 512 с.

23. Зиновьев В.Н. Журнал путешествия по Германии, Италии, Франции и Англии (1784–1785) / подгот. текста и коммент. Н.Д. Блудилиной // Россия и Запад: горизонты взаимопознания. Вып. 3: Литературные источники последней трети XVIII века. М., 2008. С. 335–380.

24. Фонвизин Д.И. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 2 / сост., подгот. текстов, вступ. ст. и коммент. Г.П. Макогоненко. М.; Л.: Худож. лит., 1959. 742 с.

25. Лебедева О.Б. Alter ego как имагологический объект: нарративная структура «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина в свете национальной повествовательной традиции // Имагология и компаративистика. 2015. № 1. С. 5–28.

26. Морозова Н.Г. Экфразис в русском травелогике конца XVIII века // Альманах современной науки и образования. Тамбов, 2007. № 3 (3): в 3 ч. Ч. 1. С. 162–165.

27. Штэдтке К. Путешествия минеролога и геохимика В.И. Вернадского // Беглые взгляды: Новое прочтение русских травелогов первой трети XX века: сб. ст. / пер. с нем. Г.А. Тиме. М., 2010. С. 381–395.

28. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1987. С. 525–606.

29. Лотман Ю.М. Карамзин: Сотворение Карамзина: статьи и исследования 1957–1990. Заметки и рецензии. СПб.: Искусство-СПб, 1997. 832 с.

30. Лубяновский Ф.П. Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии в 1800, 1801 и 1802 годах: в 3 ч. Ч. 1. СПб., 1805. 230 с.

31. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / сост. Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко, Б.А. Успенский. Л.: Наука, 1987. 716 с.

32. Чавчанидзе Д.Л. Два «путешествия» на исходе XVIII века: (К.Ф. Мориц и Н.М. Карамзин) // Балтийский филологический курьер. 2013. № 9. С. 55–62.

33. Neumann F.W. Deutschland im russischen Schrifttum // Die Welt der Slaven. 1960. H. 2. S. 113–130.

THE IMAGE OF GERMANY IN RUSSIAN TRAVELOGUES AT THE TURN OF THE 19TH CENTURY: NATURAL AND ANTHROPIC SPACES (TO THE PROBLEM STATEMENT)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 49. 168–187. DOI: 10.17223/19986645/49/11

Sergey S. Zhdanov, Siberian State University of Geosystems and Technologies (Novosibirsk, Russian Federation), Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: vlasov_mikhailo@mail.ru

Keywords: travelogue, The Other's image, sentimentalism, idyll, Germany, Germans, V.N. Zinoviev, D.I. Fonvizin, N.M. Karamzin, F.P. Lubyanovskiy.

The article deals with images of Germany in Russian travelogues. In addition, the paper is integrated in a broad context of Alien and Other studies in the modern foreign and Russian humanitaristics including works by E. Said, I. Neumann, B. Waldenfels, G.A. Time etc.

The author points that there were intensified contacts between Russia and the West in particular Germany in the 18th century. At the same time the burgeoning elite of the new empire had to solve a problem of self-identity in the European space, which led to the transformation of Own's and the Other's images in its culture. This process was reflected in Russian literature as travelogues telling about their authors' journeys to the West and connecting personal subjective impressions and opinions with objective factographic information. In the late 18th century a transformation of travelogues made some of them belong to belles-lettres. The turning point of this is N.M. Karamzin's *Russian Traveller's Letters* integrating the practice of his native predecessors and traditions of European sentimentalism.

Differences between pre- and post-Karamzin's travelogues are represented in the article by analyzing the text of *Russian Traveller's Letters*, V.N. Zinoviev's *Journal of a Journey to Germany, Italy, France and England* (1784–1785), D.I. Fonvizin's letters and F.P. Lubyanovskiy's *Journey to Saxony, Austria and Italy in 1800, 1801 and 1802*. The texts vary in style and content. If V.N. Zinoviev's and D.I. Fonvizin's impressions are brief and laconic N.M. Karamzin's and F.P. Lubyanovskiy's works include large fragments with expatiative descriptions and a special evocative sentimentalistic language. In addition, *Russian Traveller's Letters* are more subjective and emotional than Lubyanovskiy's *Journey*.

The difference between these pairs of texts is also seen in relation to images of natural and urbanistic landscapes. Natural loci do not seem to exist for Zinoviev and Fonvizin, they describe primarily German cities. If countryside is mentioned, it entails the chronotope of the road marked with retardation, loss and adversity. Descriptions of natural landscapes are numerous in Karamzin's and Lubyanovskiy's works, they are emotionally coloured, which is characteristic of sentimentalism with its cult of Nature.

The sentimentalists often describe German loci as a kind of an idyll with such features as peace, happiness, quietness, diminutiveness, temperance, space harmony of natural and anthropic elements. Fonvizin's letters make a sharp contrast with the texts of the sentimentalists. Negative characteristics of German places including the motif of infernal space dominate in his correspondence. Writing from a perspective of cultural space centering, Fonvizin pronounces superiority of his Own, i.e. Russian, over the Other, in particular German. In a manner, he desacralises the image of West Europe whereas the journey of Karamzin's traveller reminds of a pilgrimage. However, the characters created by the sentimentalists can not be called unconditional westerners. The point of their journeys is not to demonstrate superiority of the Other over the Own, not to become German, but to discover this alien cultural space to make it their own.

References

1. Time, G.A. (2007) O fenomene russkogo putesthestviya v Evropu. Genezis i literaturnyy zhanr [On the phenomenon of Russian travel to Europe. Genesis and literary genre]. *Russkaya literatura*. 3. pp. 3–18.
2. Said, E. (2006) *Orientalizm: Zapadnye kontseptsii Vostoka* [Orientalism: Western concepts of the East]. Translated from English by A. V. Govorunov. St. Petersburg: Russkiy mir.
3. Waldenfels, B. (1994) *Svoya kul'tura i chuzhaya kul'tura. Paradoks nauki o "Chuzhom"* [Native culture and foreign culture. The paradox of the science of "The Other"]. Translated from English by O. Kubanova. *Logos*. 6. pp. 77–94. [Online] Available from: <http://anthropology.rinet.ru/old/6/wald.htm>.
4. Deleuze, J. (2007) *Mishel' Turn'e i mir bez Drugogo* [Michel Thormier and the world without

the Other]. Translated from French by V. Lapitskiy. [Online] Available from: <http://anthropology.ru/ru/text/delyoz-zh/mishel-turne-i-mir-bez-drugogo>.

5. Neumann, I. (2004) *Ispol'zovanie "Drugogo": obrazy Vostoka v formirovanii evropeyskikh identichnostey* [The use of the "Other": images of the East in the formation of European identities]. Translated from English by V.B. Litvinov & I.A. Pil'shchikov. Moscow: Novoe izdatel'stvo.

6. Wolf, L. (2003) *Izobretaya Vostochnuyu Evropu: karta tsivilizatsii v soznanii epokhi Prosveshcheniya* [Inventing Eastern Europe: a map of civilization in the consciousness of the Enlightenment]. Translated from English by I. Fedyukin. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

7. Dovgoplova, O.A. (2011) Ambivalence as characteristic of Alien Image. *Mezhdunarodnyy zhurnal issledovaniy kul'tury – International Journal of Cultural Research*. 1(2). pp. 26–31. (In Russian).

8. Guminskiy, V.M. (2016) Put' na Zapad: russkaya literatura puteshestviy v poslepetrovskuyu epokhu [Path to the West: Russian literature of travels in the post-Petrine era]. *Novaya kniga Rossii*. 3. pp. 17–25. [Online] Available from: <http://www.voskres.ru/literature/library/guminskiy1.htm>

9. Kozlov, S.A. (2008) Russkie puteshestvenniki Novogo vremeni: imperskiy vzglyad ili vospriyatie kosmopolita? [Russian travelers of modern times: the imperial view or the perception of the cosmopolitan?]. In: Tetsuo, M. (ed.) *Beyond the Empire: Images of Russia in the Eurasian Cultural Context*. Sapporo: SRC.

10. Shenle, A. (2004) *Podlinnost' i vymysel v avtorskom samosoznanii russkoy literatury puteshestviy 1790–1840* [Authenticity and fiction in the author's self-consciousness of Russian travel literature of the 1790s–1840s]. Translated from English by D. Solov'ev. St. Petersburg: Akademicheskii projekt.

11. Shukurov, R.M. (1999) Vvedenie, ili Predvaritel'nye zamechaniya o Chuzhdosti v istorii [Introduction, or Preliminary Remarks on Otherness in History]. In: Shukurov, R.M. (ed.) *Chuzhoe: opyty preodoleniya. Ocherki iz istorii kul'tury Sredizemnomor'ya* [The Other: Experiences of Overcoming. Essays from the history of culture of the Mediterranean]. Moscow: Aleteya.

12. Lotman, Yu.M. (1992) *Izbrannyye stat'i v 3 t.* [Selected articles in 3 vols]. Vol. 1. Tallin: Aleksandra. pp. 110–120.

13. Kulikova, A.A. (2008) Putevaya proza v russkoy literature kontsa XVIII – nachala XIX veka [Fiction prose in Russian literature at the end of the eighteenth and early nineteenth centuries]. *Uchenyye zapiski Rossiyskogo gosudarstvennogo sotsial'nogo universiteta*. 4 (60). pp. 241–243.

14. Kozlov, S.A. (2003) *Russkiy puteshestvennik epokhi Prosveshcheniya: v 3 t.* [The Russian traveler of the Enlightenment]. Vol. 1. St. Petersburg: Istoricheskaya illyustratsiya.

15. Kissel, V.S. (ed.) (2010) *Beglye vzglyady: Novoe prochenie russkikh travelogov pervoy trety XX veka: Sbornik statey* [Cursorial glances: A new reading of Russian travelogues of the first third of the twentieth century: Collection of articles]. Translated from German by G.A. Time. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

16. Polubojarinova, L. von, Kobelt-Groch, M. & Kulishkina, O. (eds) (2015) *Phänomenologie, Geschichte und Anthropologie des Reisens* [Phenomenology, History and Anthropology of Travel]. Kiel: Solivagus.

17. Pecherskaya, T.I. & Konstantinova, N.V. (eds) (2016) *Russkiy travelog XVIII–XX vekov: marshruty, toposy, zhanry i narrativy* [Russian travelogue of the 18th–20th centuries: routes, toposes, genres and narratives]. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University.

18. Lebedeva, O.B. & Januškevič, A.S. (2000) *Deutschland im Spiegel der russischen Schriftkultur des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts* [Germany in the mirror of Russian writing culture of the 19th and beginning of the 20th century]. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag.

19. Obolenskaya, S.V. (2000) *Germaniya i nemtsy glazami russkikh (XIX v.)* [Germany and the Germans through the eyes of Russians (nineteenth century)]. Moscow: IWH RAS.

20. Time, G.A. (2011) *Puteshestvie Moskva – Berlin – Moskva. Russkiy vzglyad Drugogo (1919–1939)* [The Moscow – Berlin – Moscow Travel. Russian view of the Other (1919–1939)]. Moscow: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN).

21. Lebedeva, O.B. (2003) *Istoriya russkoy literatury XVIII veka* [History of Russian literature of the 18th century]. Moscow: Vysshaya shkola.

22. Toporov, V.N. (1995) *"Bednaya Liza" Karamzina. Opyt prochniya: K dvukhsotletiyu so dnya vykhoda v svet* ["Poor Lisa" by Karamzin. Reading experience: To the bicentenary of the publication day]. Moscow: RSUH.

23. Zinov'ev, V.N. (2008) Zhurnal puteshestviya po Germanii, Italii, Frantsii i Anglii (1784–1785) [Travel diary for Germany, Italy, France and England (1784–1785)]. In: Bludilina, N.D. (ed.) *Rossiya i*

Zapad: gorizonty vzaimopoznaniya [Russia and the West: horizons of mutual knowledge]. Vol. 3. Moscow: IWL RAS.

24. Fonvizin, D.I. (1959) *Sobr. soch. v 2 t.* [Works in 2 vols]. Vol. 2. Moscow; Leningrad: Khudozhestvennaya literatura.

25. Lebedeva, O.B. (2015) Alter ego as an object of imagology: the narrative structure of Letters of a Russian Traveler by N.M. Karamzin in the light of the national narrative tradition. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 1. pp. 5–28. (In Russian). DOI: 10.17223/24099554/3/1

26. Morozova, N.G. (2007) Ekfrazis v russkom traveloge kontsa XVIII veka [Ekphrasis in the Russian travelogue of the end of the 18th century]. *Al'manakh sovremennoy nauki i obrazovaniya*. 3 (3):I. pp. 162–165.

27. Shtadtke, K. (2010) Puteshestviya minerologa i geokhimika V.I. Vernadskogo [Travel of mineralogist and geochemist V.I. Vernadskiy]. Kissel, V.S. (ed.) *Beglye vzglyady: Novoe prochtenie russkikh travelogov pervoy treti XX veka: Sbornik statey* [Cursory glances: A new reading of Russian travelogues of the first third of the twentieth century: Collection of articles]. Translated from German by G.A. Time. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

28. Lotman, Yu.M. & Uspenskiy, B.A. (1987) “Pis'ma russkogo puteshhestvennika” Karamzina i ikh mesto v razvitii russkoy kul'tury [Russian Traveller's Letters by Karamzin and their place in the development of Russian culture]. In: Karamzin, N.M. *Pis'ma russkogo puteshhestvennika* [Russian Traveller's Letters]. Leningrad: Nauka.

29. Lotman, Yu.M. (1997) *Karamzin. Sotvorenie Karamzina. Stat'i i issledovaniya 1957–1990. Zametki i retsenzii* [Karamzin. Formation of Karamzin. Articles and research, 1957–1990. Notes and reviews]. St. Petersburg: Iskustvo-SPB.

30. Lubyanskiy, F.P. (1805) *Puteshestvie po Saksonii, Avstrii i Italii v 1800, 1801 i 1802 godakh: v 3 ch.* [Travel in Saxony, Austria and Italy in 1800, 1801 and 1802: in 3 parts]. Pt. 1. St. Petersburg: Meditsinskaya tipografiya.

31. Karamzin, N.M. (1987) *Pis'ma russkogo puteshhestvennika* [Russian Traveller's Letters]. Leningrad: Nauka.

32. Chavchanidze, D.L. (2013) Dva “puteshestiya” na iskhode XVIII veka (K.F. Morits i N.M. Karamzin) [Two “journeys” at the end of the 18th century (K.F. Moritz and N.M. Karamzin)]. *Baltiyskiy filologicheskiy kur'er – Baltijskij filologičeskij kur'er*. 9. pp. 55–62.

33. Neumann, F.W. (1960) Deutschland im russischen Schrifttum [Germany in the Russian literature]. *Die Welt der Slaven*. 2. pp. 113–130.

УДК 82.02

DOI: 10.17223/19986645/49/12

О.Р. Темиршина

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ЛИРИКИ ЛЕТОВА И МАЯКОВСКОГО: ОТ МОДЕЛИ МИРА К ЯЗЫКУ

В статье рассматривается поэзия Е. Летова и В. Маяковского в типологическом аспекте. Доказывается, что ключевую роль в типологическом сравнении разных поэтических систем играют категории телесности и пространства, которые, метафорически кодируя отношения человека и мира, выполняют в тексте «конструктивную» функцию. Показано, что схема взаимодействия телесности и пространства в лирике Летова и Маяковского обуславливает важнейшие особенности поэтической семантики и грамматики их текстов.

Ключевые слова: Маяковский, Летов, типологический метод, тело, пространство, поэтическая семантика, поэтическая грамматика.

1. К вопросу о типологическом сравнении поэтических систем

Типологическое сходство творчества Летова и поэзии Маяковского уже было отмечено (см., например, работы [1, 2]), цель данной статьи – определить, какими мировоззренческими факторами оно обусловлено. Перед тем как приступить к непосредственному сравнению поэтик Летова и Маяковского, необходимо сделать несколько общих замечаний, касающихся принципов и приемов сравнительного анализа.

1.1. Разные поэтические системы могут сравниваться в рамках двух методологических подходов: типологического и контактного [3. С. 138]. Методологическое разграничение этих подходов не исключает возможности их взаимодействия. Так, концепция «встречного течения» (А.Н. Веселовский) делает эти подходы взаимодополняющими (принимаящая система структурно похожа на дающую, поэтому факт заимствования возможен) и позволяет считать типологические данные средством верификации «контактных» заимствований.

В чем заключается причина типологических схождений и на каком уровне текста следует их искать? Советская компаративистика объясняла жанрово-родовые конвергенции сходными общественно-историческими условиями. Не отрицая подобного общественно-исторического подхода, все же укажем на то, что его применение ограничено, так как для лирики XX в. (и тем более для современной поэзии) жанровые координаты нерелевантны.

В настоящее время для обоснования типологических схождений в гуманитарных исследованиях используют понятие модели мира и ряд сходных терминов. В рамках этих концепций возможность сравнения разных текстов обуславливается не общими культурно-историческими условиями, а сходными мировоззренческими установками. Однако точных процедур верификации этих представлений нет, поэтому содержание соответствующих терминов остается расплывчатым.

Для целей типологического анализа целесообразно разграничить понятия «модель мира» и «картина мира». В качестве единиц миромоделирующего уровня выступают мировоззренческие инварианты, которые обуславливают целостность и связность текста. Эти «общие схемы» (фреймы, гештальты и проч.), актуализируясь в разных конкретных культурно-философских «кодах», формируют различные картины мира [4. С. 11–20].

Типологический анализ должен быть связан с миромоделирующим уровнем, поскольку именно модель мира позволяет сквозь разнообразие ее культурно-философских воплощений увидеть один мировоззренческий и поэтический тип (в то время как анализ «картин мира» позволяет оценить индивидуальные «отклонения» поэтик от этого общего типа).

1.2. Разграничение модели мира и картины мира, несмотря на свою методологическую значимость, тем не менее не дает ответа на вопрос о конкретных механизмах связи между миромоделирующим уровнем и поэтическим текстом. Этот вопрос можно сформулировать иначе: как текстуально выражена модель мира?

Мы полагаем, что не все элементы текста одинаково сильно связаны с миромоделирующим уровнем. Возможно, что в тексте есть первичные «базальные» структуры, которые *непосредственно* актуализируют миромодель. Эти первичные структуры располагаются на границе между текстом и человеком: они, с одной стороны, психологически значимы *для человека* как биосоциального существа, а с другой стороны, *в тексте* они выполняют конструктивную системообразующую функцию. Наиболее фундаментальные структуры такого рода – это образы телесности и пространства. Именно эти «первообразы» и должны стать, по нашему мнению, материалом для типологического сопоставления. *Сходство семантик разных авторов на уровне этих ключевых структур с известной степенью вероятности предполагает, что их поэтические системы будут типологически сходными и в других аспектах.*

1.3. Конструктивную функцию пространства по отношению к тексту можно считать доказанной¹. Что касается телесности, то здесь материалов существенно меньше. Тем не менее психологические данные свидетельствуют о том, что тело в конституировании модели мира оказывается *более важным* феноменом, чем пространство.

Так, во-первых, тело служит своеобразной точкой отсчета, обуславливающей появление той или иной модели пространства, через которые интерпретируется целый ряд идей и концепций – от времени [6, 7] до способа выражения эмоций [8].

Во-вторых, телесное в онтогенезе мотивирует область смыслов. Культурно-историческая психология свидетельствуют о том, что язык в своем онтогенетическом развитии движется от конкретно-зримых, моторно-телесных схем к отвлеченно-абстрактным значениям. В процессе этого движения первичные нерасчлененные смысловые комплексы, связанные с контекстом и сенсомоторным опытом, уступают место системе дифференцированных понятий [9. С. 51–67].

¹ См. об этом фундаментальную статью В.Н. Топорова «Пространство и текст» [5].

Однако «чувственно-двигательное мышление», лежащее в онтогенетической базе языка, полностью не исчезает. Так, Дж. Лакофф и М. Джонсон обращают внимание на языковую метафорику, связанную с образом телесного, которая кодирует пространственные представления носителей английского языка [8. С. 49]. Этот факт, по мнению Лакоффа, объясняется основополагающим когнитивным принципом, согласно которому сложные абстрактные понятия понимаются через простые конкретные образы, главным из которых оказывается именно человеческое тело¹.

В соответствии с этим когнитивным принципом сложные, часто отвлеченные отношения между субъектом и миром (те самые трудноуловимые «мировоззренческие представления») в художественном тексте могут конкретно-образно кодироваться в отношениях тела и среды. Тело, таким образом, оказывается «удобным» объектом для реконструкции художественной миромодели, ибо оно в своих отношениях с внешним пространством репрезентирует ее внутреннюю структуру.

Телесно-пространственные комплексы, обнаруживаемые в лирике Летова и Маяковского, сводятся, как будет показано ниже, к единому семантическому инварианту, лежащему в основе авангардистской миромодели. Этот инвариант, по нашему предположению, проявляется как на поверхностном мотивно-образном уровне, так и на глубинном уровне поэтической грамматики. Отсюда проистекают и задачи данного исследования: описать миромоделирующие образы тела и пространства в лирике Летова и Маяковского и выявить роль телесно-пространственного кода в формировании поэтического языка.

2. Семантика образов тела и пространства в лирике Летова и Маяковского

В лирике Летова и Маяковского выделяется несколько типов пространства. Основным классифицирующим признаком этих типов становится наличие / отсутствие границы.

2.1. Так, пространство, *внешнее* по отношению к лирической точке зрения (назовем его Пространством-1), соотнесено с идеей границы, которая препятствует свободному передвижению героя. В поэзии Маяковского и Летова это ограничивающее пространство оценивается негативно и концептуализируется через образы земли-тюрьмы и бытового пространства, переполненного вещами.

В первом случае в роли ограничивающего пространства выступает земля, которая интерпретируется как тюрьма, «держашая», «не выпускающая» героя. У Маяковского образ земли-тюрьмы практически всегда соотнесен с мотивами границы и статики-неподвижности. Ср.: «Оковала земля окайная» [11. Т. 1. С. 250]²; «Гремит, / приковано к ногам, / ядро земного шара» [Там же]; «Сейчас придут, / придут за мной и узел рассекут земной» [Там же. С. 245]; «...сбивая / цепь границ / с всего земного лона» [Там же. Т. 5. С. 74].

¹ По мнению ученого, роль телесности настолько велика, что она фактически мотивирует самую абстрактную сферу знаний - математику (см. об этом: [10]).

² Далее при ссылках на это издание том и страницы указываются в тексте в скобках.

У Летова земное пространство также связывается с идеей плена и ограничения подвижности. Ср.: «Меня держит земля / Крошечные ножки / Завязли в тягучей / И руки по швам» [12. С. 36]; «Всех нас зверей землёй убаюкали / утрамбовали...» [Там же. С. 337]; «Почти задушен / Почти закопан» [Там же. С. 79].

Во втором случае ограничивающее пространство предстает как бытовое пространство, которое наделяется теми же предикативными функциями: в нем вязнут, оно опутывает и ограничивает. Ср. у Маяковского: «Опутали революцию обывательщины нити...» [11. Т. 2. С. 74]; «Быт / ползет / из щелей! / Затянет / тиной зыбей» [Там же. Т. 6. С. 43]. У Летова в стихотворении «Любо-дорого» возникает такая же корреляция мотивов быта и ограничения: «Дома всё в порядке / <...> Полная чаша / Полная мера / Твёрдая память / Ни дыхнуть...» [12. С. 313].

2.2. Лирический субъект и Пространство-1 противопоставлены. Эта контрастность носит онтологический характер, что подтверждается деформацией телесности лирического субъекта в этом ограниченном пространстве. В текстах Летова и Маяковского обнаруживаются два сценария деформации границы телесного: центростремительный и центробежный. Центробежная модель предполагает сдвиг границы по направлению от тела к миру, центростремительная модель связана со сдвигом границы от мира к телу.

Центростремительный вектор соотнесен с мотивом воздействия агрессивной внешней силы на телесность героя. Эта сила действует на тело деструктивным образом (разрушает, деформирует, ломает). У Маяковского этот мотив присутствует уже в ранней поэзии, где пространство города агрессивно вторгается во внутреннюю зону телесного: «...туман, с кровожадным лицом каннибала, / жевал невкусных людей» [11. Т. 1. С. 63]; «...а с запада падает красный снег / сочными клочьями человеческого мяса» [Там же. С. 64].

В лирике Летова телесность тоже выступает в своей страдающей ипостаси. Тело может быть расстреляно, изрублено, искусано («Я бесполезен») [12. С. 79]; разрезано, размазано («Приятного аппетита») [Там же. С. 204], раздавлено, раскрыто, повешено («Трамвай») [Там же. С. 231].

Центробежный вектор в текстах Летова и Маяковского, являясь своеобразным «ответом» на агрессивное воздействие внешних сил, связан с мотивом экстерииоризации телесного. Какова внутренняя логика такого движения? Ограничивающее пространство сдавливает, сжимает тело, а тело в ответ на это ограничение дает ответную реакцию: оно, пытаясь отменить эти границы, как бы «выворачивается» в мир. Это выворачивание реализуется в мотивно-образном комплексе овнешнения тела.

У Маяковского такое экстерииоризированное тело, преодолевающее свои собственные границы, появляется в «Облаке в штанах»: «Я сам / Глаза наслезненные бочками выкачу. / Дайте о ребра опереться. / Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!» [11. Т. 1. С. 189]; «А себя, как я, вывернуть не можете, / чтобы были одни сплошные губы!» [Там же. С. 175]; «И я чувствую – / “я” / для меня мало. / Кто-то из меня вырывается упрямо» [Там же. С. 189].

Частным случаем мотива экстерииоризации становится мотив изымания из груди сердца или души (которая тоже телесна). Ср.: «Это я / Сердце флагом

поднял...» [11. Т. 1. С. 249] или «Душу вытащу, / растопчу, / чтоб большая! – и / окровавленную дам, как знамя» [Там же. С. 185].

У Летова экстериоризация внутреннего тела также соотнесена с овнешвленным телом, вывернутым, как и у Маяковского, но эта вывернутость носит более физиологичный характер. Ср.: «Тело расцветает кишками на волю / ... Тело обучается кишками наружу / Тело распускается кишками восваясь / Во весь дух / Бежит кровь – всё равно куда – / Лишь бы прочь из плена...» [12. С. 296]; «...пока лёгкие не взорвались с красным звуком» [Там же. С. 63], «Эх, распирает изнутри весёлую гранату» [Там же. С. 291]; «И все это рухнет на нас так много / Что кишки и мозги разлетятся как мухи» [Там же. С. 59]; «Разразиться бы, лопнуть / Чтоб с кишками наружу / Живые слова» [Там же. С. 32].

Такая экстериоризированная телесность всегда является своеобразной «реакцией» на неразрешимое столкновение лирического героя и мира, что подтверждает исходную гипотезу о том, что первичный мировоззренческий конфликт «лирический герой vs мир» кодируется более простым образным противопоставлением «телесность vs ограничивающее пространство».

2.3. Этот конфликт можно нейтрализовать, сняв границу между телом и внеположной ему реальностью. Снятие этой оппозиции осуществляется двумя способами: через конструирование нового утопического пространства и создание новой телесности, соотнесенной с этим пространством.

2.3.1. Утопическое пространство (Пространство-2) является «безграничным», связывается с мотивом свободного перемещения героя и противопоставляется ограничивающему Пространству-1. На статус такого пространства претендует небо, которое понимается как «простор».

Небесный простор у Летова и Маяковского обладает сходной смысловой дистрибуцией. Так, во-первых, он соотносится с мотивом полета и понимается как пространство, где законы земного бытия (физические и социальные) не действуют. У Маяковского сцена полета в «Человеке» сопровождается сентенцией о нарушении базовых физических законов: «Физика, химия, астрономия – чушь. / Вот захотел / И по тучам / Лечу ж» [11. Т. 1. С. 253]. У Летова возникает та же смысловая «конфигурация»: простор связан с полетом, а полет интерпретируется как нарушение закона земного притяжения (с той лишь поправкой, что евангельская модель полета-вознесения, которая была у Маяковского, здесь заменяется полетом в космос). Ср.: «Что означает / Что происходит / Когда прекращают работать Законы / Земного тяготения / Когда исчезает земное притяжение / <...> Он сказал поехали / И махнул рукой» [12. С. 352].

Во-вторых, простор «отрицает» любые границы и моделирует некое однородное континуальное пространство. Именно поэтому выход в простор понимается как освобождение, выход из узкого Пространства-1, связанного с теснотой и болью. Мотив освобождения-полета появляется у Маяковского в «Человеке»: «Аптекарь, / дай / душу / без боли / в просторы вывести» [11. Т. 1. С. 257]. В постреволюционных стихотворениях Маяковского тема простора соотнесена с иными, социально значимыми мотивами, однако ключевая идея разрушения границ остается и в этих стихотворениях: «Будь аэрокры-

лым – / и станет / у вас / мир, / которому / короток глаз, / все стены / которого / в ветрах развоздушены» [11. Т. 5. С. 79].

Концепция мира, «которому короток глаз», ставит под сомнение реальную протяженность пространства, что обуславливает возможность беспрепятственного проникновения в любую точку этого пространственного континуума. Ср. практически идентичные формулировки этого мотива у Маяковского и Летова соответственно: «Всюду теперь! / Можно везде мне» [Там же. Т. 1. С. 253] и «...шагать себе прочь в никуда отовсюду» [12. С. 416].

Разрушение границ в Пространстве-2 закономерно приводит к тому, что пространственная оппозиция «близко – далеко» теряет смысл. Так, в «Пятом Интернационале» главный герой, претерпевая ряд телесных трансформаций, попадает в космические «просторы» (используется именно это слово: «простор / одуряющ и прям» [11. Т. 4. С. 112]) и видит все, что обычно находится за пределами видимости: «Ехать в духоте, <...> / чтоб потом на Париж паршивый пялиться?! / Да я его и из Пушкина вижу, / как свои / пять пальцев» [Там же. С. 109].

У Летова в тексте «Простор открыт» обнаруживаем ту же семантическую связку: снятие оппозиции «близко – далеко», как и у Маяковского, связывается с идеей безграничного простора и пространства, лишённого протяженности: «До луны / Рукою подать / До Китая пешком полшага / <...> Простор открыт / Ничего святого» [12. С. 320].

2.3.2. Если свободное движение тела в пространстве сопровождается творение нового утопического пространства, то движение самой границы тела соотносится с конструированием новой «утопической» телесности с нестабильной границей. Лирика Маяковского и Летова дает два образа такой телесности: а) тело текущее; б) тело, спроецированное на внешний мир и включающее в себя его части.

Тело текущее с нестабильной границей является репрезентантом идеального утопического пространства-простора, соответственно его структура изоморфна этому однородному пространственному континууму. Так, во-первых, у него, как и у простора, нет статичной границы; во-вторых, телесность этого типа связана с новым состоянием мира, поэтому она, знаменуя переход к этому состоянию, осмысливается в лиминальном ключе. У Маяковского такая телесность соотнесена с утопической революционной эсхатологией [13], а у Летова – со смертью.

У Маяковского текущее тело появляется в стихотворениях, посвященных революции и гражданской войне. Так, в стихотворении «Революция. Поэтохроника» возникает образ чудовищного тысячерукого Марата, который соотнесен с разливом масс, с потоком: «Граждане! / Это первый день рабочего потопа» [11. Т. 1. С. 136–137].

Семантическая связка *телесность с нарушенными индивидуальными границами – текучесть* устойчива у Маяковского. Это чудовищное тело часто предстает в виде лавы, которая течет экспансивно захватывая пространства: «В одну благодарность сливаем слова / тебе, / красноезвездная лава» [Там же. Т. 2. С. 72]; «Лава / Буденных / пойдет / на рысях» [Там же. Т. 9. С. 35–36]; «Мы идем. / Рядов разливу нет истока. / Волгам красных армий нету устья» [Там же. Т. 2. С. 43].

Обращает на себя внимание специфика передвижения этого текущего тела. Оно никогда не бывает статичным, но всегда движется, его появление сопровождается формулировками типа «мы идем», «мы плывем», «летим», «молнымся», его граница все время экстенсивно расширяется, именно поэтому такое текущее тело генетически связано с «просторным» пространством. Эта генетическая связь эксплицируется в поэме «150 000 000», где такая лавинообразная телесность излучается «в несметных просторах» [11. Т. 2. С. 128].

В лирике Летова такие текущие тела получают совершенно иную семантическую мотивировку, связываясь с мотивом смерти, понимаемой, как и революция Маяковского, в инициальном ключе: «А дедушка мертвый, былинный, лукавый / Лежит коромыслом, течет восваясь...» [12. С. 128]; «Нарядная Офелия текла через край», «И гневные прадеды славно сочились» [Там же. С. 329], «Торопливо постигали положение вещей / Созерцая похождения Текущего Повсюду» [Там же. С. 500].

Другой вариант такой смещенной телесности – это тело, спроецированное на мир, которое в предельном случае может включать в себя его части. Такая телесность отграничена от текущего тела по двум параметрам. Во-первых, здесь нет движения границы тела, присутствует лишь статичное наложение мира и тела. Во-вторых, образ тела, спроецированного на мир, связан не с эсхатологическими ожиданиями, а с уже возникшей новой реальностью.

Так, у Маяковского в поэме «Война и мир» в финале появляется образ тела, из которого возникает внешнее пространство. «Вот, / хотите, / из правого глаза / выну / целую цветущую рощу?!» [11. Т. 1. С. 234].

Соположение индивидуального тела и мира обнаруживается и в стихотворении «Владимир Ильич», где изображается мифо-утопическая картина творения нового мира, связанная с образом всечеловека, который буквально через свою телесность структурирует космос: «Металось / во все стороны / мира безголовое тело. / <...> Когда над миром вырос / Ленин / Огромной головой. / И земли / сели на оси» [Там же. Т. 2. С. 32].

Проекцию телесного на внешнее с включением внутрь находим и в лирике Летова, где обнаруживается большое количество примеров такого слияния: «А снег действительно валится / Прямо на раскаленные бронхи / А внутри меня персики персики...» [12. С. 132]; «Ветер в горле у меня / Заблудился раз и навсегда» [Там же. С. 297]; «Воробьиная... отчаянная стая голосит во мне» [Там же. С. 298]; «И луна во мне высоко...» [Там же. С. 230]; «Мозг полон был листьев» [Там же. С. 110]; «Слушай как сквозь кожу прорастает рожь / слушай как по горлу пробегает мышь / <...> слушай как спешит по гулким венам вдаль твоя / сладкая радуга...» [Там же. С. 308].

2.4. Система взаимодействия тела и внешнего пространства не только метафорически кодирует взаимодействие героя и мира, но обуславливает и саму концепцию личности. Так у Летова и Маяковского появляется несамостоятельная, «прерывистая» личность. У Маяковского этот тип личности связывается с отрицанием ее единичности-единственности (ср. «Единица – вздор, / единица – ноль...» [11. Т. 6. С. 266]); у Летова же образ такой личности коррелирует с мотивом отрицания ее психологической целостности

(«Я не настолько нищий, / чтобы быть всегда лишь самым собой / И меня непременно повсюду / несметное множество» [12. С. 494]).

Такая концепция личности фундируется проницаемой границей телесного, именно поэтому в текстах Маяковского и Летова «прерывистая» личность контекстуально соотносится с идеей многодушия, которая, во-первых, предполагает нахождение внутри героя разного рода чужеродных сущностей, а во-вторых, связывается с идеей проникновения в зону телесного чего-либо / кого-либо, внеположного субъекту.

Первый мотивный вариант многодушия – *нечто (или некто) находится внутри героя или вырывается из героя наружу* – появляется в поэме Маяковского «Про это», где главный герой оказывается медведем, «проскребающим» сквозь человека: «Сквозь первое горе / бессмысленный, / ярый, мозг поборов / проскребаётся зверь» [11. Т. 4. С. 146].

У Летова внутри такой личности также может быть животное («Сырая лошаdёнка вздымается внутри меня» [12. С. 262]; «Воробьиная... отчаянная стая голосит во мне» [Там же. С. 298]), однако чаще там находится некая неизвестная сущность, обозначаемая неопределёнными местоимениями («И кто-то тихонько заплачет внутри» [Там же. С. 181]; «Кто-то внутри умирает хохоча» [Там же. С. 279], «Что-то белое слепое поселилось в груди» [Там же. С. 301]; «Кто-то сбежал из меня матерясь» [Там же. С. 501]).

Второй вариант мотива многодушия связан с противоположным движением: если в первом случае из тела нечто выходило, то здесь *нечто в зону телесного может входить*, что приводит к появлению мотивов, близких по своей семантике к мотиву одержимости. Ср. в «Мистерии-Буфф»: «В ваши мускулы / Я / себя одеть / пришел. / Готовьте тела-колонны» [11. Т. 2. С. 211]; В текстах Летова, особенно поздних, мотив вхождения в зону телесного, связанный с семантикой одержимости разными силами, встречается довольно часто. Ср: «Он пытается пролезть / Сквозь дыру в моей голове...» [12. С. 211], «Лишь через мой веселый труп / Солнце / Звенит сияет так как оно есть... / А труп гуляет по земле» [Там же. С. 525]; «Бог говорит со мной посредством меня» [Там же. С. 523].

2.5. Итак, общим знаменателем лирики Летова и Маяковского являются концепции тела и пространства, которые в своей инвариантной основе оказываются удивительно сходными. При этом сходство наблюдается не просто на уровне отдельных семантических единиц (образов и мотивов), но на уровне целостных структур, ими образуемых. *Мы полагаем, что общей базой этих телесно-пространственных «геишта́льтов» является уничтожение границы между телом и миром.*

Семантическое равенство мира и человеческой телесности реанимирует в лирике Маяковского и Летова мифологический архетип «всечеловека», задающий сценарий построения мирового пространства по модели тела¹. Этот общий «фрейм» обуславливает и частные параллели между соответствующими пространственно-телесными образами в мифе и в лирике обоих поэтов. Так, в мифе такая онтологическая телесность связывается с семантическим комплексом жертвоприношения, разъятости и агрегатности [5. С. 318–372],

¹ Применительно к Маяковскому этот факт уже отмечался, см.: [14; 15. С. 149–178].

который у Летова и Маяковского проявляется в образе экстериоризированного, расчленённого тела. Примечательно, что во многих случаях мотив жертвы в их лирике выходит на поверхность и реализуется в закреплённых культурой образах (ср., например, образы Христа, убиваемых животных, которые одинаково значимы как для Летова, так и для Маяковского).

Универсальность архетипа, задающего прямое соотношение тела и мира, видимо, обуславливается тем, что *тело в онтогенезе моделирует представление о пространстве*. И возможно, что архетипический образ «всечеловека» является образом регрессивным, маркирующим возврат к ранним онтогенетическим стадиям развития, когда человек и мир представляли собой единое целое.

В этом аспекте исключительный интерес представляет концепция Ж. Лакана, связывающая становление «Я» с формированием целостного образа тела, который в данном случае является своеобразным материальным субстратом самоидентичности. Эту раннюю стадию становления идентичности Лакан называет «зеркальной». И если «зеркальная» стадия развития ребенка соотносится с формированием завершённого гештальта тела и отделённого от реальности субъекта, то дозеркальная стадия, напротив, связывается с мотивом дезинтеграции тела и смешением субъекта и объекта [16. С. 508–517].

Возможно, что рефлексы дозеркальной стадии становления «эго» обнаруживаются в поэзии Летова и Маяковского (где идентичность субъекта, маркированная разорванной телесностью, становится проблемной), а также в мифе (где тело «всечеловека» представляется «собранным» из фрагментов и частей). Возможно также, что *данная пространственная схема регресса, предполагающая смешение внешнего пространства мира и внутреннего пространства тела, является одной из основных структур авангардной миромодели*¹. Во всяком случае, кажется, что эта регрессивная схема оказывается важным системообразующим началом поэтической семантики Летова и Маяковского, поскольку она мотивирует не только мотивно-образный субстанциональный аспект, проанализированный выше, но оказывается еще и «вши-той» в стиль.

3. Телесное и дискурсивное. Поэтический синтаксис в миромоделирующем аспекте

Концепции телесного и пространственного обуславливают некоторые принципы синтагматического развертывания текста, связываясь тем самым с поэтической грамматикой. Каковы механизмы этой связи?

3.1. Ж. Пиаже обосновал понятие сенсомоторного интеллекта, предполагающее, что развитие интеллектуальных функций в своей основе соотносено с двигательнo-чувственным опытом [18]. Этот тезис Пиаже в настоящее время можно считать доказанным: современная когнитивная психология, изучающая телесную укорененность сознания (*embodied mind*), показала, что мышление и другие высшие психические функции буквально «встроены в

¹ Возврат к истокам, видимо, является общей мировоззренческой установкой для представителей «исторического авангарда», реализующейся не только в пространственной схеме, но и на эксплицитном тематическом уровне, см. об этом в работе [17].

тело» [19, 20, 21]. «Встроенной в тело» оказывается и человеческая речь: так, повторяющийся сенсомоторный опыт не только кодирует те или иные отдельные семантические представления, он еще и застывает в первичных грамматических категориях [22, 23, 24].

В процессе своего развития речь отвлекается от этого телесного субстрата, однако последний, видимо, никуда не исчезает. Таким образом, идея развития психики по принципу обрастания, где более новые слои надстраиваются над старыми, вполне применима и к языку [25. С. 168; 26. С. 239], именно поэтому телесная база, с которой язык связан в онтогенезе, в некоторых случаях может вновь актуализироваться. Возможно, что этот первичный «чувственно-двигательный» субстрат более активно проявляется в поэтическом языке в силу близости последнего к допонятийному образно-комплексному мышлению. По крайней мере в лирике Летова и Маяковского концепция телесного не только мотивирует мотивно-образный уровень, но и коррелирует с концепцией знака, поэтическим синтаксисом и некоторыми аспектами тропообразования.

3.2. Телесность, являясь своеобразным «фундаментом» поэтической семантики Летова и Маяковского, обуславливает их концепцию знака. Знак Летовым и Маяковским понимается как субстанционально выраженная и телесно воплощенная единица.

Так, у Маяковского абстрактные существительные образно воплощаются, не только через вещественный, но и через телесный код¹. Ср.: «...шевелит ногами непрожеванный крик» [11. Т. 1. С. 62]; «...на царство базаров коронован шум» [Там же. С. 54]; «Мысли, крови сгустки, / больные и запекшиеся, лезут из черепа» [Там же. С. 200].

В текстах Летова сталкиваемся с этим же феноменом отелеснивания абстрактных слов: «В луже кровавого оптимизма / Валяется ощущение человека / в телогрейке» [12. С. 168], «А мои пернатые радости / Толсто жиреют за вашими форточками» [Там же. С. 108]; «Мне на пятки скандалят / Их розовые голоса» [Там же. С. 131].

Частной разновидностью такого телесного знака является образ телесного слова. Ср. у Маяковского: «...а во рту / умерших слов разлагаются трупики» [11. Т. 1. С. 182]; «Обгорелые фигурки слов и чисел из черепа, / как дети из горящего здания» [Там же]; «...придумаем / слово свое, /из сердца сделанное, а не из ваты» [Там же. Т. 7. С. 132]. Летов также прямо декларирует связь тела и слова: «Спойте мне тело, в котором нет слов / Спойте мне слово, в котором нет мяса» [12. С. 199]; «Слово моё захудалое / Родилось ты тут ни с того ни с сего / Словно пятая нога у хромой собачонки» [Там же. С. 345].

3.3. Концепция слова, актуализируя метапоэтическую функцию текста, связывается с интересной закономерностью: модель слова у Летова и Маяковского повторяет модель тела. У Маяковского живое слово – это слово страдающее, которое, как и тело, терзают, ломают, разрушают. Ср., например: «...всеми пиками истыканная грудь, / всеми газами свороченное лицо. /

¹ Вещественность знака в лирике Маяковского – факт самоочевидный, однако *телесность знака*, которая обычно вписывается в эту же вещно-конкретную парадигму (см., например: [27. С. 359–360]), все же представляет собой явление принципиально иного порядка.

всеми артиллериями громимая цитадель / головы – / каждое мое четверостишие» [11. Т. 1. С. 229]. У Летова слово, оказываясь своеобразным телесным органом, как и тело, выходит за границы, экстериоризируется: «Разразиться бы, лопнуть / Чтоб с кишками наружу / Живые слова» [12. С. 32].

Связь между словом и телом является системной: так, сдвиг представлений о теле в постреволюционной поэзии Маяковского порождает изменение представлений о слове. В стихотворении Маяковского «Поэт рабочий» (1918) утверждается, что «сердца – такие же моторы, / душа – такой же хитрый двигатель» [11. Т. 2. С. 19] (ср. многочисленные перепевы темы «тело-механизм» в таких текстах, как «Разговор с фининспектором о поэзии», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» и др.). Эта механизация тела коррелирует в постреволюционной лирике поэта с изменением концепции слова: если в дореволюционных стихотворениях слово было организмом, то теперь слово предстает как механизм, предмет, часто оружие. Ср.: «Наше оружие – наши песни» [Там же. С. 7]; «Если песнь не громит вокзала, то к чему переменный ток?» [Там же. С. 14], «рифм отточенные пики», «железки строк» [Там же. Т. 10. С. 282].

В антропологическом аспекте такое «телесное слово» – это слово архаично-мифологическое, в психолингвистическом смысле – это слово с диффузной «комплексной» семантикой, возникающее на ранних стадиях развития мышления [25. С. 139–148]. Однако в любом случае такая телесная конкретность поэтического слова свидетельствует о том, что поэзия Летова и Маяковского возвращается к его психофизиологическим истокам.

Остается нерешённым вопрос о том, каков тип связи между образом телесного и таким «воплощенным» словом? Следует ли вести речь о корреляции (образ телесного *соотносится* с концепцией слова) либо же о причинно-следственной связи (образ телесного *мотивирует* концепцию слова)? Не претендуя на однозначный ответ, все же укажем на недавно отмеченный факт нейропсихологической связи нашего «кинетического» словаря с зонами мозга, которые отвечают за реально осуществляемые двигательные программы [28]. В этом плане дискурсивное мышление может быть прямым образом обусловлено телесным праксисом, что, безусловно, следует учитывать при анализе поэтического языка в подобной антропоцентрической перспективе.

3.4. Если образ тела связан с образом слова *семантически*, то пара «тело – пространство», предполагающая установление отношений между субъектом и объектом, коррелирует в поэзии Летова и Маяковского с определённой *пропозиционально-грамматической* структурой, обуславливающей некоторые характерные особенности поэтического синтаксиса.

Уже давно отмечено, что в стихе Маяковского разрываются синтаксические связи. При этом их разрушение происходит преимущественно в сфере управления, в результате чего «отношения между субъектом и объектом действия перестраиваются заново» [29]. У Летова, как указывают Т.В. Цвигун и А.Н. Черняков, нарушение узальной грамматической правильности также реализуется «в первую очередь – в пределах управления» [1. С. 102].

Остановимся на деформации управления в лирике Летова. Эта деформация часто сопровождается двумя сопутствующими признаками. Во-первых, в тех фрагментах текста, где появляются эти структурные грамматические на-

рушения, на тематическом уровне актуализируется «телесный субстрат». Во-вторых, такие аграмматические конструкции, содержащие телесную семантику, у Летова соотносятся с дезагенсивностью действия: часто неясно, кто является субъектом действия, действие тяготеет к безличности, а предикаты – к уменьшению количества актантов.

Ср. следующий пример: «А вот отдельному солдату / Перестало умирать <...> / Стал он... себя на части разбирать / Череп крепко разворочен, и мозги текут сквозь стены» [12. С. 500]. Аграмматизм «солдату перестало умирать», представляющий собой нарушение глагольного управления, связывается с дезагенсивностью действия и телесной мотивикой. Мы полагаем, что основа этой связи – фундаментальное нарушение субъект-объектных отношений, характерных для летовской (и шире – для авангардистской) модели мира.

Управление, напомним, семантически маркирует разграничение субъекта и объекта. Если же граница между миром и человеком проницаема, если мир становится субъектом действия, а в телесность, наоборот, могут проникать внешние компоненты и управлять ею (см. выше о мотиве многодушия), то трансформация связей на уровне синтаксического управления вполне закономерна.

Такая ущербная субъектность, с одной стороны, обуславливает деформацию синтаксического уровня (так как выпадают грамматические маркеры, выражающие категорию субъекта), а с другой стороны, связывается с телесным началом (так как категория субъекта у Летова всегда телесно представлена). Именно поэтому летовские аграмматизмы часто содержат в себе неустранимый телесный «остаток», который указывает на их глубинную соотнесенность с деформацией отношений между субъектом и объектом, которые кодируются через взаимодействие тела и внешнего пространства.

Думается, что такие намеренные грамматические нарушения, оказываясь мостом между семантикой и грамматикой, являются точками входа в авторский миф и мир. Возможно, что те области, где «ломается» грамматика, содержат в себе принципиально важные смыслы авторской модели мира, которые *не могут быть выражены в рамках узуса*. Фактически аграмматизмы, демонстрируя «недостаточность» языка по отношению к модели мира, маркируют горячие точки смысло- и формообразования, указывают на исключительное положение тем, которые они содержат. Связь семантики и структуры в этих нарушениях свидетельствует о работе механизмов семантического синтаксиса, трансформирующих тему текста в принцип его построения.

При этом то или иное «невывразимое», криптотипическое свойство модели мира может манифестироваться разными способами. В этом смысле небезынтересным будет анализ неологизмов Маяковского, часть которых, как и аграмматизмы Летова, базируется на идее деформированного субъекта, выходящего за свои телесные границы.

В. Тренин указывает на то, что «больше всего у Маяковского новоизобретенных глаголов с приставкой *вы-*», маркирующей движение вовне [29], поэтому вполне закономерна ее связь с семантикой экстерииоризации субъекта, которую содержат в себе соответствующие неологизмы (ср.: *выцеловать*, *вытелить*, *выреветь*, *выржать (душу)*, *вымчать (тело)* и проч.). Предельное разрастание этого приема возникает в поэме «Флейта-позвоночник» [Там же], где мы наблюдаем замечательную корреляцию образа тела со словообразова-

тельным уровнем. Так, образ страдающего героя поэмы, чья телесность экстериоризирована, спроецирована на внешнее космическое пространство, «объясняет» огромное количество неологизмов с приставкой «вы-», которые словообразовательно маркируют эту «вывернутость».

3.5. Деформированная субъектность является своеобразным «первичным дефектом», она системно проявляется на разных синтагматических уровнях текста, обуславливая не только трансформацию глагольного управления, но и некоторые другие нарушения, в основе которых лежит представление о неопределённом субъекте. Так, например, деформированная субъектность в текстах Летова может быть связана с «разложением» устойчивых словосочетаний, где разрушается представление о телесно-психологической границе героя («Но сияние обрушится вниз / и станет самым тобой» [12. С. 518]), также она обуславливает необычное употребление местоимений («С некоторых пор чувствую за спиной их его за мной оно дышит в череп... / Вдруг как даст по хребтине» [Там же. С. 31]). Примечательно, что в последнем примере грамматическое нарушение правильности речи в очередной раз семантически соотносится с телесным комплексом, включающим в себя мотив агрессивного воздействия на тело.

Вышеприведенные примеры показывают, что с наибольшей силой данный первичный дефект проявляется в сфере, соотнесенной с субъектом действия. Субъект действия связан с предикативным центром высказывания, поэтому его топиальная амбивалентность ведет не только к аграмматизмам, но и к синтаксическому разобщению, которое в текстах Маяковского и Летова осуществляется через выпадение местоимений или существительных (последние даются только через свое определение). Применительно к поэзии Маяковского этот факт был отмечен Винокуром [27. С. 370–371], приведем один из его примеров: «...должно быть, / тот, работал над *дохлой*...» [11. Т. 2. С. 80]. Здесь пропущено слово «лошадь», что создает, по мнению Винокура, эффект синтаксического разрыва.

У Летова в этом аспекте показателен текст «Ветер с гор», где отсутствует местоимение «я», а само существительное «ветер» дается, как и у Маяковского существительное «лошадь», через ряд определений. Ср.: «Втянул бы всё это / небесное мрачное / всосал бы весь этот ветренный / весь этот тяжёлый / весь этот холодный ледяной / Который меня молотком по голове...» [12. С. 8].

В результате в песне возникает синтаксическая неполнота, маркирующая комплекс имперсональности¹. Однако качественный анализ ее происхождения показывает, что синтаксис является вторично страдающим звеном, первичным же фактором этого синтаксического дефекта становится нарушенная дейктическая референция. Каковы механизмы этого нарушения?

Деформация субъекта, связанная с исчезновением границы между внешним и внутренним, приводит к невозможности соотнести героя с конкретной пространственно-временной точкой. Герой Летова подобен ленте Мёбиуса, он может одновременно находиться внутри и снаружи своего тела. Ср. такой «инсайдаут» (термин К. Кедрова) в «Конце карантина», где герой одновре-

¹ Анализ этого семантического комплекса в лирике Летова см. в работе [30].

менно остается в «темноте сарая» и выходит из нее. Симптоматично, что это логико-нарративное нарушение, как и аграмматизмы, проанализированные выше, сопровождается образом страдающего тела: «...оставив себя в темноте сарая / И всё, что связано и перевязано, / Я вынес на солнце / Своё обнажённое скользкое сердце...» [12. С. 55].

Невозможность привязать героя к конкретному хронотопу (ср.: «... всё вдруг и встало на свои чётко неопределённые места» [Там же. С. 3]), в свою очередь, приводит к выпадению местоимений, ибо они, выполняя дейктическую функцию, указывают на «фиксированное» положение говорящего в определённом локусе. Выпадение же местоимений в конечном счете обуславливает вышеозначенную синтаксическую неполноту.

Интересно, что такая «дезагенсивность» действия является своеобразным архаическим остатком «прагматического» древнего языкового кода, который предполагает сочинительную связь, отсутствие местоимений, минимальное количество именных основ при глаголе, длящееся прошедшее время [32. С. 23–25]. Приведем пример текста Летова, прекрасно демонстрирующий эти принципы:

Трижды удостоенный
отзывчивой дубиной по гранёной башке
Продолжал настойчиво
стучаться в ворота пока не задохнулся
От собственной дерзости
А птички застревали *кусочками* в гортле
А в камере смертников
заключённым снился один и тот же сон.
[12. С. 23]

Проявление в леговских текстах такого «первичного языка», видимо, объясняется концепцией «дозеркального» синкретического субъекта, которая является общей как для авангардистов, так и для ранних мифологических текстов. Во всяком случае подобная топикальная неопределенность субъекта, обнаруживаясь на ранних стадиях развития языка и сознания как в фило- так и в онтогенезе [33. С. 9], встречается также и в мифопоэтической картине мира, где «я» субъекта является диффузным и «проницаемым» [34. С. 197].

Таким образом, «синтаксическая архаичность» авангардистских текстов, взятая вкуче с телесным комплексом, в них представленном, свидетельствует об изоморфизме модели тела и модели поэтического слова в лирике Летова и Маяковского. *Поэтическое слово возвращается в исходное дограмматическое состояние, не предполагающее разделения субъекта и объекта, а тело регрессирует в дозеркальное диффузное пространство, не предполагающее разделения «я» и мира.* Поэтому вполне закономерно, что расшатывание грамматики в их творчестве идет по линии дейксиса (которая определяет четко отграниченное положение человека в коммуникативном пространстве) и грамматического управления (которое предполагает разграничение субъекта и объекта действия).

4. Структура и функции «воплощенной» метафоры в лирике Летова и Маяковского

Рассмотренная модель «пространство – тело» обуславливает в поэзии Летова и Маяковского базовый метафорический фрейм, порождающий ряд частных метафор. Отсутствие стабильной границы между телом и пространством приводит к перекрещиванию в рамках данного фрейма семантических признаков «внутреннее – внешнее». В результате этого продуцируются метафоры, где тело метафоризируется как внешнее пространство, а внешнее пространство – как тело.

4.1. В лирике Маяковского обнаруживается большое количество таких метафорических конструкций: «По мостовой моей души / изъезженной...» [11. Т. 1. С. 45]; «Я вышел на площадь, / выжженный квартал / надел на голову...» [Там же. С. 62]; «Память, / Собери у мозга в зале...» [Там же. С. 199]; «Кровью сердца дорогу радую» [Там же. С. 194] и др. В текстах Летова эта метафорическая модель, предполагающая семантический «блендинг» тела и пространства, тоже является весьма продуктивной: «Из ноздри моей левой / Капает / Засохшая дорога» [12. С. 177]; «Реки ушли под землю на их месте / Остались пустые кишки полные дряни» [Там же. С. 44]; «Небо цвета мяса» [Там же. С. 61]; «Луны безымянный труп» [Там же. С. 238]; «Земля смердит до самых звезд» [Там же. С. 228].

Такого рода метафоры кажутся довольно новаторскими и необычными, однако в их смысловой подоплеке лежит та же идея о тождестве тела и пространства; выше эта идея реализовывалась на мотивно-образном и грамматическом уровнях, здесь же она актуализируется в сфере тропообразования.

4.2. Мифологическое мышление, предполагающее тождество мира и человека, сохранилось в языке в области языковых метафор. Летов и Маяковский, реализуя эти метафоры, реанимируют их стершееся образное значение.

Реализованная метафора у Маяковского, довольно подробно описанная в исследовательской литературе, является частным вариантом разложения идиоматики. Наиболее репрезентативным текстом в этом аспекте является поэма «Облако в штанах», где реализуются такие метафоры, как «сердце горит», «нервы разыгрались» и проч. Текущее тело, рассмотренное нами выше, возможно, также является реализованной метафорой, предполагающей буквальное понимание языкового выражения «слиться с кем-либо».

У Летова реализация метафоры не так заметна и ярка, поскольку она не образует микро-сюжетов, как в поэмах Маяковского, тем не менее к этому приему он обращается довольно часто. Так, во-первых, образ страдающего тела, на которое агрессивно действует мир, видимо, связан с выражением «испытывать давление». В летовских текстах это *подавленное состояние* по закону логики сновидений, не знающей абстракций и переносного смысла, реализуется в конкретно-физиологических образах (ср. «кишки и мозги разлетятся как мухи» [Там же. С. 59]). Тело, которое взрывается (см. примеры выше), кажется, связано с метафорой «взорваться от гнева», «выйти из себя». Тело текущее имеет такую же смысловую мотивировку, как и в поэзии Маяковского.

Следует обратить внимание на следующий интересный факт: *реализованные метафоры большей частью содержат в себе телесные образы и мотивы*. Такая избирательность может объясняться психологическими причинами. Возможно, что метафоричность есть неотчуждаемая особенность описания внутренних телесно-эмоциональных состояний, так как область внутреннего телесного опыта, будучи размытой и неопределённой, может проявиться только в метафорической проекции внутреннего телесного ощущения на внешнее [19. С. 52].

Однако под «внутренним» могут пониматься не только соматические, но и эмоциональные процессы. В такой перспективе основная функция телесных метафор в языке заключается в том, что они обозначают сильное эмоциональное состояние, в котором пребывает личность (ср. русские языковые метафоры типа «взорваться от гнева», «сносит крышу», «сердце разрывается» и т.д.). Психологические данные подтверждают этот наивный взгляд языка и свидетельствуют о том, что *эмоция сильнейшим образом укоренена в телесном бытии человека*¹. Лирика Маяковского и Летова прекрасно иллюстрирует эту мысль: реализованные метафоры, связанные с телом, в их поэзии всегда выражают сильный аффект, который в буквальном смысле выводит человека из себя, за границы своей личности, что метафорически кодируется выходом за пределы тела².

В этом психологическом ракурсе образы нестабильной телесности (тело-лава, вывернутое тело, расчленённое тело и др.) предстают в несколько ином свете: все эти образы являются вариантами аффективного тела, соотносённого с расширяющейся эмоцией, которая в буквальном смысле раздражает героя на части. Мифологическим коррелятом такого аффективного тела является агрегатная телесность «мирочеловека», образ которого, как мы указали, является одним из важнейших смысловых центров лирики Летова и Маяковского.

Таким образом, регрессивная схема дозеркального тождества тела и мира мотивирует не только мотивно-образный и микросюжетный уровень поэзии Летова и Маяковского, но и обуславливает некоторые техники работы со словесным материалом. Так, смешение внешнего и внутреннего порождает топикальную неопределённость субъекта, что разрушает дейктическую референцию и приводит к синтаксической неполноте и аграмматизмам. Проницаемая телесная граница, которая появляется в результате этого смешения, мотивирует специфический метафорический фрейм, где происходит переименование признаков «внешнее пространство» – «телесность», и маркирует образ страдающего тела, который, будучи компонентом реализованной метафоры, кодирует состояние аффекта и «показывает» расширяющуюся эмоцию, «разрывающую» тело. Такая сильная связь образа телесного и модели поэти-

¹ Небезынтересным будет отметить, что за социальную боль отвечают те же зоны мозга, что и за реальную боль (см. об этом: [35]). Это «наложение» с нейропсихологической точки зрения объясняет функционирование подобной телесной метафорики, призванной в первую очередь выражать эмоционально-аффективные состояния.

² В.А. Успенский в работе «О вещных коннотациях абстрактных существительных» [36] отметил, что абстрактные понятия понимаются нами через вещный код; эмоции же, видимо, воплощаются в телесных образах.

ческого слова подтверждает исходную гипотезу о том, что сходство разных поэтик на уровне ключевых телесно-пространственных образов «предсказывает» типологические конвергенции и на других уровнях поэтического текста.

* * *

Авангардистский дискурс принято соотносить с феноменом «уединенного сознания». Мы, подходя к исследуемому объекту с иной стороны, можем вычленив в авангарде образ «уединенной телесности», которая обуславливает ситуацию утраты идентичности. Так, предельный отрыв личности от мира, связанный с поиском некоей утопической целостности, *лишает целостности саму личность*. Этот парадокс, видимо, объясняется тем, что целостность субъекта немыслима без категории границы, которая бы отделяла человека от мира. Исчезновение этой границы ведет к желаемому разрушению «чужого мира», но и – парадоксально – к разрушению эго, ибо «я» существует, пока есть «не-я» [19. С. 76–77]. Поэтому-то поведение тела в этом идеальном утопическом мире напоминает эксперименты по сенсорной депривации, когда лишение человека «плотного бытия», связанного с «обедненностью внешней стимуляции», приводило к галлюцинациям, связанным с *метаморфозами тела*: у испытуемых возникали ощущения изменения формы и размерности тела, конечностей, появлялось ощущение нахождения сознания вне тела и проч. [36]. Именно с такими трансформациями телесного мы сталкиваемся в поэзии Летова и Маяковского, где предельный индивидуализм, отрицающий всякие границы, растворяется в безличном.

Литература

1. Черняков А.Н., Цвигун Т.В. Поэзия Е. Летова на фоне традиции русского авангарда (аспект языкового взаимодействия) // Русская рок-поэзия: текст и контекст. Тверь, 1999. Вып. 2. С. 98–106.
2. Авилова Е.Р. Телесность как основная универсалия авангардной модели мира (на примере творчества Егора Летова) // Русская рок-поэзия: текст и контекст. Екатеринбург; Тверь, 2010. Вып. 11. С. 172–177.
3. Жирмунский В.М. Литературные течения как явление международное // Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. Л., 1979. С. 137–158.
4. Темиришина О.Р. Типология символизма: Андрей Белый и современная поэзия. М.: МНЭПУ, 2012. 290 с.
5. Топоров В.Н. Пространство и текст // Мировое дерево: Универсальные знаковые комплексы. М., 2010. Т. 1. С. 318–382.
6. Бородицки Л. Как языки конструируют время // Язык и мысль: Современная когнитивная лингвистика. М., 2015. С. 199–213.
7. Miles L.K., Nind L.K., Macrae C.N. Moving Through Time // Psychological Science. 2010. № 21(2). Р. 222–223.
8. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.
9. Лурия А.Р. Язык и сознание. М.: Изд-во МГУ, 1979. 320 с.
10. Lacoff G., Jonson M. Philosophy in the Flesh: The embodied mind and its challenge to Western thought. New York: Basic Books, 1999. 624 p.
11. Маяковский В.В. Полное собрание сочинений: в 13 т. М.: Гослитиздат, 1955–1961.
12. Летов Е. Стихи. М.: Выргород, 2011. 548 с.

13. *Темиришина О.Р.* Тело и знак: К проблеме утопии и антиутопии в поздней поэзии В. Маяковского // Творчество А. Ахматовой и Н. Гумилева в контексте поэзии XX века: материалы Междунар. науч. конф. Тверь, 2004. С. 273–281.
14. *Топоров В.Н.* Из статьи «Флейта водосточных труб и флейта позвоночник (внутренний и внешний контексты)» // Мировое дерево: Универсальные знаковые комплексы. М., 2010. Т. 1. С. 438–447.
15. *Галиева М.А.* Трансформация фольклорной традиции в русской поэзии начала XX века (С.А. Есенин и В.В. Маяковский): дис. ... канд. филол. наук. М., 2016. 256 с.
16. *Лакан Ж.* Стадия зеркала и ее роль в формировании функции Я в том виде, в каком она предстает нам в психоаналитическом опыте // «Я» в теории Фрейда и технике психоанализа. М., 2009. С. 508–517.
17. *Бобринская Е.* Миф истока в русском авангарде 1910-х гг. // Бобринская Е. Русский авангард: истоки и метаморфозы. М., 2003. С. 24–44.
18. *Пиаже Ж.* Психология интеллекта. СПб.: Питер, 2003. 192 с.
19. *Тхостов А.Ш.* Психология телесности. М.: Смысл, 2002. 227 с.
20. *Herbert J., Gross J., Hayne H.* Crawling is associated with more flexible memory retrieval by 9-month-old infants // *Developmental Science*. 2007. Vol. 10. P. 183–189.
21. *Anderson D. et al.* The role of locomotion in psychological development // *Frontiers in Psychology*. 2013. Vol. 4 [Электронный ресурс]. URL: <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2013.00440/full> (дата обращения: 30.03.2017).
22. *Gallese V., Lakoff G.* The Brain's Concepts: The Role of the Sensory-Motor System in Conceptual Knowledge // *Cognitive Neuropsychology*. 2005. Vol. 22. P. 455–479 [Электронный ресурс]. URL: https://www.academia.edu/2207332/The_brains_concepts_The_role_of_the_sensory-motor_system_in_conceptual_knowledge (дата обращения: 30.03.2017).
23. *Lieberman P.* Human language and our reptilian brain. The Subcortical Bases of Speech, Syntax, and Thought. Cambridge, London: Harvard university press, 2000. P. 82–124. 222 p.
24. *Брунер Дж.* Онтогенез речевых актов // Психолингвистика. М., 1984. С. 21–50.
25. *Выготский Л.С.* Мышление и речь // Собр. соч.: в 6 т. М., 1982. Т. 2. С. 5–362.
26. *Ахутина Т.В.* Нейролингвистический анализ лексики, семантики и прагматики. М.: Языки славянской культуры, 2014. 424 с.
27. *Винокур Г.О.* Маяковский – новатор языка // Винокур Г.О. О языке художественной литературы. М., 1991. С. 317–407.
28. *Hauk O., Johnsrude I., Pulvermuller F.* Somatopic Representation of Action Words in Human Motor and Premotor Cortex // *Neuron*. 2004. Vol. 41. P. 301–307 [Электронный ресурс]. URL: http://ling.umd.edu/~ellenlau/courses/nacs642/Hauk_2004.pdf (дата обращения: 30.03.2017).
29. *Тренин В.В.* Особенности языка Маяковского [Электронный ресурс]. URL: <http://rus.1september.ru/article.php?ID=200502207> (дата обращения: 30.03.2017).
30. *Черняков А.Н., Цвигун Т.В.* Подступы к поэтическому языку Егора Летова: персональность/имперсональность // Подробности словесности: сб. ст. к юбилею Людмилы Владимировны Зубовой. СПб., 2016. С. 398–408.
31. *Успенский Б.А.* Дейксис и вторичный семиозис в языке // *Вопр. языкознания*. 2011. № 2. С. 3–30.
32. *Николаева Т.М.* От звука к тексту. М.: Языки русской культуры, 2000. 680 с.
33. *Тхостов А.Ш., Журавлев И.В.* Субъективность как граница: Топологическая и генетическая модели // *Психологический журнал*. 2003, Т. 24, № 3. С. 5–12.
34. *Иванов Вяч.Вс.* Структура гомеровских текстов, описывающих психические состояния // *Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры*. М., 2009. Т. 5. С. 191–219.
35. *Eisenberger N.I.* The pain of social disconnection: examining the shared neural underpinnings of physical and social pain. // *Nature Reviews Neuroscience*. 2012. 13(6). P. 421–434.
36. *Успенский В.А.* О вещных коннотациях абстрактных существительных // *Семиотика и информатика*. М., 1979. Вып. 11. С. 142–149.
37. *Тхостов А.Ш.* Топология субъекта (опыт феноменологического исследования) // *Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14, Психология*. 1994. № 3. С. 3–12 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.psychology.ru/library/00058.shtml> (дата обращения: 30.03.2017).

POETIC TYPOLOGY OF LETOV'S AND MAYAKOVSKY'S LYRICS: FROM WORLD MODEL TO LANGUAGE

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 49. 188–208. DOI: 10.17223/19986645/49/12

Olesya R. Temirshina, Gribododov International Law and Economics Institute (Moscow, Russian Federation). E-mail: olesja@temirshina.ru

Keywords: Mayakovsky, Letov, typological method, body, space, poetic semantics, poetic grammatics.

The aim of the work is to describe typological convergences between the lyrics of Mayakovsky and Letov in the linguistic and world-modeling aspects. The material of the study is Letov's and Mayakovsky's lyrics, the subject of the work are the mechanisms of the poetic language conditionality by the world model. The main method used is structural-typological comparison.

The author differentiates the terms "world model" and "world image" in the theoretical part of the article: it is assumed that *world model* is a kind of a general scheme (frame or gestalt) which, being actualized in different cultural and philosophical "codes", forms various *world images*. Typological analysis should be done at a world-model level since the world model allows to see one poetics type through the diversity of its cultural and philosophical representations (while analysis of world images allows to detect individual "deviations" of poetics from this general type).

The main theoretical hypothesis of the article is the assumption that the key structures of the world model are images of body and space. These concrete concepts encode complex and abstract relations between the human and the world. They are manifested at semantic and grammatical levels simultaneously and perform the constructive function in texts.

The form-forming function of the world model in relation to poetic semantics and grammar was determined in the practical part of the work on the basis of the analysis of Letov's and Mayakovsky's lyrics.

The research shows that the primary conflict "human vs world" is expressed in the elementary opposition "body vs confining space" at a semantic level. The main intention of the persona is to go beyond the confining space. This is done in two ways: through the construction of a new utopian space (without boundaries) and through the creation of a new "fluid" corporeality related to this space.

The disappearance of the boundary between the body and the world semantically marks the neutralization of the boundary between the subject and the object, which elicits the appearance of the Anthropos archetype in Letov's and Mayakovsky's lyrics. This archetype represents a return to the early ontogenetic stages of psychological development, as a result of which a specific model is formed where the body and space are identical.

This model sets a propositional-grammatical structure which determines some features of the syntagmatic text structure and specific semiotic mechanisms of metaphorization in the poetry of Letov and Mayakovsky.

Thus, the blending of the *external* and the *internal* generates the *non-topical subject*, which destroys the deictic reference and leads to syntactic incompleteness and agrammatisms. The *body's permeable boundary*, which appears as a result of this blending, also generates a specific metaphorical frame where space and body are fused together. The suffering body image with a permeable boundary, in turn, is associated with the expressed metaphor which, indicating the affect state, shows the expanding emotion that "tears" the body.

References

1. Chernyakov, A.N. & Tsvigun, T.V. (1999) Poeziya E. Letova na fone traditsii russkogo avangarda (aspekt yazykovogo vzaimodeystviya) [Poetry of E. Letov against the backdrop of the tradition of the Russian avant-garde (the aspect of linguistic interaction)]. In: Domanskiy, Yu.V. et al. (eds) *Russkaya rok-poeziya: tekst i kontekst* [Russian rock poetry: text and context]. Vol. 2. Tver: Tver State University.
2. Avilova, E.R. (2010) Telesnost' kak osnovnaya universalnaya avangardnoy modeli mira (na primere tvorchestva Egora Letova) [Corporeality as the main universal of the avant-garde model of the world (on the example of Egor Letov's creativity)]. In: Domanskiy, Yu.V. et al. (eds) *Russkaya rok-poeziya: tekst i kontekst* [Russian rock poetry: text and context]. Vol. 11. Ekaterinburg, Tver: Ural State Pedagogical University.

3. Zhirmunskiy, V.M. (1979) *Sravnitel'noe literaturovedenie. Vostok i Zapad* [Comparative literary criticism. East and West]. Leningrad: Nauka. pp. 137–158.
4. Temirshina, O.R. (2012) *Tipologiya simvolizma. Andrey Bely i sovremennaya poeziya* [Typology of Symbolism. Andrei Bely and modern poetry]. Moscow: MNEPU.
5. Toporov, V.N. (2010) *Mirovye derevo. Universal'nye znakovye komplekсы* [World Tree. Universal sign systems]. Vol. 1. Moscow: Rukopisnye pamyatniki Drevney Rusi. pp. 318–382.
6. Boroditskiy, L. (2015) Kak yazyki konstruiyut vremya [How languages construct time]. In: Kravchenko, A.V., Mazurova, Yu.V. & Fedorova, O.V. (red.) *Yazyk i mysl': Sovremennaya kognitivnaya lingvistika* [Language and thought: Modern cognitive linguistics]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
7. Miles, L.K., Nind, L.K. & Macrae, C.N. (2010) Moving Through Time. *Psychological Science*. 21(2). pp. 222–223. DOI: 10.1177/0956797609359333
8. Lakoff, G. & Johnson, M. (2004) *Metaphory, kotorymi my zhivem* [Metaphors we live by]. Translated from English Moscow: Editorial URSS.
9. Luriya, A.R. (1979) *Yazyk i soznanie* [Language and consciousness]. Moscow: Moscow State University.
10. Lakoff, G. & Johnson, M. (1999) *Philosophy in the Flesh: The embodied mind and its challenge to Western thought*. New York: Basic Books.
11. Mayakovskiy, V.V. (1955–1961) *Polnoe sobranie sochineniy v 13 t.* [Complete works in 13 vols]. Moscow: Goslitizdat.
12. Letov, E. (2011) *Stikhi* [Poems]. Moscow: Vyrgorod.
13. Temirshina, O.R. (2004) [Body and sign: To the problem of utopia and dystopia in the late poetry of V. Mayakovsky]. *Tvorchestvo A. Akhmatovoy i N. Gumileva v kontekste poezii XX veka* [Works of A. Akhmatova and N. Gumilev in the context of 20th-century poetry]. Proceedings of the international conference. Tver: Tver State University. pp. 273–281. (In Russian).
14. Toporov, V.N. (2010) *Mirovye derevo. Universal'nye znakovye komplekсы* [World Tree. Universal sign systems]. Vol. 1. Moscow: Rukopisnye pamyatniki Drevney Rusi. pp. 438–447.
15. Galieva, M.A. (2016) *Transformatsiya fol'klornoy traditsii v russkoy poezii nachala XX veka (S.A. Esenin i V.V. Mayakovskiy)* [Transformation of the folklore tradition in Russian poetry of the early twentieth century (S.A. Yesenin and V.V. Mayakovsky)]. Philology Cand. Diss. Moscow.
16. Lacan, J. (2009) “Ya” v teorii Freyda i tekhnike psikhooanaliza [The Ego in Freud's Theory and in the Technique of Psychoanalysis]. Translated from French. Moscow: Gnozis, Logos. pp. 508–517.
17. Bobrinskaya, E. (2003) *Russkiy avangard: istoki i metamorfozy* [Russian avant-garde: sources and metamorphoses]. Moscow: Pyataya strana. pp. 24–44.
18. Piaget J. (2003) *Psikhologiya intellekta* [The psychology of intelligence]. Translated from French. St. Petersburg: Piter.
19. Tkhostov, A.Sh. (2002) *Psikhologiya telesnosti* [Psychology of corporeality]. Moscow: Smysl.
20. Herbert, J., Gross, J. & Hayne, H. (2007) Crawling is associated with more flexible memory retrieval by 9-month-old infants. *Developmental Science*. 10. pp. 183–189.
21. Anderson, D. et al. (2013) The role of locomotion in psychological development. *Frontiers in Psychology*. 4. [Online] Available from: <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2013.00440/full>. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00440>. (Accessed: 30.03.2017).
22. Gallese, V. & Lakoff, G. (2005) The Brain's Concepts: The Role of the Sensory-Motor System in Conceptual Knowledge. *Cognitive Neuropsychology*. 22. pp. 455–479. [Online] Available from: https://www.academia.edu/2207332/The_brains_concepts.The_role_of_the_sensory-motor_system_in_conceptual_knowledge. DOI: 10.1080/02643290442000310 (Accessed: 30.03.2017).
23. Lieberman, P. (2000) *Human language and our reptilian brain. The Subcortical Bases of Speech, Syntax, and Thought*. Cambridge, London: Harvard University Press. pp. 82–124.
24. Bruner, J. (1984) Ontogenez rechevykh aktov [The ontogenesis of speech acts]. Translated from English. In: Shakhnarovich, A.M. (ed.) *Psikholingvistika* [Psycholinguistics]. Moscow: Progress.
25. Vygotskiy, L.S. (1982) Myshlenie i rech' [Thinking and Speech]. In: *Sobr. soch. v 6 t.* [Works in 6 vols]. Vol. 2. Moscow: Pedagogika.
26. Akhutina, T.V. (2014) *Neyrolingvisticheskiy analiz leksiki, semantiki i pragmatiki* [Neurolinguistic analysis of vocabulary, semantics and pragmatics]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

27. Vinokur, G.O. (1991) *O yazyke khudozhestvennoy literatury* [On the language of fiction]. Moscow: Vysshaya shkola.
28. Hauk, O., Johnsrude, I. & Pulvermuller, F. (2004) Somatopic Representation of Action Words in Human Motor and Premotor Cortex. *Neuron*. 41. pp. 301–307. [Online] Available from: http://ling.umd.edu/~ellenlau/courses/nacs642/Hauk_2004.pdf. (Accessed: 30.03.2017).
29. Trenin, V.V. (2005) *Osobennosti yazyka Mayakovskogo* [Features of the language of Mayakovsky]. [Online] Available from: <http://rus.1september.ru/article.php?ID=200502207>. (Accessed: 30.03.2017).
30. Chernyakov, A.N. & Tsvigun, T.V. (2016) Podstupy k poeticheskomu yazyke Egora Letova: personal'nost'/impersonal'nost' [Approaches to the poetic language of Yegor Letov: personality / impersonality]. In: *Podrobnosti slovesnosti. Sbornik statey k yubileyu Lyudmily Vladimirovny Zubovoy* [Details of literature. Collection of articles for the anniversary of Lyudmila Vladimirovna Zubova]. St. Petersburg: Svoe izdatel'stvo.
31. Uspenskiy, B.A. (2011) Deyksis i vtorichnyy semiozis v yazyke [Deixis and secondary semiosis in language]. *Voprosy yazykoznaviya*. 2. pp. 3–30.
32. Nikolaeva, T.M. (2000) *Ot zvuka k tekstu* [From sound to text]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
33. Tkhostov, A.Sh. & Zhuravlev, I.V. (2003) Sub'ektivnost' kak granitsa: Topologicheskaya i geneticheskaya modeli [Subjectivity as a boundary: Topological and genetic models]. *Psikhologicheskii zhurnal*. 24:3. pp. 5–12.
34. Ivanov, V.V. (2009) *Izbrannye trudy po semiotike i istorii kul'tury* [Selected works on the semiotics and history of culture]. Vol. 5. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury. pp. 191–219.
35. Eisenberger, N.I. (2012) The pain of social disconnection: examining the shared neural underpinnings of physical and social pain. *Nature Reviews Neuroscience*. 13(6). pp. 421–434. DOI: 10.1038/nrn3231
36. Uspenskiy, V.A. (1979) O veshchnykh konnotatsiyakh abstraktnykh sushchestvitel'nykh [On the material connotations of abstract nouns]. *Semiotika i informatika – Semiotics and Informatics*. 11. pp. 142–149.
37. Tkhostov, A.Sh. (1994) Topologiya sub'ekta (opyt fenomenologicheskogo issledovaniya) [Topology of the subject (experience of phenomenological research)]. *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Ser. 14, Psikhologiya*. 3. pp. 3–12. [Online] Available from: <http://www.psychology.ru/library/00058.shtml>. (Accessed: 30.03.2017).

ЖУРНАЛИСТИКА

УДК 070.4

DOI: 10.17223/19986645/49/13

Е.В. Первалова

С.И. СОКОЛОВ – СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ «МОСКОВСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ» (1880-е гг.)

В статье сделана попытка проанализировать роль С.И. Соколова – секретаря газеты «Московские ведомости» в 1880-е гг. в жизни редакции. На основе ранее не публиковавшихся архивных документов и мемуарной литературы рассмотрены малоизвестные подробности функционирования и организации работы редакции, особенности взаимоотношений сотрудников с редактором газеты – М.Н. Катковым. Выявлено, что, несмотря на незначительность занимаемой должности, Соколов обладал обширным кругом полномочий, оказывал весьма заметное влияние на жизнь газеты.

Ключевые слова: С.И. Соколов, М.Н. Катков, «Московские ведомости», секретарь редакции.

Газета «Московские ведомости» – одно из старейших периодических изданий дореволюционной России. Основанная в 1856 г. при Императорском Московском университете, она на протяжении более чем ста лет являлась, наряду с «Санкт-Петербургскими ведомостями», одной из двух общероссийских общественно-политических газет. В 1863 г. по решению совета университета ее издание было передано в долгосрочную аренду публицисту М.Н. Каткову (1818–1887) и профессору П.М. Леонтьеву (1822–1875), которые в считанные месяцы сумели превратить «Московские ведомости» в respectable газету европейского уровня, оперативную, информационно насыщенную и, главное, способную сформировать у читателя определенную точку зрения, мнение, позицию. Газета и издаваемый ими с 1856 г. ежемесячный литературный и общественно-политический журнал «Русский вестник» стали главными и самыми авторитетными органами консервативной печати пореформенной России, выступали за умеренные социально-экономические преобразования при сохранении самодержавной монархии как единственно приемлемой для страны формы правления.

Лидером «Московских ведомостей», их идейным центром был М.Н. Катков, тогда как П.М. Леонтьев по большей части занимался материальными и финансовыми вопросами издания. Будучи единомышленниками во всем, «до последних тайников мысли и сердечных движений» [1], они взаимно дополняли друг друга в редакции, и их многолетний деловой, творческий и дружеский союз стал редким примером согласия и единомыслия в профессиональной журналистской среде второй половины XIX в. и являлся одним из залогов влияния и авторитетности газеты. Другие сотрудники «Московских ведомостей», по мнению большинства современников, находились в редакции на положении «статистов», и их роль сводилась к простому исполнению

воли и указаний руководителей издания. Между тем можно предположить, что своим успехом газета была обязана не только профессионализму Каткова и Леонтьева, их творческому потенциалу, организаторским способностям, энергии и решительности, но и усилиям целого ряда других работников редакции, имена которых до сих пор мало или почти неизвестны в истории отечественной журналистики: С.В. Флерова, К.Н. Цветкова, А.И. Георгиевского, С.И. Соколова, И.Ф. Красковского, С.В. Назаревского, Н.Н. Воскобойникова, С.А. Петровского и др. Увеличение информационного потока в 1860–1880-е гг., развитие средств связи, полиграфической техники, повышение требований к актуальности публикуемой в прессе информации, к оперативности ее подачи потребовали от редакторов повременных изданий новых подходов к организации работы редакционного коллектива. В указанный период редакции ежедневных газет представляли весьма сложный механизм, в котором был определен свой круг функциональных обязанностей каждого из сотрудников – от редактора до курьера, и от того, насколько слаженными и согласованными были их действия, зависели коммерческий успех издания, его востребованность у читателей, степень влияния на общественное мнение. Изучение вклада рядовых работников «Московских ведомостей» не только дополнило бы историю данного издания, но позволило бы проследить, как происходило формирование редакционных коллективов в крупных общественно-политических ежедневных изданиях 1860–1880-х гг., проанализировать процессы специализации и разделения труда в редакциях.

Цель настоящей статьи – рассмотреть роль и место в редакции «Московских ведомостей» С.И. Соколова, служившего секретарем газеты в 1880-е гг. Для написания статьи были использованы хранящиеся в архивах НИОР РГБ и ранее не публиковавшиеся документы редакции «Московских ведомостей», письма С.И. Соколова, М.Н. Каткова, Н.В. Васильева, А.М. Гезена, А.И. Георгиевского, Н.И. Субботина, Е.А. Друшусовой и других авторов изданий Каткова, а также воспоминания Ю.С. Карцова, Н.А. Любимова, Е.М. Феоктистова, В.А. Гиляровского и др.

Сергей Иванович Соколов (1852–1912) родился в селе Понизовье Вереysкого уезда Московской губернии в семье пономаря церкви Рождества Богородицы И.С. Соколова. Семья была небогатой, патриархальной, и судьба старшего сына, казалось, была предопределена – духовная карьера являлась для него едва ли не единственной возможностью «выбиться в люди». Первые шаги на этом пути оказались весьма удачными: сначала Соколов обучался на казенный счет в Волоколамском духовном училище, а затем поступил на полуказенное содержание в Вифанскую духовную семинарию при Спасо-Вифанском монастыре в Сергиевом Посаде, которую успешно (по первому разряду) закончил в 1874 г. Однако большого желания продолжать духовную карьеру у молодого человека, как видимо, не было, так как вскоре после окончания семинарии он принял решение выйти из духовного сословия и перейти в гражданскую службу. Согласно формулярному списку в 1879 г. Соколов поступил чиновником в канцелярию московского губернатора [2], откуда вскоре перешел в редакцию «Московских ведомостей» в качестве секретаря. Можно предположить, что с Катковым его познакомил А.И. Георгиевский – член совета министра народного просвещения, глава ученого комите-

та, который в 1860-е гг. заведовал редакцией «Московских ведомостей». Отношения между высокопоставленным чиновником и незаметным канцелярским служащим были не только деловые, но и весьма приятельские, о чем свидетельствует их переписка, датированная 1879 г. [3].

Чем привлекала Соколова служба в газете, сказать сегодня довольно сложно. По воспоминаниям современников, он был личностью весьма заурядной, не отличался ни особым умом, ни широтой кругозора, ни даром слова, ни какими-либо другими талантами. Внешность его была непримечательна: это был «человек маленького роста, сутуловатый, с лицом, обрамленным рыжей бородою, похожий не то на лестного гнома, не то на псаломщика» [4. С. 137]. Происхождение и семинарское воспитание Соколова, его особенное, чисто московское добродушие и патриархальность обнаруживались во всех его движениях, словах и манерах настолько, что Е.Л. Кочетов, один из репортеров «Московских ведомостей», человек прямодушный и искренний, называл его не иначе, как «елейненький». Что же в этом скромном и ничем не примечательном выпускнике провинциальной семинарии могло привлечь М.Н. Каткова, который, как свидетельствуют современники, был весьма взыскателен и требователен при подборе сотрудников?

До Соколова в разные годы секретарями редакции «Московских ведомостей» служили весьма неординарные и интересные люди. Например, в 1870-е гг. эту должность занимал выпускник Московской духовной академии С.В. Назаревский, человек высоко образованный, который не только принимал близкое участие в делах редакции, но и помогал в написании передовых статей по вопросам, связанным с церковной проблематикой: о старокатоличестве, роли православия в западных губерниях, организации духовных учебных заведений и т.п. С середины 1870-х гг., когда Назаревский перешел на службу в Петербург, в Главное управление по делам печати чиновником особых поручений (кстати, на новом месте службы он оставался для редактора «Московских ведомостей» важным источником информации, в первую очередь – обо всем, что касалось правового положения печати и действий цензуры), секретарем газеты служил К.А. Иславин, незаконнорожденный сын тульского помещика А.М. Исленьева, рекомендованный Каткову самим Л.Н. Толстым. К.А. Иславин не имел ни устойчивого общественного положения, ни состояния, ни каких-либо карьерных устремлений и жил «одним днем», но был «своим человеком» в литературных кругах, на короткое время общался со многими деятелями искусства и литературы: Ф.М. Достоевским, И.С. Аксаковым, В.П. Мещерским, Н.Г. Рубинштейном, С.И. Танеевым и др.

Вне всяких сомнений, что по уровню образования и широте кругозора Соколов значительно уступал своим предшественникам и вряд ли мог заинтересовать Каткова как человек, способный к творческой работе. Можно предположить, что редактор «Московских ведомостей», подбирая человека на должность секретаря, руководствовался отнюдь не образовательным уровнем претендентов, не их творческими способностями и даже не политическими предпочтениями, а ценил прежде всего личную преданность и надежность. И для этого у него были серьезные причины. Вследствие значительных проблем со зрением Катков почти не мог писать самостоятельно и был вынужден надиктовывать свои передовые статьи и письма. Запись под диктовку

разного рода текстов, зачастую весьма конфиденциального характера, наряду с традиционными секретарскими делами являлась едва ли не самой важной обязанностью секретаря, который вследствие этого почти безотлучно находился рядом со своим патроном и потому становился одним из самых осведомленных сотрудников редакции. Катков должен был почти безусловно доверять человеку, услуги которого ему были постоянно крайне необходимы. В свою очередь и секретари со временем настолько хорошо приноравливались к привычкам и обычаям своего патрона, к его манере говорить и диктовать, что понимали его буквально с полуслова.

Кроме того, секретарь должен был обладать высокой работоспособностью и выносливостью, так как работа над номером газеты и процесс написания и редактирования статей происходили, как правило, ночью. Такой распорядок работы утвердился с первых лет издания газеты Катковым и был обусловлен в первую очередь условиями получения телеграмм от телеграфных агентств и необходимостью печатать большие тиражи газеты. С другой стороны, «ночной режим» работы редакции подстраивался под Каткова, которому днем многочисленные посетители, редакционные хлопоты и другие дела не давали возможности сосредоточиться. «Ночь всегда проходила в работе, – вспоминал Н.А. Любимов. – И сотрудники привыкли к тому, что составление газет есть работа почти исключительно ночная. В два-три ночи редакция имела оживленный вид» [5. С. 79]. Такой распорядок требовал привычки, и нередко бывали случаи, когда увлеченный диктовкой Катков не замечал, что утомившийся секретарь начал дремать, и тогда многие места статьи бывали утрачены, а восстановить надиктованный текст в таких случаях было практически невозможно, приходилось начинать все сначала.

Как видим, Соколов в полной мере обладал качествами, которые высоко ценились редактором «Московских ведомостей»: он был надежен, неболтлив, отличался высокой работоспособностью и не имел склонности «выносить сор из избы». Соколову была присуща еще одна черта, наличие которой позволило ему быстро приобрести доверие Каткова: он был способен беспрекословно, не раздумывая, подчиняться воле и указаниям своего руководителя. Показательна фраза, сказанная им кому-то из собеседников Каткова, который в разговоре позволил высказать особое мнение, не согласное с точкой зрения редактора «Московских ведомостей». «Однако, батюшка, как это вы решаетесь возражать Михаилу Никифоровичу. Этак вы можете себе повредить» [4. С. 184]. Эти слова Соколова близки по смыслу знаменитой фразе Молчалина: «Не должно сметь свое суждение иметь» и, казалось бы, позволяют судить о нем как о «двойнике» грибоедовского героя, подобострастном угоднике и раболепствующем подхалиме. Катков действительно, по отзывам современников, «обладал натурой деспотической» [6. С. 120] и ценил людей «лишь насколько они могли служить успеху того или другого дела, сосредоточивавшего на себе все его помыслы» [Там же. С. 190]. Публицист и дипломат Ю.С. Карцов, часто бывавший в редакции «Московских ведомостей» в 1880-е гг., так описывал сотрудников газеты: «Мимо меня снуют волосатые индивидуумы в длиннополых сюртуках, говорят они между собой вполголоса, жестами указывая на коридор, в который только что скрылся артельщик. С первого взгляда видно, что господа эти самостоятельного значения не имеют. Властный

хозяин там за стенкой; все прочие не более как его челядь; хотя они именуют себя сотрудниками, но собственного мнения иметь не дерзают и беспрекословно покорствуют хозяйской воле» [4. С. 136]. Можно по-разному оценивать такое отношение редактора к сотрудникам как к «пролетариям умственного труда», однако нельзя не принимать во внимание, что напряженный ритм ежедневной газеты требовал от всех работников газеты, начиная с самого редактора и заканчивая курьерами и артельщиками, профессионализма, строжайшей дисциплины и добросовестного отношения к своим обязанностям, а потому можно понять требовательность Каткова, который «не допускал никаких компромиссов и уступок в ущерб делу, которое близко принимал к сердцу» [6. С. 120].

Обязательность, исполнительность и добросовестность Соколова, неукоснительное исполнение им всех поручений и указаний, не могли остаться незамеченными, и секретарь быстро стал одним из самых необходимых и доверенных сотрудников в редакции «Московских ведомостей». Катков настолько привык к Соколову, что, уезжая на несколько дней по делам в Петербург или в свое подмосковное имение Знаменское, всегда брал его с собой. Деловые записки Каткова, адресованные Соколову, демонстрируют, что последний пользовался безоговорочным доверием редактора, ему поручались крупные денежные суммы и т.п. [7].

Соколов не только исполнял целый ряд обязанностей в редакции, но обладал также некоторым влиянием и даже властью. Так, например, именно к нему были вынуждены обращаться все те, кто стремился пообщаться лично с Катковым, а таких посетителей было немало, если принять во внимание то влияние и связи, какими обладал «громовец «Московских ведомостей»» (как нередко называли Каткова в профессиональной среде), и тот резонанс, который производили его статьи. Приемная редактора «Московских ведомостей» в 1880-е гг. – период наивысшего влияния газеты – напоминала приемную важного государственного сановника, и даже посещения кабинета Каткова рядовыми посетителями носили название «аудиенции». В редакции, помещавшейся в университетском казенном здании на Страстном бульваре, в приемные дни можно было наблюдать такую картину: «Большая приемная была полна народом. Там сидели и стояли человек около тридцати в мундирах с орденами, во фраках, дамы в нарядных платьях, совсем как в приемной министра. В числе присутствующих я заметил двух генералов, несколько офицеров, студентов, редактора одной львовской газеты и какого-то красивого мужчину в национальном костюме» [8. С. 211]. Контроль за порядком и очередностью приема входил в обязанности Соколова, который в эти дни всегда был окружен толпой посетителей, внимавших каждому его слову «в надежде что-нибудь от него услышать» [4. С. 137], так как именно от него зависело, кто из посетителей будет допущен непосредственно в кабинет к редактору для разговора наедине, а кому придется дожидаться встречи в приемной. Неприметный и скромный секретарь, внешне напоминавший Акакия Акакиевича из гоголевской «Шинели», в эти часы превращался в «значительное лицо», от одного жеста и слова которого зависели десятки людей. Нередко те, кто нуждался в помощи Каткова и поддержке его газеты, не решаясь беспокоить самого редактора, обращались к Соколову в надежде, что тот

сможет донести смысл их просьбы. Примером может служить письмо инженера-электрика А.А. Столповского, который, увлекшись телефонией, сумел изрядно усовершенствовать изобретенный американцем А. Беллом телефонный аппарат и просил Соколова о «помощи и содействии» [9] – передать Каткову бумаги, подтверждающие успешность проведенных телеграфным ведомством опытов с использованием его телефона. Изобретатель надеялся, что публикация в «Московских ведомостях» ускорит процесс получения им привилегии (так в дореволюционной России называлась юридическая форма патента). Его ожидания с успехом оправдались: переданные Соколовым документы явились для Каткова, который активно защищал интересы национальной промышленности и отечественного производства, поводом для написания «громовой» передовой статьи. В ней публицист с негодованием обрушился на тех лиц во власти, которые оказывают предпочтение «худшему иностранному перед лучшим отечественным», и вопрошал о том, «когда же наконец прекратится это систематическое избивание русских людей в жертву чужеземному Молоху?» [10]. Вскоре Столповский получил привилегию на свое изобретение, и его телефонный аппарат долгое время применялся на российских железных дорогах. С уверенностью можно утверждать, что в этой победе русского изобретателя над косностью отечественных бюрократических порядков была некоторая заслуга заурядного и ничем не примечательного секретаря «Московских ведомостей».

По долгу службы Соколову приходилось вести обширную деловую переписку. Среди его корреспондентов было немало высокопоставленных чиновников, писателей, публицистов, ученых, дипломатов: начальник Главного управления по делам печати Е.М. Феоктистов, член Совета министра народного просвещения А.М. Гезен, председатель Ученого комитета Министерства народного просвещения А.И. Георгиевский, правитель канцелярии Министерства внутренних дел А.Д. Пазухин, обер-прокурор Священного Синода К.П. Победоносцев, дипломат и публицист С.С. Татищев, профессор Московской духовной академии Н.И. Субботин, архимандрит Сергей, академик Е.В. Барсов, писатель Б.М. Маркевич и др. Правда, роль Соколова в этой переписке сводилась, как правило, к исполнению разного рода поручений: высокопоставленные корреспонденты просили его передать Каткову какую-либо предназначенную к публикации статью, переслать им несколько экземпляров газеты и т.п., а он сам, в свою очередь, лишь сообщал им то, что было поручено ему Катковым. Так, в письмах А.М. Гезена содержатся просьбы привезти несколько номеров «Московских ведомостей» [11], А.Д. Пазухин просил сообщить о времени возвращения М.Н. Каткова из Петербурга в Москву [12], Е.В. Барсов – передать Каткову текст его выступления в Московском археологическом обществе [13], Б.М. Маркевич – похлопотать о скорейшей присылке причитающегося ему гонорара [14. С. 17, 40, 57, 77] и т.п.

С другой стороны, некоторые постоянные авторы «Московских ведомостей» иногда напрямую, минуя Каткова, адресовали Соколову подготовленные ими статьи, что свидетельствует о том, что он имел право самостоятельно распоряжаться газетными материалами. Так, профессор Н.И. Субботин, отсылая Соколову небольшую статью, просьбой о которой он не хотел беспокоить лично Каткова, просил его «посодействовать» ее размещению в газе-

те [15]. О том же свидетельствуют и письма писательницы Е.А. Драшусовой, в которых упоминаются статьи, переданные ее сыном лично Соколову и по распоряжению последнего сразу же отданные в набор [16]. Подобное «самоуправство» Соколова, впрочем, может быть объяснено тем, что и Н.И. Субботин, и Е.А. Друшусова были не только постоянными авторами изданий Каткова, но давними его друзьями, и у Соколова не было никаких оснований не доверять им.

В переписке с влиятельными чиновниками Соколов всегда соблюдал известную дистанцию, но, выполняя поручения Каткова, нередко проявлял несвойственную ему жесткость. «Милостивый государь Евгений Михайлович, – писал Соколов «первому цензору России» Е.М. Феоктистову, – в только что вышедшем № 144 “Правительственного вестника” напечатано опровержение тифлисской корреспонденции, напечатанной в “Московских ведомостях” в № 152, и, кроме того, слышно, что Главное Управление сделало распоряжение послать это опровержение для напечатания в “Московских ведомостях” от себя. Михаил Никифорович поручил мне написать Вам, что он возмущен этим распоряжением, так как опровержение это ничего не опровергает <...>. Михаил Никифорович не будет печатать или перепечатывать это опровержение, чему бы его за это не подвергали» [17]. В решительном, напористом и даже ультимативном тоне данного письма узнается стиль самого редактора «Московских ведомостей», а никак не «елейненькая» манера общения, столь характерная для Соколова. Без всяких сомнений, секретарь Каткова никогда не решился бы позволить себе подобного тона в общении с чиновником столь высокого положения, если бы не ощущал за своей спиной могущественную опору в лице своего патрона.

Преданность и исполнительность Соколова достойно вознаграждались: помимо сторублевого ежемесячного жалованья он, согласно гонорарной ведомости «Московских ведомостей», дополнительно получал в среднем 112 рублей «за работу», т.е. за выполнение отдельных поручений, что в сумме составляло 2546 рублей в год [18] и может быть соотнесено со средним жалованьем чиновника VIII–V класса [19].

С Катковым Соколова связывали не только деловые отношения: он стал близким человеком в его семье, подтверждение этому можно найти в дружеской переписке секретаря с сыновьями редактора «Московских ведомостей». Так, в письме от 18 июля 1881 г., адресованном находящемуся в отъезде младшему сыну Каткова Михаилу, Соколов сообщал, что гостем на его именинах был «сам Михаил Никифорович и все семейные» [20]. Факт весьма существенный, если учесть, что в последние годы своей жизни Катков, обремененный редакционными делами, почти не позволял себе каких-либо развлечений и крайне редко бывал в гостях. Исключение, сделанное им для своего секретаря, весьма показательно и свидетельствует о большой близости и доверии между ними. В том же письме Соколов сообщал и другие подробности о домочадцах Каткова, которые могли быть известны лишь близкому и доверенному человеку: «Домашние Ваши все слава богу живы и здоровы. Павел Михайлович поступил на военную службу и завтра, 19 июля, будет присутствовать на высочайшем смотре, а мне думается даже, что и отличится. Вы не поверите, каким храбрым и вместе с тем искусным воином он те-

перь выглядывает. Все Вам кланяются. Михаил Никифорович только обижается на Вас за то, что мало пишете. Пишите поэтому почаще» [20].

Возможно, что Катков настолько доверял Соколову, что даже прислушивался к его советам и рекомендациям. В пользу этого говорит один небезынтересный факт. В 1882 г. скончался Н.Н. Воскобойников, занимавший после смерти в 1875 г. П.М. Леонтьева место «второго редактора», т.е. ближайшего помощника Каткова по редакции «Московских ведомостей». На его место претендовали два сотрудника газеты: Н.В. Васильев и С.А. Петровский. Первый из них к тому времени проработал в редакции около 23 лет, прошел все ступени редакционной иерархии: поначалу исполнял корректорские обязанности, затем занимался подборкой материалов для рубрики «Последняя почта», а под конец даже участвовал в подготовке редакционных статей. Вторым претендентом – выпускником юридического факультета Московского университета С.А. Петровским – был в редакции человеком относительно новым, его «стаж работы» в «Московских ведомостях» насчитывал не более пяти лет. До появления в газете он некоторое время служил столоначальником в архиве Министерства юстиции, а затем преподавал в Московском университете историю русского законодательства и даже успел защитить магистерскую диссертацию. Катков, по всей вероятности, симпатизировал молодому ученому, который к тому же был учеником и последователем историка и законоведа профессора И.Д. Беляева, постоянного автора катковских изданий. Напротив, о Васильеве редактор был весьма невысокого мнения, считал, что «в самостоятельные деятели он не годится, а как деятель второстепенный, может почитаться дельным» [21. С. 675–676]. Неудивительно, что когда Каткову пришлось выбирать «второго редактора» между Васильевым и Петровским, то его выбор пал на последнего как на более талантливого и отличавшегося определенностью и последовательностью взглядов. Вряд ли редактор «Московских ведомостей» нуждался в «подсказках» со стороны, однако, как свидетельствует письмо Н.В. Васильева, написанное С.А. Петровскому уже осенью 1887 г., т.е. после смерти Каткова, дело не обошлось без вмешательства Соколова. «Я не утерпел, попрекнул Соколова тем, что он рекомендовал Вас, а не меня, – сообщал Васильев Петровскому, повторяя слова, сказанные им Соколову: – “Кому же как не мне было заступить Воскобойникова? А вы, Сергей Иванович, посадили мне на голову Петровского, человека нового? И не грех вам? Ведь если бы не это, я и из редакции не уходил бы!”» [22].

О том, почему Соколов в данной ситуации встал на сторону Петровского и как складывались их отношения после назначения последнего «вторым редактором», сведений не сохранилось. Однако когда после смерти Каткова в июле 1887 г. возник вопрос о том, кто займет его место издателя «Московских ведомостей» и началась ожесточенная борьба между наследниками – женой и сыновьями и группой сотрудников редакции во главе с С.А. Петровским, то в ситуации жесткого противостояния обеих сторон Соколов однозначно встал на сторону семьи скончавшегося издателя. Он проявил завидную инициативу, всячески стараясь помешать С.А. Петровскому получить в аренду «Московские ведомости», даже написал письмо обер-прокурору Священного Синода К.П. Победоносцеву, в котором пытался дискредитировать Петровского и доказать его неспособность возглавить издание. Что заставило

Соколова выступить против Петровского – точно неизвестно. Но в сложившихся обстоятельствах эти его действия демонстрировали, что он не только не отличался дальновидностью и предусмотрительностью, но и явно не умел «держат нос по ветру». Во-первых, среди наследников Каткова не было никого, кто бы имел издательский опыт и был бы в состоянии с успехом продолжить дело, тогда как С.А. Петровский в глазах К.П. Победоносцева, министра народного просвещения И.Д. Делянова и других представителей правительственной элиты пользовался авторитетом как человек, взгляды и профессиональная компетентность которого гарантировали, что он сможет достойно продолжить тот же курс «Московских ведомостей», которому газета следовала при Каткове. «Сам Катков в течение многих лет отзывался мне с похвалой о Петровском и вполне ему доверял», – аргументировал необходимость передачи издания в руки Петровского И.Д. Делянов [21. С. 675–676]. «Оставление за семьей Каткова издания “Московских ведомостей” нежелательно и в интересах самого дела, т.к. при этом газета потеряет всякое значение, да не будет иметь и подписчиков», – вторил Делянову правитель канцелярии министра внутренних дел А.А. Пазухин [23. С. 705].

Во-вторых, Соколов не заметил, что первые же шаги вдовы издателя, С.П. Катковой, предпринятые ею после смерти мужа, и в первую очередь ее намерение сократить штат редакции, вызвали решительную неприязнь к ней со стороны редакционного коллектива, который почти в полном составе встал на сторону Петровского. В своем стремлении помочь вдове своего бывшего патрона Соколов даже не замечал, что сотрудники «Московских ведомостей», многие из которых еще недавно заискивали в нем, откровенно смеялись и даже издевались над ним и его усилиями. «Вообще я несколько дразнил Соколова разными речами в этом роде, а Цветков дразнил его явным издевательством, которого, однако, Сергей Иванович не понимал, принимая за дружеские каламбуры» – так писал Н.В. Васильев С.А. Петровскому о «дружеском» ужине, во время которого бывший секретарь Каткова делился с коллегами планами, как сохранить газету за семьей умершего издателя [22].

В результате по решению Особого совещания при Министерстве внутренних дел редактором «Московских ведомостей» был назначен С.А. Петровский, который с 1888 г. стал и их издателем, после чего Соколов был вынужден покинуть газету. Однако отношения Соколова с семьей Катковых не прервались и после его ухода из редакции. Косвенным доказательством этому может служить тот факт, что его младший брат, Евгений Соколов, служивший священником церкви Михаила Архангела в Серпуховском уезде, в 1890-е гг. помогал С.П. Катковой, вдове публициста, готовить к публикации собрание его передовых статей [24]. Имя Каткова, факт работы под его началом, а также деловые связи, возникшие в период работы в «Московских ведомостях», как видимо, помогли Соколову сделать служебную карьеру: уже в ноябре 1889 г. он был зачислен канцелярским чиновником Главного управления по делам печати, а с 1897 по 1912 г. служил цензором Московского цензурного комитета. О его деятельности в этой должности сохранились самые противоречивые свидетельства: если верить П.Б. Струве и Н.А. Рубакину, то Соколов имел репутацию одного из самых знающих и дотошных специалистов [25. С. 226; 26. С. 238], однако в воспоминаниях В.А. Гиляровского и

В.Д. Бонч-Бруевича бывший секретарь «Московских ведомостей» представлен как человек крайне недалекий, обскурант, мракобес и, помимо всего прочего, еще и взяточник [27–29]. К сожалению, веских оснований для того, чтобы сделать вывод, какая из указанных оценок Соколова-цензора является более верной, на сегодняшний день нет.

Какова же была роль Соколова в редакции «Московских ведомостей» при М.Н. Каткове? Можно ли утверждать, что он был искренне и «без лести» предан редактору газеты? Или же он лишь раболепно и подобострастно «подстраивался» под своего сильного покровителя? Проявив столь деятельную заботу о материальной обеспеченности семьи Каткова и поддерживав его наследников, не надеялся ли он таким образом сохранить свое место и свое влияние в газете?

О том, что уважение к Каткову и почтительное отношение к его памяти Соколов сохранил до конца жизни, свидетельствует письмо, написанное им незадолго до своей смерти вдове издателя-редактора «Московских ведомостей», в котором бывший секретарь газеты по просьбе С.П. Катковой попытался в небольшом очерке изложить заслуги своего патрона. Несмотря на прошедшие годы и изменившуюся историческую обстановку, в глазах Соколова Катков остался выдающимся русским патриотом, посвятившим всю свою жизнь и талант «пользам и нуждам России». «Своею публицистической деятельностью, – писал Соколов, – он всем русским людям ясно показал, что в самодержавном государстве, какова Россия, голос честного русского человека может всегда раздаваться с полной свободой, если им движет только истинная любовь к Отечеству, ибо честность, ум и талант всегда дают право на внимание» [30].

Непоколебимая убежденность, звучащая в написанном Соколовым очерке, позволяет думать, что его преданность Каткову была непритворной и не зависела от конъюнктуры и «веяний момента». Он не был лишь безгласным и безликим «Молчалиным» – исполнителем воли своего могущественного руководителя, но искренне разделял его взгляды и убеждения. Анализ его переписки с авторами и сотрудниками изданий Каткова, воспоминаний современников, в которых описывается внутренняя жизнь редакции «Московских ведомостей», позволяет сделать вывод, что, несмотря на кажущуюся незначительность занимаемой должности, Соколов, как секретарь редакции, обладал весьма обширным кругом обязанностей и полномочий и мог, таким образом, оказывать весьма заметное влияние на жизнь этой газеты. Исполнительность Соколова, его деловитость, энергичность и инициативность в совокупности с присущим ему особенным московским добродушием во многом способствовали установлению в газете деловой обстановки и интенсивного рабочего ритма, без которых был бы невозможен успех столь большого ежедневного издания, какими являлись «Московские ведомости». С другой стороны, описанный в статье круг обязанностей С.И. Соколова дает весьма полное представление о характере занятий и специфике работы данной категории редакционных сотрудников и свидетельствует об интенсификации процессов специализации в редакциях ежедневных общественно-политических газет последней трети XIX в.

Литература

1. М.К. Передовая статья // Московские ведомости. 1875. 20 апр. № 97.
2. О службе С.И. Соколова, 1888–1912 гг. // РГИА. Ф. 776. Оп. 20. Д. 1015.
3. Георгиевский А.И. Письма С.И. Соколову. 1879 г. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 2. Ед. хр. 18.
4. Карцов Ю.С. Семь лет на Ближнем Востоке. 1879–1886: Воспоминания политические и личные. СПб., 1906.
5. Любимов Н.А. Михаил Никифорович Катков. По личным воспоминаниям // Русский вестник. 1888. Кн. 8.
6. Феоктистов Е.М. За кулисами политики и литературы (1848–1896): Воспоминания. М., 1991.
7. Катков М.Н. Письма С.И. Соколову. Б.д. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 49. Ед. хр. 52.
8. Еленский О. Мысли и воспоминания поляка // Русская старина. 1906. Кн. 10.
9. Столповский А.А. Письмо С.И. Соколову. 1884 г. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 10. Ед. хр. 55.
10. [Передовая статья] // Московские ведомости. 1884. 6 сент. № 247.
11. Гезен А.М. Письма С.И. Соколову. Б.д. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 2. Ед. хр. 9.
12. Пазухин А.Д. Письмо С.И. Соколову. 31 марта 1887 г. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 9. Ед. хр. 36.
13. Барсов Е.В. Письмо С.И. Соколову. Б.д. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 9. Ед. хр. 35а.
14. Маркевич Б.М. Письма С.И. Соколову. 1882 г. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 34.
15. Субботин Н.И. Письмо М.Н. Каткову. 14 июня 1886 г. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 10. Ед. хр. 60.
16. Драшусова Е.А. Письма С.И. Соколову. Б.д. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 3. Ед. хр. 14.
17. Соколов С.И. Письмо Е.М. Феоктистову. Санкт-Петербург. Б.д. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 10. Ед. хр. 45.
18. Гонорар постоянным сотрудникам «Московских ведомостей» за 1886 г. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 55. Ед. хр. 16.
19. Мионов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: 3 т. СПб.: Дм. Буланин, 2014–2015 гг.
20. Соколов С.И. Письмо М.М. Каткову. Москва. 18 июля 1881 г. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 10. Ед. хр. 47.
21. Делянов И.Д. Письмо К.П. Победоносцеву. 3 октября 1887 г. // К.П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки. М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923 г.
22. Васильев Н.В. Письмо С.А. Петровскому. 1 октября 1887 г. // НИОР РГБ. Ф. 224. К. 1. Ед. хр. 18.
23. Пазухин А.Д. Письмо К.П. Победоносцеву. // К.П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки. М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923.
24. Расписки и счета из собрания М.Н. Каткова // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 56. Ед. хр. 12.
25. Абрамкин В., Дымищ А. У истоков революционного марксизма: из истории журнала «Начало», 1899 г. // Звезда. 1931. № 3.
26. Рубакин Н.А. Из истории борьбы за права книги: Флорентий Федорович Павленков / публ. и коммент. И.А. Сницаренко // Книга: исследования и материалы. М., 1964. Сб. 9.
27. Бонч-Бруевич В.Д. Мое первое издание: из моих воспоминаний // Звенья. 1951. Т. 8.
28. Бонч-Бруевич В.Д. Из воспоминаний о Мамине-Сибиряке // Бонч-Бруевич В.Д. Воспоминания. М., 1968.
29. Гиляровский В.А. Москва газетная // Собр. соч.: в 4 т. М., 1999. Т. 3.
30. Соколов С.И. Письмо С.П. Катковой. Москва. 11 января 1811 г. // НИОР РГБ. Ф. 120. К. 10. Ед. хр. 46.

S.I. SOKOLOV, THE SECRETARY OF THE MOSKOVSKIE VEDOMOSTI NEWSPAPER EDITORIAL OFFICE (THE 1880S)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 49. 209–221. DOI: 10.17223/19986645/49/13

Elena V. Perevalova, Moscow Polytechnic University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: helenpv@yandex.ru

Keywords: S.I. Sokolov, M.N. Katkov, *Moskovskie vedomosti*, secretary of editorial office.

Increase in the information stream in the 1860s–1880s demanded new approaches to the organization of the editorial staff work from editors of daily time editions, which became complex mechanisms in which each employee had their duties. A study of the contribution of ordinary workers shows how editorial staff of large social and political dailies of the 1860s–1880s were formed, how labor specialization and division was organized.

The article describes cooperation of S.I. Sokolov (1852–1912) with the editorial office of the authoritative conservative newspaper *Moskovskie vedomosti* in the 1880s, whose publisher and editor at the time was M.N. Katkov. Sokolov, a graduate of the Bethany Theological Seminary who was not very intelligent, educated and eloquent, managed to become one of the most entrusted Katkov's assistants. He possessed the qualities the editor of *Moskovskie vedomosti* highly appreciated: high performance efficiency, commitment, sense of duty and conscientiousness. Katkov, who was very demanding, appreciated Sokolov's devotion and reliability, ability to obey him and follow his instructions without deliberating. Sokolov was near Katkov almost permanently, and carried out a number of important duties: wrote down editorials, conducted business correspondence, often confidential, controlled the order and sequence of visitors on visiting days, etc. Sokolov's correspondents included many high-ranking officials, writers, publicists, scientists, diplomats: E.M. Feoktistov, A.M. Gezen, A.I. Georgievsky, A.D. Pazukhin, K.P. Pobedonostsev, S.S. Tatishchev, N.I. Subbotin, E.V. Barsov, B.M. Markevich and others.

After Katkov's death in 1887 Sokolov refused to support the new editor S.A. Petrovsky and was forced to leave the newspaper. Business relations with the St. Petersburg government elite helped him to make a career of an official: he served in the Head Department for the Press. During the last years of his life, he was a censor in the Moscow Censorship Committee.

Archival documents and memoir literature demonstrate that, despite the insignificance of his position, Sokolov had many powers in the edition and noticeably influenced the newspaper life. His devotion to Katkov did not depend on the environment; he sincerely shared the views and belief of the powerful head of the edition. Sokolov's sense of duty, his efficiency, vigor and initiative helped create work environment and intensive and harmonious working rhythm in the newspaper.

The duties of S.I. Sokolov give quite a complete idea of the tasks and features of work of this category of editorial employees and testify to the intensification of specialization in editorial offices of daily political newspapers of the last third of the 19th century.

References

1. M.K. (1875) *Peredovaya stat'ya* [Editorial]. *Moskovskie vedomosti*. April 20. 97.
2. Russian State Historical Archive (RGIA). Fund 776. List 20. File 1015. *O sluzhbe S.I. Sokolova, 1888–1912* gg. [On the service of S.I. Sokolov, 1888–1912].
3. Manuscript Research Department of the Russian State Library (NIOR RGB). Fund 120. Box 2. Unit 18. Georgievskiy, A.I. (1879) *Pis'ma S.I. Sokolovu* [Letters to S.I. Sokolov].
4. Kartsov, Yu.S. (1906) *Sem' let na Blizhnem Vostoke. 1879–1886. Vospominaniya politicheskie i lichnye* [Seven years in the Middle East. 1879–1886. Memories, political and personal]. St. Petersburg: Ekonomicheskaya tipolitografiya.
5. Lyubimov, N.A. (1888) Mikhail Nikiforovich Katkov. Po lichnym vospominaniyam [Mikhail Nikiforovich Katkov. By personal memories]. *Russkiy vestnik*. 8.
6. Feoktistov, E.M. (1991) *Za kulisami politiki i literatury (1848–1896). Vospominaniya* [Behind the scenes of politics and literature (1848–1896). Memories]. Moscow: Novosti.
7. Manuscript Research Department of the Russian State Library (NIOR RGB). Fund 120. Box 49. Unit 52. Katkov, M.N. (n.d.) *Pis'ma S.I. Sokolovu* [Letters to S.I. Sokolov].
8. Elenskiy, O. (1906) *Mysli i vospominaniya polyaka* [The thoughts and memories of a Pole]. *Russkaya starina*. 10.
9. Manuscript Research Department of the Russian State Library (NIOR RGB). Fund 120. Box 10. Unit 55. Stolpovskiy, A.A. (1884) *Pis'mo S.I. Sokolovu* [Letter to S.I. Sokolov].
10. *Moskovskie vedomosti*. (1884) *Peredovaya stat'ya* [Editorial]. *Moskovskie vedomosti*. September 6. 247.
11. Manuscript Research Department of the Russian State Library (NIOR RGB). Fund 120. Box 2. Unit 9. Gezen, A.M. (n.d.) *Pis'ma S.I. Sokolovu* [Letters to S.I. Sokolov].
12. Manuscript Research Department of the Russian State Library (NIOR RGB). Fund 120. Box 9. Unit 36. Pazukhin, A.D. (1887) *Pis'mo S.I. Sokolovu. 31 marta 1887* g. [Letter to S.I. Sokolov. March 31, 1887].

13. Manuscript Research Department of the Russian State Library (NIOR RGB). Fund 120. Box 9. Unit 35a. Barsov, E.V. (n.d.) *Pis'mo S.I. Sokolovu* [Letter to S.I. Sokolov].
14. Manuscript Research Department of the Russian State Library (NIOR RGB). Fund 120. Box 34. Markevich, B.M. (1882) *Pis'ma S.I. Sokolovu* [Letters to S.I. Sokolov].
15. Manuscript Research Department of the Russian State Library (NIOR RGB). Fund 120. Box 10. Unit 60. Subbotin, N.I. (1886) *Pis'mo M.N. Katkovu. 14 iyunya 1886 g.* [Letter to M.N. Katkov. June 14, 1886].
16. Manuscript Research Department of the Russian State Library (NIOR RGB). Fund 120. Box 3. Unit 14. Drashusova, E.A. (n.d.) *Pis'ma S.I. Sokolovu* [Letters to S.I. Sokolov].
17. Manuscript Research Department of the Russian State Library (NIOR RGB). Fund 120. Box 10. Unit 45. Sokolov, S.I. (n.d.) *Pis'mo E.M. Feoktistovu. Sankt-Peterburg* [Letter to E.M. Feoktistov. St. Petersburg].
18. Manuscript Research Department of the Russian State Library (NIOR RGB). Fund 120. Box 55. Unit 16. *Gonorar postoyannym sotrudnikam "Moskovskikh vedomostey" za 1886 g.* [The salary of the permanent employees of Moskovskie vedomosti for 1886].
19. Mironov, B.N. (2014–2015) *Rossiyskaya imperiya: ot traditsii k modernu. V 3-kh tt.* [The Russian Empire: from tradition to modernity. In 3 vols]. St. Petersburg: Dm. Bulanin.
20. Manuscript Research Department of the Russian State Library (NIOR RGB). Fund 120. Box 10. Unit 47. Sokolov, S.I. (1881) *Pis'mo M.N. Katkovu. Moskva. 18 iyulya 1881 g.* [Letter to M.N. Katkov. Moscow. July 18, 1881].
21. Delyanov, I.D. (1923) *Pis'mo K.P. Pobedonostsevu. 3 oktyabrya 1887 g.* [Letter to K.P. Pobedonostsev. October 3, 1887]. In: *K.P. Pobedonostsev i ego korrespondenty. Pis'ma i zapiski* [K.P. Pobedonostsev and his correspondents. Letters and notes]. Moscow; Petrogrd: Gosudarstvennoe izdatel'stvo.
22. Manuscript Research Department of the Russian State Library (NIOR RGB). Fund 224. Box 1. Unit 18. Vasil'ev, N.V. (1887) *Pis'mo S.A. Petrovskomu. 1 oktyabrya 1887 g.* [Letter to S.A. Petrovsky. October 1, 1887].
23. Pazukhin, A.D. (1923) *Pis'mo K.P. Pobedonostsevu* [Letter to K.P. Pobedonostsev]. In: *K.P. Pobedonostsev i ego korrespondenty. Pis'ma i zapiski* [K.P. Pobedonostsev and his correspondents. Letters and notes]. Moscow; Petrogrd: Gosudarstvennoe izdatel'stvo.
24. Manuscript Research Department of the Russian State Library (NIOR RGB). Fund 120. Box 56. Unit 12. *Raspiski i scheta iz sobraniya M.N. Katkova* [Receipts and invoices from the collection of M.N. Katkov].
25. Abramkin, V. & Dymshits, A. (1931) *U istokov revolyutsionnogo marksizma: iz istorii zhurnala "Nachalo", 1899 g.* [At the origins of revolutionary Marxism: from the history of the journal "Nachalo", 1899]. *Zvezda*. 3.
26. Rubakin, N.A. (1964) *Iz istorii bor'by za prava knigi: Florentiy Fedorovich Pavlenkov* [From the history of the struggle for the rights of the book: Florentiy Fedorovich Pavlenkov]. *Kniga: issledovaniya i materialy*. 9.
27. Bonch-Bruevich, V.D. (1951) *Moe pervoe izdanie: iz moikh vospominaniy* [My first edition: from my memories]. *Zven'ya*. 8.
28. Bonch-Bruevich, V.D. (1968) *Iz vospominaniy o Mamine-Sibiryake* [From memories of Mamin-Sibiryak]. In: Bonch-Bruevich, V.D. *Vospominaniya* [Memories]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
29. Gilyarovskiy, V.A. (1999) *Moskva gazetnaya* [Newspaper Moscow]. In: Gilyarovskiy, V.A. *Sobranie sochineniy: V 4 t.* [Works: in 4 vols]. Vol. 3. Moscow: Poligrafresursy.
30. Manuscript Research Department of the Russian State Library (NIOR RGB). Fund 120. Box 10. Unit 46. Sokolov, S.I. (1811) *Pis'mo S.P. Katkovoy. Moskva. 11 yanvarya 1811 g.* [Letter to S.P. Katkova. Moscow. January 11, 1811].

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

DOI: 10.17223/19986645/49/14

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЮЖЕТИКИ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
ОБЗОР ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СЮЖЕТОЛОГИЯ / СЮЖЕТОГРАФИЯ-4»
(г. Новосибирск, Институт филологии СО РАН, 16–18 мая 2017 г.)**

16–18 мая 2017 г. в Институте филологии СО РАН (ИФЛ СО РАН) прошла четвертая Всероссийская научная конференция «Сюжетология / сюжетография-4», посвященная памяти Елены Константиновны Ромодановской (1937–2013) – члена-корреспондента РАН, директора Института филологии СО РАН с 1998 по 2012 г., заведующей сектором литературоведения (обзор первой конференции «Сюжетология / сюжетография» см. в работе [1. С. 254–266]).

Заседание открыл директор ИФЛ СО РАН доктор филологических наук И.В. Силантьев. Приглашая участников конференции почтить память Е.К. Ромодановской, он отметил, что в секторе литературоведения ИФЛ СО РАН активно развиваются все те направления, которые были определены Е.К. Ромодановской, а поскольку круг этих направлений широк и разнообразен, то от конференции логично ожидать, что будут затронуты многие литературоведческие проблемы, вызывавшие живой интерес и представлявшие большую ценность для Елены Константиновны.

Конференция началась с выступлений сотрудников сектора археографии Института истории СО РАН (ИИ СО РАН), с которыми Е.К. Ромодановскую связывали десятилетия тесного научного сотрудничества, и ее учеников. Темы докладов первой части пленарного заседания отразили интересы Е.К. Ромодановской, связанные с древнерусской литературой и становлением литературы Нового времени. В докладе **Л.И. Журовой** (Новосибирск, ИИ СО РАН) «Бытовизм в событийном ряду сибирских летописей» были отмечены заслуги Е.К. Ромодановской в изучении сибирского летописания. Доклад посвящался исследованию проблемы бытовизма как нового явления литературы XVII в. и его проявлению в сибирском летописании, что связано с нарождающимся интересом к человеку в его повседневной жизни. В строении сибирских летописей, по мнению докладчицы, нужно отметить такую особенность, как сочетание сведений об административном управлении и известий, отразивших событийный ряд из истории Сибири. Вкрапление жизненных реалий создает бытовую историю осваиваемой сибирской земли. Известия сибирского летописания содержат микросюжеты, построенные на бытовых сценках. Анализ статей о пожарах, конфликтах, экстраординарных случаях из жизни воевод позволяет сделать вывод об особенностях хроникального типа

сюжета в сибирских летописях. Фактически все его эпизоды построены на драматических ситуациях, на перипетиях судьбы служилого человека. Каждый эпизод содержит фабулу еще не сформировавшегося сюжета бытовой повести.

Т.И. Ковалева (Новосибирск, ИФЛ СО РАН) в докладе «Тема покаяния грешника в Киево-Печерском патерике» представила тему покаяния грешника организующим началом Киево-Печерского патерика. Эта тема, берущая начало в Библии, с одной стороны, побуждает авторов выстраивать сочинение по принципу евангельской проповеди, для чего в качестве дидактического воздействия на реципиента используется притча, с другой – влияет на сюжетное оформление отдельных рассказов и патерикового ансамбля в целом, где основой становится сюжетная схема, характерная для житий «грешных святых». Таким образом, отсылая читателя к контексту евангельских притч и шире – тексту Библии, создатели патерика впервые выстраивают «русскую версию» спасения грешной души.

Совместный доклад **Л.В. Титовой и Т.А. Махновец** (Новосибирск, ИИ СО РАН) «О некоторых особенностях русской повести XVII в.» был сделан на материале «Беседы отца с сыном о женской злобе» и повестей о хмеле. Рассматривалось одно из направлений, по которому шло формирование и развитие демократической повествовательной прозы XVII в., – создание повестей на основе дидактических, нравоучительных слов. Был показан начальный этап перехода старинной учительной литературы в разряд беллетристики.

С.К. Севастьянова (Рубцовск, Новосибирск, ИФЛ СО РАН) в докладе «Тема сердца в сборнике “Великое зеркало” и ее интерпретация в агиографическом нарративе об антиохийском епископе Игнатии Богоносце» обратилась к одной из сквозных тем переводного сборника «Великое Зерцало» (конец XVII в.), исследовав ее отражение в агиологическом нарративе об антиохийском епископе Игнатии Богоносце. Докладчица выявила круг русскоязычных литургических и агиографических текстов об Игнатии Богоносце, сложившийся в отечественной культуре к концу XVII в. Это богослужебные тексты, три жития – обширное минейное, дометафрастовское, имевшее русскую рукописную традицию, и два кратких, бытовавших в составе прологов. Ни один из упомянутых источников при описании мученической кончины антиохийского святителя не касался темы его сердца. В самом конце XVII в. предание об Игнатии Богоносце как дополнение к житию святого вошло в Четьи Минеи митрополита Димитрия Ростовского. Как сторонник православного вероучения владыка не отрицал заимствований из западной культурной традиции и находил способы интерполировать в православную конфессиональную культуру инославные идеи, укреплявшие ее. Он снабдил статью назидательным выводом, где смягчил физиологический аспект западнохристианской символики сердца, чуждый православному умозрительному пониманию образа. Предание о сердце Игнатия Богоносца из сборника «Великое Зерцало», обогатив агиологический нарратив об антиохийском епископе «сердечной» проблематикой, стало ключевым для глубокого осмысления мученического подвига святого и понимания его христологии. Благодаря интерпретации легенды Димитрием Ростовским в православной кардиогносии прочно закре-

пился укорененный в Священном Писании и святоотеческих учениях образ сердца как символ Христа, средоточие православной веры, «клеть» молитвы. Комплекс агиологических текстов об Игнатии Богоносце, дополненный повествованием о его сердце, позволяет трактовать декларируемое антиохийским епископом отождествление христианина с богоносцем как подобие Христа в широком экклезиологическом смысле, а образ сердца, наполненный Богом, – как символ Православия.

Выступление **Л.А. Курышевой** (Новосибирск, ИФЛ СО РАН) «Еще раз о пушкинской записи народной сказки о мертвой царевне» было посвящено уникальной находке – рукописной «Повести о некоем царе и о дочери его» (РНБ, собрание И.А. Шляпкина), не упоминавшейся ранее исследователями рукописной традиции XVII в. В результате сопоставления пушкинской записи народной сказки типа АТ 709 «Волшебное зеркало (мертвая царевна)» с новонайденной рукописной повестью конца XVII – начала XVIII в. и другими литературными вариациями сказочного сюжета о мертвой царевне XVIII в. был установлен ранний вариант сказочного сюжета АТ 709 на русской почве. Его отличительными чертами являются: появление персонажей-нищих, которые в позднейших вариантах функционально замещены волшебным зеркалом, наличие дополнительного эпизода о победе девушки с помощью хитрости над неприятелями братьев в образах змея либо других богатырей, а также таких деталей, как отравленная рубашка, надпись на гробнице. В ходе обсуждения А.Л. Топорков посоветовал докладчице посмотреть сюжет о девице и змее в указателе сюжетов быличек (так как в указателе по славянской сказке аналогичного сюжета нет), чтобы дополнить представления о фольклорном контексте змееборческой части сюжета о мертвой царевне.

Доклад **М.Н. Климовой** (Томск) «Книга Ионы в литературном процессе: художественные стратегии» был сделан в жанре истории одного сюжета, виртуозно проведенного от древности до современности. Помимо пересказов Книги Ионы для детей и взрослых, влияние сюжета «о пророке и ките», его идей, мотивов и образов обнаружено во многих явлениях литературы – от памятников агиографии и литургической поэзии до современного метаромана, от очерка и стихотворения до детской сказки и юморески. Докладчица размышляла над тем, какие художественные стратегии заложены в Библейском тексте и как они развивались писателями последующих веков. Из русских авторов в этой связи были названы А.С. Пушкин, Н.С. Лесков, А.П. Чехов, И.А. Бунин и др.

В область научных интересов Е.К. Ромодановской входила не только древность. Более 20 лет она занималась вопросами сюжетологии и сюжетографии. Именно Елена Константиновна была у истоков идеи создания «Словаря сюжетов и мотивов русской литературы», работа над которым продолжается в Институте филологии СО РАН по сей день. Все дальнейшие доклады, заслушанные на заседаниях, так или иначе были связаны с темой сюжетов, мотивов, наррации в целом.

Начнем с теории наррации и сюжетологии. **В.М. Лурье** (Санкт-Петербург, НИУ ВШЭ; Scrinium) выступил с докладом «Проблема идентичности в логике нарратива». Проблема идентичности в нарратологии не имеет

особенной остроты при анализе художественных произведений, – считает исследователь, – разве что в ситуациях вроде сравнения романа и его экранизации, когда уместно обсуждать «достоверность» передачи образов вымышленных героев. Но зато она встает в полный рост при анализе исторических нарративов: насколько герои историка написаны «адекватно»? К Аристотелю восходит определение идентичности как тождества признаков. На практике оно сводится к обсуждению только некоторых из них, избираемых в качестве определяющих. Однако исчерпывающий список значимых признаков невозможно построить в принципе, и поэтому идентичность как таковая остается иррациональной, т.е. не разлагаемой на признаки. Об этом писали современные логики (особенно Е.И. Lowe, Н.-Н. Castañeda), но это видно и в художественных произведениях. В одном из «Случаев» Даниила Хармса (1934) Гоголь спотыкается о Пушкина, а Пушкин о Гоголя. Идентичны ли эти Пушкин и Гоголь своим историческим прототипам? Это можно проверить, заменив в пьесе Хармса имена собственные на индексикалы (напр., *X* и *Y*). Рассказ теряет смысл. Значит, если в пьесе Хармса есть некий смысл, то он опирается на некое отношение тождества между реальной и воображаемой парой Пушкина и Гоголя, одновременно с их очевидным различием. Логическая структура в данном случае сходна со структурой поэтических тропов и базируется на паранепротиворечивой логике, допускающей одновременную идентичность и различие двух пар Пушкиных и Гоголей. Невозможность убрать эти имена собственные из пьесы Хармса имеет ту же природу, что и невозможность пересказа лирического стихотворения прозой: в том и другом случае исчезает противоречие между тождеством и различием сопоставляемых логических объектов, так как тождество заменяется более тривиальными и поэтому эпистемологически менее ценными отношениями сходства или смежности. Но в реальной жизни подобная «поэзия» неустранима ни из исторического, ни даже из естественно-научного дискурса. Между Пушкиным и Гоголем Хармса и академического литературоведения не пропасть, а континуум.

За рамки словесного искусства в область визуального была выведена проблема сюжета в докладе **И.В. Силантьева** «Поэтика сюжета в фотографическом цикле А. Картье-Брессона “A propos de Paris”». Объектом сюжетологического анализа выступила фотография модерна. Было показано, что степень фабульности и сюжетности фотографии модерна зависит от ее общего конвенционального коммуникативного статуса – документального или художественного. Фабульность документальной фотографии ставит в ее центр естественные объекты как таковые и естественные отношения между этими объектами, в том числе событийные отношения. Сюжетность художественной фотографии преодолевает ее изначальную естественную объектность и выводит фотографию на уровень собственно формы объектов и формальных отношений между формами объектов, тем самым в известной мере отчуждая форму от самих объектов. Сочетание фабульного объектного вектора и сюжетного формального вектора приводит к образованию феномена фотографического образа. Смысловой динамический потенциал этого образа составляет конструктивное противоречие реальности объекта и внереальности его формы. Напротив, фотография постмодерна выходит за рамки своей природы и увязывает себя с текстом. Тем самым от поэтики визуального образа по-

стмодернистская фотография переходит к риторике вербального концепта и становится несамостоятельной вне его продекларированного поля. В докладе были изложены результаты выборочного анализа фотографий Анри Картье-Брессона из тематического цикла, опубликованного в его книге «A propos de Paris».

Задачей **Г.А. Жиличевой** (Новосибирск, НГПУ) («Нарративные функции металеписа в романе постсимволизма») стало рассмотрение нарративных функций металеписа (термин Ж. Женетта) – приема, демонстрирующего пересечение границы между реальностью героев и миром повествователя. Г.А. Жиличевой были изучены случаи включения в наррацию от третьего лица фрагментов «я-повествования» («авторских вторжений») и зависимость их содержания от концепции личности, актуализированной в произведении. Материалом для исследования послужили романы К. Вагинова, В. Катаева, Б. Пастернака, принадлежащие к разным парадигмам художественности (соц-реализму, авангардизму, неотрадиционализму). В докладе было показано, что семантический потенциал металеписов (самоутверждение авторского «я» в случае Вагинова, исчезновение авторского «я» в случае Катаева, конвергенция сознаний автора и героя в случае Пастернака) зависит от нарративной стратегии – постулирования субъекта, объекта, адресата дискурса. Металепис становится ярким способом презентации активности нарратора и индексирует коммуникативные модели разного типа, синхронно сосуществующие в литературе постсимволизма. Кроме теоретических положений, доклад запомнился яркими примерами из авангардной прозы.

С вопросами теории был сопряжен доклад **С.А. Демченкова** (Омск, ОмГУ) под названием «Нелинейный сюжет в литературе и искусстве рубежа XX–XXI вв.». Для С.А. Демченкова особый интерес представляют опыты по созданию произведений, в которых сюжетная нелинейность (в духе постструктуралистского понимания текста) реализована на уровне «физической» структуры текста. В докладе были рассмотрены основные этапы становления «физически» нелинейных повествовательных моделей – от целостных и завершенных произведений, предполагающих множество альтернативных «траекторий прочтения» (Х. Кортасар. «Игра в классики», 1967), до текстов, не имеющих устойчивой структуры и свободно переструктурируемых читателем (Р. Федерман. «На ваше усмотрение», 1976), и принципиально разомкнутых интерактивных гипертекстовых конструкций, стирающих грань между читателем и скриптором (Р. Лейбов. «РОМАН», 1998).

Обобщающе-публицистический оттенок имел доклад **О.А. Богдановой** (Москва, ИМЛИ РАН) «Мотив "утверждения земли" в русской литературе 1917–1920-х гг.», сделанный на материале художественной прозы, поэзии и эссеистики Д.С. Мережковского, С.Н. Булгакова, М.М. Пришвина, А.М. Ремизова, Вяч. И. Иванова, С.Н. Дурылина, М.А. Волошина, А.А. Блока.

Далее последовательно изложим выступления, касавшиеся сюжетики и мотивики лирики, эпоса и драмы. Доклад **А.Л. Топоркова** (Москва, ИМЛИ РАН) был посвящен мотивам русских заговоров в поэзии А.А. Блока. В процессе работы над статьей «Поэзия заговоров и заклинаний» (1906) поэт познакомился с разнообразным корпусом русских, украинских и белорусских заговоров, а также с основными научными работами о заговорах и смежных

жанрах фольклора. В нескольких стихотворениях, написанных в конце сентября – октябре 1906 г., можно усматривать следы работы А.А. Блока над названной статьей и его знакомство с текстами заговоров и исследованиями фольклористов, а также с этнографическими очерками о магии и колдовстве: «Русь» (24 сент. 1906), «Сын и мать» (4 окт. 1906), «Угар» (окт. 1906), «Тишина цветет» (окт. 1906), «Ищу огней – огней попутных...» (октябрь 1906). Анализируя фрагменты заговоров, которые А.А. Блок привел в статье, докладчик пришел к заключению, что внимание поэта особенно привлекли повторяющиеся формулы выхода из дома и отправления в путь, одевания небесными светилами, а также обращение по имени к заре как к одушевленному существу. Все эти элементы нашли отражение в поэтическом творчестве А.А. Блока, но вопрос о том, как мотивика заговоров претворилась в поэтике Блока, в докладе не рассматривался.

В основу доклада **Ю.В. Шатина** (Новосибирск, ИФЛ СО РАН) «Мотив невестречи в “Попытке комнаты” М. Цветаевой и “Спекторском” Б. Пастернака» было положено столкновение мифопоэтик в двух произведениях крупнейших поэтов XX в., в центре которых – мотив «невестречи». Высылая Пастернаку текст только что написанной поэмы, Цветаева просит его проверить «поэтическую достоверность каждой строки». Результатом проверки стал «Спекторский» с размышлением о невестрече с живущей в эмиграции Цветаевой и использованием основных образов «Попытки комнаты» в качестве строительного материала. Вместе с тем Пастернак подчинил этот материал собственной мифопоэтике, чуждой, если не враждебной художественным принципам Цветаевой. Автор доклада полагает, что именно «Спекторский» положил начало борьбы Цветаевой с пониманием искусства Пастернаком. Ее особую неприязнь вызвали начальные строки поэмы: «Привыкши выковыривать изюм // Певучестей из жизни сладкой сайки...», отозвавшись резкой отповедью в финале поэмы «Автобус» (1936 г.), после которой творческая встреча двух поэтов стала невозможной. При том что их личные отношения после возвращения Цветаевой достаточно часто пересекались, а ее гибель стала одной из личных трагедий Пастернака.

К эпохе символизма возвращал доклад **Н.В. Налегач** «Мотив танца в лирике И. Анненского» (Кемерово, КемГУ), посвященный рассмотрению стихотворений, в которых образы и мотивы античной пляски, вальса и кэк-уока выполняют важную смыслообразующую роль. Историческая маркированность в поэтическом мире Анненского античных и современных танцев позволила выдвинуть предположение, что в авторском мировидении они становятся символами различных культурных эпох, воплощая в музыке и пластике глубинные ритмы, связующие человека с его временем. Так, головокружительный упоительный вальс, к которому мечтой устремлен лирический герой в стихотворениях «О нет, не стан» и «Дымы», сменяется динамичным и достаточно смешным кэк-уоком, отражающим судорожную ритмику современности. Однако танцоры, исполняющие вальс и кэк-уок, равно не замечают роковой предопределенности рисунка танца, что качественно отличает их от условных античных плясуньи из «Второго фортепьянного сонета», обретающих внутреннюю свободу от рока во внешней покорности ему. Тем самым любой танец невольно подталкивает человека к встрече с жизнью в ее непо-

средственности, несмотря на урбанизированную реальность, диктующую человеку самоопределение в роли демиурга, оборачивающееся в процессе танца одной из масок, спадающих в финале, что наиболее очевидно в стихотворении «Кэк-уок на цимбалах».

Продолжили тему лирической сюжетики **К.В. Абрамова** (Новосибирск, НГПУ), чей доклад «"Сон в летнюю ночь" Бориса Пастернака: темы и вариации» представлял собой глубокий просмотр мотивных связей цикла Пастернака «Сон в летнюю ночь» с мотивным контекстом книги стихов «Тема с вариациями», **Е.А. Денисова** (Новосибирск, ИФЛ СО РАН), анализировавшая мифологический сюжет о голубом цветке в сборнике Тэффи «Семь огней», выявляя связи сборника с античной мифологией, с мифом об Амуре и Психее, с произведениями писателей-романтиков, в первую очередь с романом Новалиса «Генрих фон Офтердинген», и с современными Тэффи произведениями писателей Серебряного века, **Е.А. Сафонова** (Томск, ТГПУ), говорившая об оппозиции «Россия – Запад» в художественном мире Н. Оцупа. Завершалась тема лирических сюжетов и мотивов современной поэзией, представленной **Н.А. Непомнящих** (Новосибирск, ИФЛ СО РАН) в докладе «Мотив *воля к смерти* в творчестве Бориса Рыжего», где были показаны способы и приемы реализации конструируемого Б. Рыжим авторского мифа о своем посмертном поэтическом величии. Умиранию в художественном мире Бориса Рыжего придаются сверхценностные смыслы, порождая поэтические рефлексии на тему преждевременной смерти, где ключевое место занимает перебор вариантов возможной гибели, иницируя обращение к жанрам элегии и поэтического завещания. Возможная смерть и последовавшее за ней общественное признание поэта в форме мемориальных практик становятся постепенно раскручиваемым поэтическим сюжетом во всем творчестве Рыжего.

Не менее разнообразно была представлена на конференции и сюжетика прозы. Отметим показательную тенденцию сюжетно-мотивных конференций последних лет: на них становится все меньше докладов на темы прозы XIX в., доминантная позиция непреднамеренно сдвинута к XX в. И все-таки несколько интересных выступлений было посвящено литературе XVIII и XIX вв.: **О.А. Фарафоновой** (Новосибирск, НГПУ), докладывавшей об автобиографических «Записках» Г.Р. Державина и его «Объяснениях на сочинения» с точки зрения единства документального и поэтического сюжетов, **Л.Н. Синяковой** (Новосибирск, НГУ), отметившей в докладе «Типы жанровой событийности в рассказах А.П. Чехова 1887 г.: новелла и рассказ ("Недоброе дело", "Происшествие", "Старый дом")», что три выбранных произведения представляют собой повествования с разной степенью жанровой узнаваемости и, соответственно, разными формулами событийности. Сюжеты XIX в. в литературе XX исследовали **О.А. Колмакова** и **Ч. Ван** (Улан-Удэ, БГУ) («Повесть Н.В. Гоголя "Вий" в русской литературе конца XX в.: мотив бесовского вторжения в пьесе Н.Н. Садур "Панночка" и рассказе М.Ю. Елизарова "Госпиталь"») и **А.В. Скрипник** (Томск, ТГПУ) («Сюжетообразующая роль городского пространства: Петербург Н.В. Гоголя и Прага Ф. Кафки»). И уж совсем уникальными были доклады по беллетристике XIX в. **М.Ф. Климентьева** (Томск, Гуманитарный лицей) рассматривала ряд повес-

тей и рассказов А.Ф. Вельтмана с позиций их жанрово-композиционной структуры и пришла к выводу, что в малой прозе писателя создаются сюжетные паттерны, схемы-образы текста, имеющие природу пародии. **А.А. Пономарева** (Новосибирск, НГПУ) прочла доклад «"Жоржсандовский" сюжет в русской беллетристике середины XIX в.: закономерности ассимиляции». В докладе **А.Е. Козлова** (Новосибирск, НГПУ) «Проселочные дороги русской литературы: к вопросу о провинциальном романе XIX в.» провинциальный роман рассматривался как своеобразная форма времени, объединяющая два магистральных сюжета, связанных с фигурами российского Вертера и российского Жилблаза. Прослеживая историю провинциального романа через рефлексивное поле, выходящее за пределы вторичности, А.Е. Козлов показал, что «Мертвые души» Гоголя аккумулировали литературную традицию, повлиявшую на формирование особой для русской литературы формы романа, рассматриваемой на примере произведений Н.Д. Ахшарумова «Чужое имя», М.П. Стопановского «Обличители», Н. Данковского «Портретная галерея». Особое внимание было уделено роману Д.В. Григоровича «Проселочные дороги». Традиционно рассматриваемые в аспекте творческой неудачи как заведомо подражательное и вторичное произведение (более того, не переиздававшееся с конца XIX в.), «Проселочные дороги», по мнению докладчика, демонстрируют ряд оригинальных стратегий, актуализирующих не только поле вторичности, но и альтернативности. Особый интерес представляет мотив письма и писательства, реализованный в произведении через несколько гротескных фигур: Балахнова, Дрянкова, Чибезова. В выступлении проводится гипотеза, согласно которой роман Григоровича может быть прочитан как памфлет, в негативных красках описывающий литературную карьеру большинства современников автора, кроме того, сатирически изображающий судьбу самого писателя. Именно это металитературное рефлексивное измерение и определяет один из векторов изучения «проселочных дорог», т.е. беллетристической словесности русской литературы XIX в.

Переход к литературе XX в. отмечен двумя выступлениями, посвященными творчеству В. Набокова. Внимание **Е.Е. Анисимовой** (Красноярск, СФУ), выступившей с докладом на тему «"Мне вырвут все зубы": физиология и историософия в романе В. Набокова "Пнин"», было привлечено к важному нюансу смысловой кодировки и сюжетной структуры романа В. Набокова «Пнин» – систематическим повторам, связанным с образом зубов. Стоматологические коды романа были рассмотрены в широком контексте истории русской эмиграции первой волны и отечественной патографической культуры. В центре исследования находится прием остранения, направленный на тему утраты корней русскими эмигрантами, судьба которых на языке патографической образности метафоризируется как утрата больных зубов. Сквозной мотив, связанный с языком, с родной и иноязычной фонетикой и многими другими темами, позволил показать преломление историософии и идентичности Набокова на разноуровневых примерах структуры романа: рефлекс жанра баллады, двойничество, образы фрагментированных тел.

В докладе **Е.Г. Николаевой** (Новосибирск, НГПУ) «Металитературность сюжета в романах В. Набокова "Подвиг" и "Просвечивающие предметы"» романы В. Набокова были рассмотрены с точки зрения металитературности

их сюжета. Докладчица обозначила связи названных романов с поэзией трубадуров (Гильом Молинье), западноевропейской литературой XVII в. (Мольер, М. де Сюдери), творчеством Чехова и биографией Лермонтова.

Е.Н. Проскурина (Новосибирск, ИФЛ СО РАН) в докладе «"Биение сердца Москвы": к вопросу о параллелизме образа города и образа героини в сюжетной структуре романа А. Платонова "Счастливая Москва"» вела речь о скрытых в тексте романа соответствиях между городом Москвой и образом главной героини. Показаны разные способы, которыми автор рифмует образ Москвы Честновой с образом «новой Москвы», прежде всего, как смена сюжетной стратегии произведения отражается на переменах в образе и характере героини. В начале произведения «восходящая жизнь» Москвы Честновой служит метафорой новой строящейся советской столицы. В первых главах образ героини соответствует трафаретному образу, характерному для женского живописного портрета и кинематографа 1930-х гг., выполненного в духе соцреализма, где авторы должны были представить миру счастливую свободную советскую женщину. В самом ярком московском эпизоде романа – сцене бала «новых людей» – мерцает созвучие образа Москвы с образом Нового Иерусалима. Однако по ходу развития сюжета мотив дружеской сопричастности, маркирующий праздничный образ новой Москвы, все больше заменяется мотивом равнодушия людей друг к другу, что меняет лицо города, «отрекающегося от себя, бредущего вперед с неузнаваемым и молодым лицом». Так же отрекается от себя прежней – радостной и исполненной надежд на счастье – Москва Честнова, превратившаяся в одноногую «психичку Мусю» и стыдящаяся самой себя. Симптоматично, что ее образ исчезает с последних страниц романа, сменившись новой героиней – Матреной Чебуриковой, чей образ выписан в красках *злой жены*. На ее субституирующую функцию по отношению к Москве Честновой указывает совпадение начальных букв имени и фамилии. Так в тексте «фигурально» закрепляется семантика подмены: верха – низом, добра – злом, правды – ложью.

Доклад **А.Б. Борисовой** (Новосибирск, ИФЛ СО РАН) «Полижанровая структура "Поэмы мысли" А.П. Платонова» был посвящен жанровому своеобразию практически не исследованного литературоведами раннего рассказа писателя.

В выступлении **В.А. Боярского** (Новосибирск, НГПУ) «Два типа денди у Гайто Газданова» была поставлена проблема переделки незаконченного романа Г. Газданова «Алексей Шувалов» в повесть «Великий музыкант». Докладчик углубился в творческую историю двух текстов, отметив релевантную тему власти в них. Была высказана гипотеза, что сюжет «Алексея Шувалова» (в меньшей мере «Великого музыканта») определяется скрытой аллюзией главных персонажей на тип денди – в двух его трактовках, принадлежащих перу Бальзака и Бодлера. Осталось вопросом, почему понимание дендизма исчерпывалось столь узким и чисто французским аспектом.

Сюжетика прозы XX в. была затронута также в докладах **С.Ю. Чвертко** (Новосибирск, ИФЛ СО РАН) о готической традиции в новелле В. Брюсова «Сестры», **М.Л. Рогацкиной** (Смоленск, СмолГУ) «Сюжетная модель убийство женщины в рассказах И.А. Бунина», **М.В. Кошелевой** (Екатеринбург, УрФУ) «Мотив детства в творчестве писателей-младоземigrants» (рассмат-

ривалась проза В.С. Яновского и И.А. Болдырева), **Т.А. Загидулиной** (Красноярск, СФУ) «Символика образа авиатора в рассказах М. Зощенко 1920–1930-х гг.: *герой vs нищий*».

Широко были представлены исследования о прозе второй половины XX в.: **О.Е. Похаленков** (Смоленск, СмолГУ) обратился к военной прозе в докладе «Сюжетная модель *инициация* в художественной прозе о войне», посвященном компаративистскому анализу структуры образов героев в романе Эриха Марии Ремарка и в повести М. Горьцкого «На империалистической войне». В совместном докладе **А.И. Куляпина и Е.А. Худенко** (Барнаул, АлтГПУ) была продемонстрирована значимость сюжета «провинциал в столице» для творчества В.М. Шукшина. Показателен в контексте шукшинской биографии рассказ «Жена мужа в Париж провожала», где сюжетная линия «Москва – Париж», заданная заглавием, становится метафорой перехода за границу другого мира – мира смерти. Другая грань семиотического потенциала сюжета «провинциал в столице» актуализирована писателем в романе «Я пришел дать вам волю».

О современной прозе говорилось в докладах **Е.А. Полевой** (Томск, ТГУ) «Сотериологические мотивы в повести В. Сорокина “Метель”», **А.И. Пантюхиной** (Томск, ТГУ) «Мотив мученичества в романе В. Шарова “Воскрешение Лазаря”», **А.В. Мальковой** (Томск, ТГУ) «Мотив поиска женщины в романе В. Маканина “Андеграунд, или Герой нашего времени”», **И.С. Полторацкого** (Новосибирск, ИФЛ СО РАН) «Поэтика книги Виктора Иванова “Чумной Покемарь”», выявившего авторскую модель текстопорождения у новосибирского поэта и прозаика Виктора Иванова (1977–2015), чей текст, состоящий из дискретного множества нарративов, обретает целостность благодаря осуществлению конструктивных принципов орнаментальной прозы.

Теория драматической сюжетики представляется наиболее сложной и неразработанной. Исследованию этого вопроса посвятили свои работы Н.А. Муратова (Новосибирск, НГПУ), В.Е. Головчинер (Томск, ТГПУ), Т.Л. Воробьева (Томск, ТГУ). Доклад **Н.А. Муратовой** (Новосибирск, НГПУ) был озаглавлен «Травестия катастрофических сюжетов в драматургии А.П. Чехова», в нем шла речь о канонической, с точки зрения элементов драматической структуры, категории катастрофического. Отмечалось, что в случае верификации механизмов действия чеховских пьес обнаруживается срабатывание классических (и даже архаических) жанровых и структурных принципов; в том числе релевантны события финальной катастрофы, перипетий, маркирующих *перемену к несчастью*; комической катастрофы, которые лишь отчасти могут быть атрибутированы как комедийные или в контексте иронического остранения. В чеховской драме происходит перекодировка катастрофической событийности, и несчастье из компонента жанровой завершенности превращается в модально амбивалентное событие дискурса. **В.Е. Головчинер** в докладе «Мотив искушения в пьесе А. Вампилова “Прощание в июне”» был представлен не только мотив искушения, но и мотивный анализ пьесы в целом. Многообразные трансформации мотивов искушения, испытания, договора человека с дьяволом, разные фазы и стратегии их проявления определили полифоническую природу действия. Этот и другие обнаруженные докладчицей аспекты организации действия позволили сделать

вывод о том, что первая пьеса драматурга стала явлением неклассической художественной парадигмы, выражением которой в пору создания, в 1964 г., была эпическая драма. **Т.Л. Воробьева** (Томск, ТГУ) рассматривала мотив самозванства в русской комедии 1920-х гг.

Как особую группу хотелось бы выделить доклады, посвященные забытым именам в истории русской литературы, наследию сибирских писателей, доклады, включавшие комментаторские моменты. Е.К. Ромодановская была знатоком академических жанров литературоведения, высоко ставя комментарий и сам процесс введения в научный оборот новых памятников, фактов, персоналий. Одной из любимых ею тем была «литература и документ». С памятью о той части научного наследия Е.К. Ромодановской, где разрабатывались проблемы «литература и документ», «литература и жизненный факт», связал свой доклад «Автобиографическая проза Леонида Мартынова: К проблеме комментария» **И.Е. Лошилов** (Новосибирск, ИФЛ СО РАН). Автобиографические новеллы, которые писал поэт Л.Н. Мартынов (1905–1980) в 1960–1970-е гг., частично были собраны автором и изданы в 1974 г. под названием «Воздушные фрегаты: Книга новелл». Название отсылало к фигуре поэта и филолога Георгия Маслова, и через него – к наиболее интересному, раннему периоду творчества самого Мартынова, которого в 1920-е гг. называли «поэтом-бродягой» (М. Шкапская) и «сибирским Артюром Рембо». Еще один подкорпус автобиографических новелл был подготовлен редактором В.В. Сякиным и издан под названием «Черты сходства» в 1982 г., посмертно. Три с небольшим десятка новелл стали доступны читателю лишь в 2008 г., когда вышла подготовленная наследниками поэта Г.А. Суховой-Мартыновой и Л.В. Суховой книга «Дар будущему». Здесь же приоткрылся авторский замысел: создать книгу из сотни главок-новелл «Стоглав», название которой обыгрывало и буквализировало бы название памятника древнерусской словесности и государственной жизни XVI в. Автобиографическая проза Мартынова, ожидающая полного и комментированного издания, развертывает подлинно энциклопедическую панораму литературного быта Сибири 1920-х гг.; она содержит множество подробностей жизни и быта первого советского десятилетия, утраченных памятью читателя будущих поколений по разным – и не всегда прямо связанным с политикой и идеологией – причинам. Революция и гражданская война сделали поэтов и художников поколения Мартынова носителями уникального жизненного и психологического опыта. «Поиски утраченного времени» возвращают поэта в 1970-е гг. к определению «Мы футуристы невольные...» из стихотворения 1921 г. (впоследствии неоднократно отредактированного автором в соответствии с изменившимися «правилами игры» в советской литературе). «Будущее зацвело» не совсем так, как это представлял себе поэт во дни юности; в исторической и биографической перспективах смысловой акцент удачно найденной строки-формулы в поздней прозе перенесен с *футуризма* на слово «невольные». В основной части доклада предпринята попытка дать на основе материалов печати 1920-х гг. и архивных документов по возможности полный комментарий к микросюжетам из трех новелл: «Племянник мужика», «Мокрый форштадт» и «Потерянная рукопись». Поиск сведений о создателе курьезного пропагандистского шрифта «Смычка» И.М. Горбунове и прояснение биобиблиографических деталей,

связанных с поэтами Е.А. Мининым, Н.М. Аренсом (Аристовым) и А.Е. Адалис (Ефрон), может «разрастись» в несколько отдельных историко-литературных статей. В составе комментированного издания результаты подобных поисков должны быть «сжаты» в компактные справки, необходимые сегодняшнему читателю для понимания обстоятельств культуры, литературы и быта 1920-х гг., вызвавших к жизни новеллы-воспоминания Л.Н. Маарынова.

Доклад **Л.П. Якимовой** (Новосибирск, ИФЛ СО РАН) «Остранение как предмет художественного изображения в творчестве Геннадия Гора» был обращен к началу творческого пути Г. Гора (1907–1981), выпавшему на 1920-е гг., когда писатель был творчески связан с обэриутами, с кругом К. Вагинова, Д. Хармса, Л. Добычина, с русской формальной школой, с теоретическими исканиями В. Шкловского. С точки зрения докладчицы, особенно близкой художественному почерку раннего Г. Гора оказалась поэтическая фигура остранения. Главное внимание сосредоточено в выступлении на цикле ранних рассказов Гора – «Маня», «Окно», «Чайник», «Стакан», где живая реальность предстает остраненным взглядом не самого человека, а его «заместителя» из окружающего предметного мира. Дублерами человека в ранней прозе Гора могли стать, например, окно, чайник или стакан. Борьба с «формализмом» и «безыдейностью», ставшая в советское время нормой литературной политики, с течением времени заставила Г. Гора отказаться от остраненного взгляда на советский мир. Однако это не помешало ему сохранить верность остранению как ведущей фигуре поэтической речи на протяжении всего творческого пути. В поздние советские годы Г. Гор известен больше как фантаст, а также как автор, отдавший дань так называемой инонациональной теме – изображению жизни и исторических судеб малых народов Сибири: нивхов, эвенков, ороков и др. («Ланжеро», «Неси меня, река», «Юноша с далекой реки»). Во всех своих произведениях Г. Гор, по выражению А. Битова, явил яркий пример «победы формы над содержанием». Имя Г. Гора было знакомо не всем слушателям, поэтому обращение (вслед за А. Битовым, переиздавшим недавно избранные произведения писателя) к его творчеству вызвало интерес у аудитории.

О другом незаслуженно забытом авторе говорила **Е.Ю. Куликова** (Новосибирск, ИФЛ СО РАН) в докладе «Абиссинские новеллы Павла Булыгина», где была рассмотрена тема экзотических стран в творчестве Павла Булыгина – поэта и прозаика, покинувшего Россию после революции. Булыгин жил в Абиссинии в 1924–1933 гг. В Аддис-Абебе он состоял инструктором пехоты армии Негуса, работал управляющим кофейной плантацией в Дубоне и во французской железнодорожной компании, расследовал дело об убийстве императорской семьи, чему посвящена его книга «Убийство Романовых. Достоверный отчет», писал стихи, а также создал ряд очерков – «Современная Абиссиния», «Русские в Абиссинии», «Жизнь русских в Абиссинии». Об Абиссинии Булыгин писал, вдохновленный Африкой Гумилева – одного из своих любимых поэтов. В поэзии Гумилева Булыгина привлекает созданный поэтом под влиянием французской поэзии и по собственным путевым впечатлениям оригинальный образ Востока и Африки: Гумилев формирует новые концепты русского исторического самосознания, совмещающие в себе

как западные, так и восточные черты. В докладе отмечается обращение Гумилева к фовистам (А. Матиссу, А. Дерену), «дикая» выразительность красок которых апеллировала к «дикому» началу в человеке, поворачивала его к миру первозданной природы. Описывая быт абиссинцев, Гумилев вводит отчетливые штрихи *другого* мира, где живут *другие* люди, подчеркивает их сознание, отличное от цивилизованного человека. Это ощущение вербального «фовизма» уловил Булыгин и отразил в своих очерках. Е.Ю. Куликова подчеркнула, что для Булыгина важны гумилевский подтекст, почти мистическая канва образов, сюжетные повороты. Анализируя его очерки, такие как «Соу Джин» («Человек-гиена». Очерк из абиссинской жизни), «Обезьянья царица», «Занду и Шанко», докладчица рассматривает их в контексте лирики Гумилева (стихотворения «Гиена», «Ужас») и новеллы «Черный Дик». На примере судьбы и творчества Булыгина показан «маргинальный путь» русской литературы, отправленной в изгнание. Выступление сопровождалось эффектной презентацией: демонстрировались картины фовистов и европейская гравюра XVI–XVIII вв. на африканские темы.

Если вернуться от литературы эмиграции к первым десятилетиям XX в. в истории русской литературы, то стоит отметить доклад **П.В. Маркиной** (Барнаул, АлтГПУ) «Имагологические мотивы в произведениях Антона Сорокина», где были представлены результаты анализа около тридцати «киргизских рассказов» писателя. Антон Семенович Сорокин (1884–1928), уроженец казахского Павлодара, жил и работал в Омске; историком литературы он известен в первую очередь как скандалист-мистификатор. Одной из литературных масок Сорокина был образ «певца инородцев». Константы степной (региональной и евразийской) темы в «рассказах-схемах» о жизни казахов раскрываются благодаря обращению к мотивам прекращения (обрыва) степной песни, противоборства «театра» (в европейском смысле) и жизни, появления железной фауны, уничтожения городом степи, предательства, потери сына и др. Поэтика и эстетика «примитива» в рассказах Сорокина возникли и развивались под влиянием характерных тенденций эпохи в русской и инациональной культурах. Отчетливо различимо и влияние фольклора (мотивы «пира смерти», «смерти-жатвы») на Сорокина. В рассказах советского периода провозглашается «торжество новой жизни». С одной стороны, это дань эпохе (зеленая трава становится красной, отражая «идеологический дальтонизм» времени), с другой – своеобразное пародирование мотива «обретения утраченного рая», когда даже характерные для Сорокина inferнальные оттенки в изображении города и городской цивилизации искусно нивелируются мотивом театральной и кинематографической иллюзии.

Из малоизученных писателей был упомянут также и В.Перелешин, ему был посвящен доклад **Е.В. Капинос** (Новосибирск, ИФЛ СО РАН), сравнившей один из самых выразительных эпизодов мемуарной прозы В. Перелешина «Два полустанка» – двойное самоубийство поэтов Г. Гранина и С. Сергина – с самоубийством Ольги в романе А. Мариенгофа «Циники». Мотив (разбитой) чашки сопутствует сюжетам самоубийства как в художественном тексте, стилизованном под документальный (Мариенгоф), так и в мемуарном с художественным уклоном (Перелешин).

Из поля зрения участников конференции не были исключены и литературы народов Сибири. Доклад **Е.В. Королевой** (Новосибирск) «Реконструкция этнической истории в литературном наследии алтайского писателя Бронтоя Бедюрова» был посвящен современному писателю, который более тридцати лет собирал, систематизировал и публиковал исторические предания, легенды и песни алтайского народа, сопровождая собрания авторскими эссе, где он в художественной форме повествует о средневековой и древней истории Алтая. В результате многолетней писательской и просветительской деятельности Бедюрову удалось вернуть в живое употребление на алтайском языке термины, обозначающие философские, административные, космогонические понятия, что позволило ему осуществить переводы произведений современных писателей без потери смысловой ценности. Через свое творчество писатель транслирует в литературное пространство России традиции тюркомонгольской народной литературы, а также особенности восприятия истории и географии у коренных кочевых народов Евразии.

В докладе **И.В. Булгутовой** (Улан-Удэ, БГУ) «Мотив возвращения в прозе Балдана Ябжанова» рассматривались произведения современного бурятского писателя Б. Ябжанова (1927–1996), в которых мотив возвращения имеет сюжетообразующее значение, являясь завершающим звеном циклической сюжетной схемы «утрата – поиск – обретение». И.В. Булгутовой были установлены мифологическая семантика мотива возвращения и его глубинные истоки в сфере бессознательного в произведениях, где реализуются архетипические образы, в частности архетип матери. Реализация идеи изначального тождества в мифосознании определяет связь мотива возвращения с мотивом смерти. Мотив возвращения в прозе Б. Ябжанова получает воплощение в контексте нравственно-этических исканий автора как выражение кармической предопределенности событий. Как показано в докладе, в прозе Б. Ябжанова мотив возвращения определяется в контексте мифопоэтических традиций бурятской литературы.

В русле не менее интересной темы, чем сюжетно-мотивная, лежал доклад **Е.А. Макаровой** (Томск, ТГУ), касавшийся структуры книги. Доклад озаглавлен «Своеобразие жанра сибирского “ученического сборника”»: художественный и публицистический аспект». В нем рассматривался феномен «ученического» сборника на разных исторических и культурных этапах его развития. Ученические сборники появляются в Сибири еще в первой половине XIX в., но настоящим временем расцвета для них станет начало XX в. Это закономерно ведет к модификации жанра (сборника, альманаха, журнала) и формированию более широкой читательской аудитории, связанной не только с ученической, гимназической, но и училищной, студенческой, рабфаковской средой. Своеобразием такого рода издательской продукции становится его документальная основа с активным внедрением художественного материала и своеобразным авторским корпусом.

Акцент на сюжетно-жанровых проблемах был сделан **П.А. Моисеевым** (НИУ ВШЭ–Пермь) в докладе «Религиозные истоки сюжетной схемы детектива». Автором выдвигалась гипотеза о связи между христианской картиной мира и природой детективного жанра.

Благодаря усилиям всех ее участников, конференция стала достойной данью памяти Е.К. Ромодановской и сделала совершенно очевидным то, что историко-литературные и теоретические интересы сформировали магистральные линии развития научной деятельности коллектива ИФЛ СО РАН и оказали влияние на тех, кто с этим коллективом сотрудничает.

Литература

1. Проскурина Е.Н., Непомнящих Н.А. Всероссийская научная конференция с международным участием «Сюжетология / сюжетология», Новосибирск, 13–15 мая 2014 года // Сибирский филологический журнал. 2014. № 3. С. 254–266.

Е.В. Капинос, Е.Н. Проскурина, И.В. Силантьев

TOPICAL PROBLEMS OF PLOT POETICS OF RUSSIAN LITERATURE. REVIEW OF THE ACADEMIC CONFERENCE “STUDIES IN THEORY OF LITERARY PLOT AND NARRATOLOGY – 4” (Russian Federation, Novosibirsk, Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, May 16–18, 2017).

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 49. 222–236. DOI: 10.17223/19986645/49/14

Elena V. Kapinos, Elena N. Proskurina, Igor V. Silantev, Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: dzerv@mail.ru / motive@philology.nsc.ru / silantev@philology.nsc.ru

Keywords: plot, motive, genre, composition, theory of literary plot.

The article contains an analytical chronicle of the conference “Studies in Theory of Literary Plot and Narratology – 4” held at the Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences in May 2017. The problems of the theory of plot and motive, interaction of plot and genre, interaction of plot and composition, history of plots of Russian literature, genesis and evolution of frequent and rare plots, plots of insufficiently studied writers and plot poetics of Siberian literature were considered at the conference.

References

1. Proskurina, E.N. & Nepomnyashchikh, N.A. (2014) The All-Russian Scientific Conference with International Participation “The theory of the plot” (Novosibirsk, May 13–15, 2014). *Sibirskiy filologicheskii zhurnal – Siberian Journal of Philology*. 3. pp. 254–266. (In Russian).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АЙЗИКОВА Ирина Александровна – д-р филол. наук, зав. кафедрой общего литературоведения, издательского дела и редактирования Томского государственного университета.
E-mail: wand2004@mail.ru

АЛЕКСЕЕВ Павел Викторович – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка и литературы Горно-Алтайского государственного университета.
E-mail: conceptia@mail.ru

АНДРЕЕВА Светлана Леонидовна – канд. филол. наук, доцент кафедры социологии, документоведения и архивоведения Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова.
E-mail: 216zamsv@mail.ru

АНИСИМОВА Евгения Евгеньевна – д-р филол. наук, доцент кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации Сибирского федерального университета (г. Красноярск).
E-mail: eval393@mail.ru

БАЛЪ Вера Юрьевна – канд. филол. наук, ст. преподаватель кафедры общего литературоведения, издательского дела и редактирования Томского государственного университета.
E-mail: balverbal@gmail.com

БЕДРИКОВА Майя Леонидовна – канд. филол. наук, доцент кафедры языкознания и литературоведения Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова.
E-mail: mlbedrikova@gmail.com

ЕВСЕЕВА Ирина Владимировна – д-р филол. наук, зав. кафедрой русского языка, литературы и речевой коммуникации Сибирского федерального университета (г. Красноярск).
E-mail: ivevseeva@yandex.ru

ЕРШОВА Елизавета Юрьевна – аспирант кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии, мл. науч. сотр. лаборатории лингвистической антропологии Томского государственного университета.
E-mail: li-veta@list.ru

ЖДАНОВ Сергей Сергеевич – канд. филол. наук, зав. кафедрой языковой подготовки и межкультурных коммуникаций Сибирского государственного университета геосистем и технологий (г. Новосибирск); докторант кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.
E-mail: fstud2008@yandex.ru

КАПИНОС Елена Владимировна – д-р филол. наук, вед. науч. сотр. сектора литературоведения Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск).
E-mail: dzerv@mail.ru

КИМ Игорь Ефимович – д-р филол. наук, гл. науч. сотр. сектора русского языка в Сибири Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск).
E-mail: kimkim27601@yandex.ru

КИМ Лидия Густовна – д-р филол. наук, зав. кафедрой русского языка Кемеровского государственного университета.
E-mail: kimli09@mail.ru

КРЕЙДЛИН Григорий Ефимович – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва).
E-mail: gekr@iitp.ru

ПЕРЕВАЛОВА Елена Владимировна – канд. филол. наук, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Московского политехнического университета.
E-mail: helenpv@yandex.ru

ПРОСКУРИНА Елена Николаевна – д-р филол. наук, гл. науч. сотр. сектора литературоведения Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск).
E-mail: motive@philology.nsc.ru

ПУШКАРЕВА Ирина Алексеевна – канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и литературы Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного университета.
E-mail: pia11@yandex.ru

СИЛАНТЬЕВ Игорь Витальевич – д-р филол. наук, зав. сектором литературоведения Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск).
E-mail: silantev@philology.nsc.ru

ТЕМИРШИНА Олеся Равильевна – д-р филол. наук, профессор кафедры истории журналистики и литературы Института международного права и экономики им. А.С. Грибоедова (г. Москва).
E-mail: olesja@temirshina.ru

ШАРОГЛАЗОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации Сибирского федерального университета (г. Красноярск).
E-mail: t.sharoglazova@mail.ru

ШИЛЯЕВ Константин Сергеевич – канд. филол. наук, доцент кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета.
E-mail: shilyaevc@gmail.com

ОТ РЕДАКЦИИ

Научный журнал «Вестник Томского государственного университета. Филология» был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-29496 от 27 сентября 2007 г.), ему присвоен международный стандартный номер сериального издания (ISSN 1998-6645).

«Вестник ТГУ. Филология» выходит 6 раз в год и распространяется по подписке, его подписной индекс – 44041 в объединённом каталоге «Пресса России». Полнотекстовые версии вышедших номеров выкладываются на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию; рукописи не возвращаются. Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе. Ознакомиться с требованиями к оформлению материалов можно на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Редакция не вступает с авторами в переписку по методике написания и оформлению научных статей и не занимается доведением статей до необходимого для публикации уровня.

Редакция может не разделять точку зрения авторов статей. Ответственность за содержание публикуемых материалов несет автор. При любом использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

Адрес редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, филологический факультет.

Телефон 8(382-2)52-96-67

Ответственный секретарь редакции журнала – Д.А. Катунин.

E-mail: katunin@mail.tsu.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОЛОГИЯ**

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

2017. № 49

Редактор *Т.В. Зелева*

Редактор-переводчик *В.В. Каишур*

Оригинал-макет *Г.П. Орловой*

Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 26.10.2017 г. Формат 70х100 ¹/₁₆.

Печ. л. 15,0; усл. печ. л. 21,0; уч.-изд. л. 21,5.

Тираж 500 экз. Дата выхода в свет 03.11.2017 г. Заказ 2818. Цена свободная

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
Журнал отпечатан на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета,
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru